



Д. СЕВЕНА

МУЖСКОЌ
РАБЛОБОР
В
МУЖСКОЌ БОЛЕ

Эфраим
СЕВЕЛА

**Эфраим
СЕВЕЛА**

**МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР
В РУССКОЙ
БАНЕ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГРАНД»

Тель-Авив

© 1980 Efraim Sevela

Категорически запрещается перепечатка всего произведения, а также отдельных его частей, любым типографским или фотографическим способом.

Оформление Александра Гамбурга

*Протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого света отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.*

(Из песни Владимира Высоцкого)

Отвергая классовую мораль эксплуататоров, коммунисты противопоставляют извращенным эгоистическим взглядам и нравам старого мира коммунистическую мораль — самую справедливую и благородную мораль, выражающую интересы и идеалы всего трудящегося человечества...

(Из Программы Коммунистической партии
Советского Союза)

Раньше здесь останавливались только местные пригородные поезда и стояли всего одну минуту. Но с тех пор, как в стороне от железной дороги, в глубине сосновых и еловых лесов, была отгорожена большая территория с глубокими чистыми озерами среди живописных холмов и построен санаторный комплекс, именуемый в документах «объект № 2», на этой маленькой станции разрешили делать остановку поездам дальнего следования со спальными вагонами, и стояли здесь поезда по пять, а порой и больше, минут, нарушая расписание, чтобы дать высокопоставленным пассажирам и членам их семей возможность спокойно, без спешки, выгрузиться вместе с багажом.

Санаторий был зимний, потому что в этом краю лесных холмов и замерзших озер, далеко от больших городов, стояла настоящая русская зима, многоснежная, морозная и при этом ласково-солнечная.

К поездам дальнего следования присылались для транспортировки гостей не автомобили, а настоящие русские тройки, с бубенцами и колокольчиком под дугой, запряженные горячими сытыми конями, с расписными легкими санками, и кучера, как в старые времена, укутывали седоков большой медвежьей полстью. Кучера, соответственно принаряженные в русские кафтаны и шапки пирожком, мчали тройки с ветерком, и у гостей с первого же момента создавалось радостное праздничное настроение, которое упорно поддерживалось на этом уровне весь срок отдыха усилиями многочисленного медицинского и обслуживающего персонала.

Прежние станционные постройки, жалкие и крохотные, как будка путевого обходчика, снесли и на их месте воздвигли из смолистых рубленых бревен большой вокзал в славянском стиле с резными наличниками и куполами без крестов — абсолютная копия церкви Василия Блаженного. Зимой, покрытый шапками снега на куполах, вокзал-теремок сразу вводил приезжего в сказку.

От санатория до станции проложили специальную дорогу, и всю зиму бульдозеры содержали ее в порядке, превратив в гладкое накатанное ущелье среди сахарных стен сдвинутого снега.

За триста метров до главного въезда в санаторий дорога была перекрыта аркой, переплетенной еловыми лапами, и во всю ширину арки развевался на морозе красный транспарант:

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К КОММУНИЗМУ

Здесь был шлагбаум и всем посторонним проезжать дальше категорически возбранялось. Подтверждая этот строгий запрет, у шлагбаума стоял вооруженный вахтер в тулупе, а на цепи поскуливал злой сторожевой пес.

От шлагбаума начинались фонари на столбах чугунового фигурного литья, лес густел, обступая накатанную дорогу сплошной гудящей стеной.

Затем шел второй шлагбаум с вахтером и аркой, на которой было написано:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

От этой арки убегали в лес столбы с колючей проволокой, намертво отгораживавшей территорию санатория от внешнего мира.

Дальше начиналась сама территория — снежный сказочный городок, без конца и края, с чисто выметенными дорогами и дорожками среди искрящихся снежных сугробов, с голубыми елями по краям. И в снежных сугробах под снежными шапками стояли дома-терема с веселыми крылечками, с коньками на крыше и кирпичными трубами,

откуда в небо уходил дым из печей, растопленных смолистыми дровами.

Каждой семье отводился отдельный с тремя спальнями терем, снаружи отделанный под русскую сказку, а внутри — полнейший европейский комфорт, от импортных ковров на полу до туалета и ванной. Даже обои на стенах были заграничные.

В каждом тереме — цветной телевизор, а на высокой антенне над заснеженной крышей, чтоб не нарушить сказочного стиля, посадили резного золотого петушка.

В каждом тереме — рояль, независимо от того, умеют ли его обитатели стучать по клавишам. А так как пройти мимо белых и черных клавиш и не стукнуть по ним — сверх человеческих сил, все рояли в теремах стоят расстроенные и издают дребезжащие звуки.

Врачей и медицинских сестер в санатории больше, чем отдыхающих, и уж они отрабатывают свою высокую зарплату и теплые местечки в поте лица своего и обхаживают каждого, попавшего к ним в лапы, по-царски, докапываясь до самых застарелых и забытых болезней.

Крытый бассейн с подогретой водой, каток с набором любых коньков и костюмов, ледяные горки с финскими санями, лыжи на все возрасты. А какой клуб! А какой кинотеатр! А какая биллиардная! А катанье на тройках с бубликами! А бани с парилками и комнатами отдыха, с выпивкой и закуской в холодильниках!

К услугам отдыхающих просторная, со стеклянными стенами, столовая, где ешь в тепле и без ветра, а чувствуешь себя среди снегов и на морозе. В столовой всё подавалось к столу официантками, одетыми в русские костюмы с кокошниками на головах, в таком изобилии, какого давно уж не увидишь на полках магазинов, а лишь в ресторанах «Интуриста» для иностранных гостей. Архангельская семга и байкальский омуль, амурская красная икра и черная зернистая с Каспия, тамбовские окорока и донские перепелки, вологодское масло и латвийский сыр. Фрукты и овощи всю зиму. И напитки всех сортов: от

кавказских вин и коньяков до французских «Шартрезов» и «Камю».

Все это доставлялось из Москвы из правительственных фондов в автомобилях-холодильниках, и они проносились по дорогам на большой скорости мимо бедных деревень с покосившимися избами и сельских магазинов с пустыми полками и витринами, где вместо товаров висели лозунги и плакаты, прославляющие советскую власть и призывающие народ трудиться еще упорней, чтоб наконец догнать и перегнать капиталистическую Америку.

Вначале, на вокзале-тереме был открыт буфет с кипящими самоварами и скатертями, расшитыми петухами. Но кто-то из хозяйственников перестарался и забросил в буфет жигулевского пива и свиных сосисок. И тогда из окрестных деревень на вокзал повалили толпы мужиков и баб за пивом и сосисками, каких в продаже здесь годами не бывало.

Это нарушило сказку. Деревенский люд был одет в стеганые ватные телогрейки, в рваные полушубки и лысые плюшевые жакеты, на ногах, что у мужиков, что у баб, — сбитые кирзовые сапоги. И вся эта орава, потная, с выпученными глазами, штурмом брала буфет, опрокидывая столы с самоварами и льняными скатертями, расшитыми петухами.

Продажу пива и сосисок пришлось прекратить. И кое-кому досталось по шее за головотяпство и притупление политической бдительности. Потому что, кроме своих партийных вельмож, сюда приезжали подкрепить здоровье на русском морозе и черной икре иностранные гости: коммунисты и прогрессивные деятели из сочувствующих.

Один из них, итальянский журналист Умберто Брокколини, не коммунист, но прогрессивный, из сочувствующих, проявил нездоровое любопытство при виде толпы мужиков и баб, осаждающих станционный буфет. А был этот Брокколини занозистый господин, никогда не знаешь наперед, что он напишет. В своих статьях в итальянс-

ких газетах он то похвалит Советский Союз, то ругнет, и в зависимости от этого советская пресса реагировала в ответ, называя его то «известный итальянский прогрессивный журналист Брокколини», то «небезызвестный борзописец Брокколини» или просто «пресловутый Брокколини».

Пригласили его отдохнуть с семьей в тот недолгий период, когда в СССР его величали «известный и прогрессивный». И надо же! Выходит Умберто с семьей из спального вагона, жмурится на слепящий снег, на горячую тройку, звенящую бубенцами и от нетерпения приплясывающую в ожидании иностранных седоков, а когда глаза его привыкли к блеску снега, узрел Умберто Брокколини жаждущих пива и сосисок обитателей этой страны — строителей коммунизма. И спросил с дотошностью западного борзописца, отчего, мол, эти люди одеты в живописные лохмотья, кто они такие и почему здесь толпятся? И достал блокнотик с карандашом-фламастером.

Кое у кого из встречавших гостя запершило в горле и засосало под ложечкой в предчувствии большой беды. Но выручил переводчик, лихой малый, прикрепленный к Умберто:

— А это, — сказал он, не моргнув, — фольклорный ансамбль песни и пляски. В старинных костюмах, отображающих, как жили крестьяне до революции. Собрались они здесь для репетиции. Скоро фестиваль. Наша страна любовно сохраняет старинный фольклор.

Умберто Брокколини был растроган до слез и обменялся рукопожатиями с некоторыми участниками ансамбля. А вскоре в итальянской прессе появилась статья Умберто Брокколини о талантливости русского народа, трогательно сохраняющего старинные обычаи и обряды. Брокколини увез в Рим несколько редких русских икон, подаренных ему перед отъездом.

Переводчик за смекалку и находчивость получил поощрение от своего начальства и на три года укатил работать за границу.

В той же статье Умберто Брокколини воздал должное заботе советского государства о здоровье трудящихся, живописно обрисовав изобильное питание и условия жизни в закрытом санатории «Объект № 2», где он со своей семьей бесплатно блаженствовал три недели.

Заканчивалась статья «известного итальянского прогрессивного журналиста» Умберто Брокколини так:

«Здесь, в этой стране наяву осуществляется мечта всего угнетенного человечества. Не только ракеты и спутники создала советская держава, но и нового человека, с новой моралью, с крепкой семьей и чистыми чувствами. Этот человек, не знающий порнографии и проституции, продажности и коррупции, сексуальной грязи, в которой потонул разлагающийся Запад, строит на своей земле царство свободы и духовной красоты».

Рано-рано утром, когда солнце еще не поднялось за холмами и припорошенные снегом леса стоят заиндевевшие в морозном дыму, к арке с красным транспарантом «ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К КОММУНИЗМУ» из разных концов леса по заметным тропкам и проселкам, проваливаясь по пояс в снег и нещадно матерясь, выбираются деревенские бабы в ватниках и сапогах, в платках, натянутых по самые брови, и каждая несет в руке порожнее, чисто вымытое ведро. Эти бабы считаются в округе счастливицами, им здорово повезло и им отчаянно завидуют, а потому и злословят их подружки, чей удел гнуть спину в колхозе, получая за это лишь пустые трудодни. Эти бабы работают на «Объекте № 2» обслуживанием: официантками, уборщицами, дворниками и нянечками в лечебных корпусах. Им платят деньгами, как рабочим, они едят вволю, сколько влезет, самых вкусных, невиданных в деревне, кушаний и еще им позволяется уносить с собой объедки из столовой и кухонные помои, чтобы подкормить дома тощую скотину, для чего они предусмотрительно прихватывают из дому ведра.

Эти бабы проводят день среди довольства, богатства и

сытости, а на ночь возвращаются в убогие деревни, откуда сбежали в города почти все мужчины, в холодные пустые избы, бегают за водой полкилометра к обледенелому колодцу, а по нужде ходят на огороды в дощатую, продуваемую всеми ветрами, будку над выгребной ямой. И не ропшут, а, наоборот, нарадоваться не могут, что им так повезло, и поэтому трудолюбивы и старательны без приказа, а также покорны и послушны начальству.

В санатории у каждой в шкафчике хранится казенная рабочая одежда, красивая до невозможности, которую строго возбраняется выносить за территорию. В этой сказочной униформе щеголяют они весь день. В теплых бархатных душегрейках, отороченных мехом, в шитых бисером кокошниках на голове выглядят они словно оперные боярыни. А на ногах — черные валенки-чесанки, мягкие-мягкие, теплые-теплые. Когда настаёт оттепель, выдают со склада галоши и непромокаемые плащи с капюшоном.

Бабы идут на работу пешком, порой за три, а то и за все пять километров. Без дороги, по тропкам, замеченным за ночь сугробами. А обратно еще надо переть полное ведро объедков, и — боже упаси, не упасть и не разлить.

Вахтер у арки ленится поднять шлагбаум, деревенским, мол, бабам не привыкать, и они, сгибаясь в три погибели, пробираются под шлагбаумом и снова разгибаются на той стороне за транспарантом «ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К КОММУНИЗМУ».

Снег сыпучий и сухой искрился на солнце и слепил, отчего все три лыжника жмурились. Они стояли на лыжах, опершись на бамбуковые палки и за ними извилисто змеились три парных следа. Сзади за снежным полем тянулись ряды голубых елей, а за ними сказочные домики-терема с нахлобученными шапками снега и уютными столбами дыма из печных труб, уходящими напрямик в морозное небо.

Лыжники были не молоды и, хоть одеты были в щегольские спортивные одежды: одинаковые пестрые свите-

ра, синие, в обтяжку, штаны, шерстяные вязаные шапочки, имели далеко не спортивный вид. Каждому подвалило уже под шестьдесят. Выглядели они по-разному. Сергей Николаевич Астахов, выше всех и стройней, с благообразной сединой, с лицом красивого баловня и барскими замашками, стоял и на лыжах ловчей остальных. Виктор Иванович Зуев, ниже всех и наиболее раскисший и обрюзгший, с круглым крестьянским лицом и толстым коротким носом, имел вид простоватый, но себе на уме. Из-под лыжной шапочки был замечен край обширной лысины, обрамленной редкими кольцами бесцветных волос. Большие оттопыренные уши пылали на морозе. Александр Дмитриевич Лунин, блондин, с пшеничными усами и голубыми глазами, тоже не сохранил фигуры и был тяжеловат и приземист.

Некогда, четверть века назад, были они неразлучными друзьями. Они тогда, вскоре после Второй мировой войны, учились в Москве в Высшей партийной школе, а потом жизнь раскидала их в разные концы огромной страны. Каждый строил свою карьеру, поднимаясь со ступеньки на ступеньку по шаткой иерархической лестнице руководящей партийной работы. И каждый достиг немало. Их пути иногда пересекались. Но так, чтобы встретиться втроем и свободно, ни на что не отвлекаясь, провести несколько недель вместе, упиваясь разговорами, воспоминаниями, такое случилось впервые. И повинен был в этом коротенький лысый Виктор Иванович Зуев, дольше других сохранивший молодость духа. Он списался с Астаховым и Луниным, сам организовал все путевки в этот подмосковный правительственный санаторий, а им только оставалось получить отпуск в указанный Зуевым срок и согласие жен.

Теперь они стояли на лыжах, раскрасневшиеся от мороза, и смотрели на неровный снежный холмик, высившийся перед ними. Зуев, хитро поблескивая глазами, показал бамбуковой палкой на холмик:

— Предлагаю концерт-загадку. Что сей холмик скрывает? Победитель получает право первым выбрать себе

березовый веник в бане, а мы обязуемся хорошенько попарить его.

— По-моему, куст, — не раздумывая, сказал Астахов.

— Мимо. Ваша очередь, Александр Дмитриевич.

Лунин прищурился на холмик, словно пытаюсь увидеть под снежной толщей, и Зуев рассмеялся:

— Ты, Саша, своим проницательным взглядом напомнил мне анекдоты тех времен, когда в нашей богоспасаемой стране стремились доказать, что мы самый великий народ в мире, и все лучшее на земле сотворили русские руки и русские мозги:

«Выступает в Москве ученый на научной сессии Академии Наук СССР и, не моргнув, заявляет:

— До сих пор считалось, что рентгеновские лучи открыл немецкий ученый Рентген. Усилиями советских ученых этот миф нынче опровергнут и разоблачен. В Новгородской летописи обнаружена интереснейшая информация, проливающая подлинный свет на происхождение этого открытия. В 1194 году нашей эры, пребывая на постоялом дворе, русский купец Иван Петров сказал своей законной жене Евдокии таковы слова:

— Дунька, ты — блядь, я тебя вижу наскрозь.

Что дает нам повод утверждать, что уже тогда в России, задолго до Германии, были известны рентгеновские лучи».

И выждав пока утихнет смех довольный Зуев снова спросил:

— Так что скрывает сей холм?

— Не томи, — отмахнулся Астахов. — Мы не угадаем.

— Ладно, тупые головы, — вздохнул Зуев. — У вас фантазии не хватит. Я-то знаю, видал это чудо летом, без снега. Вот сейчас давайте дружно разгребем снежок и вашему взору предстанет удивительный монумент, который я бы назвал «Борьба с культом личности».

Астахов, Лунин и Зуев принялись дружно разгребать снег лыжными палками, поднимая искрящуюся пыль. Сначала открылась укутанная по шею в снег гипсовая го-

лова Ленина, затем понемногу обозначилось все остальное.

Это была довольно известная в свое время скульптура, размноженная в тысячах копий и установленная по всему Советскому Союзу, где надо и где не надо, под названием «Ленин и Сталин в Горках», изображавшая обоих вождей революции сидящими на парковой скамье и мирно беседующими, и долженствующая олицетворять преемственность власти, естественно перешедшей от гениального учителя к не менее гениальному ученику. Ленин даже трогательно обнимал Сталина, положив руку на спинку скамьи.

Когда Хрущев, придя к власти, раскрыл миру, что король, то есть Сталин, голый, и назвал период его жестокого правления мрачным периодом «нарушения социалистической законности и культа личности», бесчисленные изображения Сталина на полотне, в гипсе и бронзе стали исчезать с людских глаз. Портреты уносили в подвалы и ставили лицом к стенке, бронзу ломали и отправляли на пепеплавку, гипс раскалывали в серую крошку.

А вот тут в правительственной санатории чей-то хозяйственный ум сотворил чудо: сорвал Сталина со скамьи, оставив в ней дыру, из которой торчали вверх три ржавых прута арматуры, и остался возле дырки гипсовый Ленин, обнимавший теперь не Сталина, а эти три прута. Таким образом, скульптура сохранилась и приняла политически выдержанный вид.

Астахов и Лунин лишь переглянулись, но не рассмеялись.

— Здесь мы одни, — ободряюще сказал приятелям Зуев. — Никто не подслушивает, а уж мы друг на друга писать доносы не станем.

— Кто знает, — усмехнулся Лунин.

— Я доверяю вам обоим, как себе, — сказал Астахов. — Но тем не менее предпочитаю не распускать язык. Береженого бог бережет. Впереди — персональная пенсия и обеспеченная старость, этим не рискуют.

— А когда-то и вы были рысаками, — покачал головой Зуев. — Кровь кипела и руки чесались чего-нибудь сотворить. Рано скисли братцы, а я не сдаюсь.

— Анекдоты собираешь? — прищурился на него Лунин. — Ходишь с кукишем в кармане?

— Ну, уж лучше так, чем проглотив язык. Кстати, ты, провинциал, послушай свеженький анекдотец. Может быть, он тебя надоумит, что и в России пахнет перемена-ми.

— Валяй, рассказывай, — попросил Астахов.

— Сидят, значит, наши руководители, Брежнев и Косыгин и беседуют, — начал Зуев и все же из предосторожности оглянулся по сторонам, вызвав улыбки у Астахова и Лунина. — Слушай, говорит Брежнев, не нравится мне ситуация. Евреи, понимаешь, уезжают в Израиль. Немцы просят в Германию, армяне — куда глаза глядят. Литовцы и латыши во сне видят, как бы из СССР эмигрировать. Украинцы тоже на Запад косят, да и сами русские подумывают, куда бы податься. Если так дальше пойдет, может получиться, что во всей России только мы с тобой и останемся.

— Нет, мой друг, — отвечает Косыгин, — ты останешься один.

Лунин и Астахов расхохотались.

— Айда в баню, — позвал Зуев, поворачивая лыжи назад. — Я распорядился, чтобы нам сегодня на весь день протопили баньку. Там мы можем власть потрепаться, отвести душу, как следует. Никто не потревожит, не помешает. А вспомнить-то нам есть что.

Попаримся, послушаем друг друга. Когда еще нас судьба сведет? Только, братцы, один уговор: в бане без цензуры, говори, как на духу. Нам же всем любопытно узнать, как мы жили эти годы.

Баня стояла в стороне от жилых домов отдельным теремом с куполами и резными наличниками на заиндевелых

окнах. Из снежной шапки на крыше торчала печная труба, и оттуда веселыми клубами уходил в небо дым.

Астахов, Лунин и Зуев, неся чемоданчики с бельем, прошли к бане по расчищенной от снега дорожке, как по глубокому ущелью — такие сугробы кругом намело.

Они разделись в прихожей, косясь с любопытством на наготу приятелей юности и отмечая в уме нелестные перемены в фигурах.

Зуев принес из кухни поднос с чаем, каждому налил по чашке, и, потягивая горячий чай, они пришли в хорошее расположение духа.

— Кто первый начнет? — спросил Лунин.

— Я полагаю, никто не станет возражать, — сказал Астахов, поглаживая ладонями бока, — если мы возьмем за принцип в наших рассказах завет незабвенного нашего одноклассника, рано ушедшего в мир иной, Шурика Колосовского.

— Шурик? — растроганно улыбнулся Лунин. — Вот кого вспомнил? Господи! Да кто ж его лучше меня знал? Мы с ним два года делили одну комнату в общежитии... Вот кого матушка-природа одарила сверх меры... Учился, поплеывая, а был всегда первым. А языки? Немецким владел как? Помните? Диалекты знал... Баварский... прусский. И все выучил самостоятельно... ухо имел тонкое... налету ловил. Он в войну, как пленного захватят, обязательно с ним потолкует часок-другой... вот и вся школа.

— А пел как? — мечтательно произнес Астахов.

— Он и у нас и в консерватории учился... — подхватил Лунин. — В Шаляпины прочили... Голосина была... Как, бывало, затянет, люстра дрожит.

И-и-э-э-эххх, вышла я

Да ножкой топнула.

А-а-а-а у милого

Терпенье лопнуло.

Хулиганская песня, блатная, а в его устах — романс, ария, чистая поэзия.

— А красив как был? Помните? — грустно покачал

лысой головой Зуев. — Как бог! Что рост, что плечи — классическая пропорция мужчины, самца, покорителя... Глаза голубые, как васильки, а волосы черные, густые и чуть-чуть вьются. Посредине — седая полоска. Другие деньги платят, чтоб им парикмахер такую выкрасил... А у него — натуральная, с войны.

— Ему бы в киноактеры пойти, уж был бы сейчас народным артистом СССР и лауреатом всех премий, — убежденно сказал Лунин.

— Зачем ему в актеры было? — не согласился Астахов. — Ему такую карьеру политическую прочили... Быть бы ему нынче не меньше, чем министром культуры.

— Или дипломатом высокого ранга... — вздохнул Лунин.

— Нет, — мотнул лысиной Зуев. — Не умри он вовремя сам, его бы в Сибири сгноили... Вы что? Такой экземпляр в сталинские годы недолго бы по земле походил...

— Ладно, заладил... — оборвал его Лунин, — сталинские годы, культ личности... Ты нам тут в бане давай лекцию закати по политическому просвещению... Вот Сережа чего-то хотел сказать про заветы Шурика Колоссовского, а мы отвлекли его...

— Верно, верно, — согласился Астахов. — Возраст... Начинаешь... и... забываешь о чем...

Шурик никогда не говорил пошлостей, хотя любил рассказывать о своих похождениях. Но всегда строго соблюдал одно условие... Это не был голый рассказ о совокуплении. Это всегда была лирическая история... психологическая... и даже социальная... и всегда необычная женская судьба. Колоссовский был не только талантливым рассказчиком, но еще он был одарен редким даром талантливого слушателя. Он свою даму в постели слушал так, что она наизнанку выворачивалась, открывая свою душу. Помню, Шурик, говорил: каждая женщина — это удивительная судьба, похлеще любого романа. Надо только уметь слушать. И при этом добавлял: женщину

нужно сначала ублажить в постели, удовлетворить ее. На то, мол, мы мужчины, а не импотенты... И она уж, размякнув, проникнется к тебе такой благодарностью... и так начнет исповедываться... только успевай слушать и запоминать.

Так вот давайте соблюдать это золотое правило, которое вполне можно было бы назвать «законом Колоссовского»: о женщинах — или талантливо, психологично... или ничего.

Все то, что противоположно этому условию, тот же Шурик, помню, весьма метко охарактеризовал. Рассказывать о бабах по принципу: сунул, вынул и бежать — удел млекопитающих типа моего командира роты Загоруйко и нашего заведующего кафедрой марксизма-ленинизма профессора Балабана. Все остальное человечество, спустившись с деревьев, стало искать более сложное объяснение сексуальных проблем.

— Не возражаю, — сказал Лунин и хитро покосился на Зуева. — А вы, маэстро?

— Я тоже не отношу себя к парнокопытным, — поспешно согласился Зуев. — Но раз уж Сережа решил задать тон, то ему — и карты в руки. Начнем с тебя. Рассказывай, товарищ Астахов.

РАССКАЗ АСТАХОВА

Не знаю, попадались ли вам на глаза два небольших рассказика, похожие один на другой, как близнецы, хотя написаны они двумя совершенно разными, абсолютно непохожими писателями. Одного звать Ги де Мопассан, другого — Лев Николаевич Толстой.

И в том и в другом рассказах обсасывается одна и та же ситуация: моряк, много лет скитавшийся по морям и океанам, в одном порту, кажется, в Марселе, провел ночь в публичном доме с девкой и под утро обнаружил, что это

его сестра, которую нужда и бедность сделали проституткой.

Историйка банальная, с сентиментом, рассчитанная на чувствительных кухарок, с примитивным прямолинейным смыслом: как, мол, нехорош социальный строй, в данном случае капиталистический, который толкает безработных девушек на панель и оскверняет душу такого славного малого, как этот морячок — потребитель продажной любви.

Прочтя эти рассказы, я ощутил во рту вкус приторной карамели, и с грустью констатировал, что и у великих бывают жестокие провалы по части вкуса.

Но жизнь сыграла со мной злую шутку и проучила, чтоб не спешил с безапелляционными выводами. Нет, конечно, я не переспал со своей сестрой. У меня, кстати сказать, и сестры-то нет. Но все же влип в историю, не менее фантастическую, и расскажи я ее Мопассану или Льву Николаевичу, они бы состряпали рассказец, похлеще того, о котором я упомянул.

Судьба привела меня лет двадцать спустя в тот город, где я учился некогда в университете. Тогда, сразу после войны, это был не город, а груды каменных развалин, даже улицы были непроходимы из-за нагромождений ржавых балок, обломков стен и куч битого кирпича. Университетские аудитории были разбросаны по всему городу в редких уцелевших зданиях. Студенты, в основном, были из демобилизованных, и донашивали военную форму. На лекциях нечасто можно было увидеть штатский костюм. И на каждом двух студентов приходилось не больше трех ног — обрубки, инвалиды войны.

Чего вам рассказывать? Это — наша с вами молодость. Инвалидная, голодная, разутая, но мы ее прожили и для нас она — источник теплых и даже романтических воспоминаний, как любая юность.

Города я, конечно, не узнал. Ни следа от руин. Широкие асфальтированные проспекты, зеркальные витрины, троллейбусы. Нарядная, совсем не провинциальная, толпа. Я остановился в гостинице на десять этажей, весь-

ма современной, с хорошим рестораном, и там по вечерам наигрывал вполне пристойный джаз. Место, где высилась гостиница, когда-то было свалкой ржавого железа — сюда стаскивали со всего города подбитые танки, остовы сгоревших грузовиков, покореженные лафеты артиллерийских орудий, и пробираться через эти завалы, чтобы сократить дорогу, было делом рискованным — порой там взрывались под неосторожной ногой снаряды и мины.

Я отлично поужинал в ресторане, принял душ в сверкающей никелем и цветным кафелем ванной, протопал босыми ногами по ворсистому ковру к широкой двуспальной кровати и с наслаждением вытянулся под холодящей льняной простыней, взволнованный предстоящей встречей с моей юностью — на завтра я намечал несколько визитов к друзьям студенческих лет.

Я уже потянулся к кнопке настольной лампы, чтобы выключить свет, как зазвенел телефон на ночном столике и, протягивая руку к трубке, я недоуменно прикидывал, кто бы мог мне звонить в этом городе, где о моем приезде никто не был предупрежден.

— Коля, — обдал меня из трубки низкий вибрирующий женский голос.

— Простите, вы ошиблись номером, — сказал я уверенный, что это действительно телефонная ошибка.

— Ах, простите, пожалуйста, — заворковал на том конце голос, не выразив никакого удивления. — В этом номере еще вчера жил мой приятель... Как жаль... Он не оставил никакой записки?

— Никакой записки вам не оставили, — сухо ответил я. — Ибо не имел чести быть знакомым с этим самым Колей, который занимал этот номер до меня.

— Ах, как жаль, как жаль, — завздыхал грудной теплый голос, и я вдруг почувствовал грусть от того, что обладательница такого голоса звонит какому-то Коле, а не мне.

— Не стоит расстраиваться, — утешающе и с некоторой

долей игривости сказал я. — Видать, не так уж он вами дорожил... этот Коля... если даже не предупредил о своем отъезде...

— Ну его к черту! — сразу клюнула она. — У вас есть что выпить? Хотите, я к вам сейчас приду? Вы еще не спите?

— Не сплю, но... уже лег, — растерялся я.

— Не надо одеваться, лежите в постели. Я тут внизу... Отоприте дверь, чтобы не пришлось стучать.

— Простите, — забормотал я. — Я не совсем понимаю... Кто вы такая?

— Я? Софи Лорен. Да, да. Видали в кино эту роскошную бабу? Так я ее русская копия. Но получше. Потому что мне двадцать лет, а она уже старуха.

В трубке раздался треск и затем долгие гудки.

— Сейчас ко мне войдет женщина, Софи Лорен, — лихорадочно сообщал я. — А я в постели... в этих несурзных трусах...

И, выскочив из-под простыни, я стал поспешно, путаясь и не попадая ногами куда следует, натягивать на себя брюки, и даже в уме прикидывал, какой галстук больше приличествует такому случаю, как услышал за спиной ее голос, низкий, грудной. Она вошла неслышно и также беззвучно прикрыла за собой дверь.

— Вот вы какой! Совсем не старик. А я уж шла сюда и думала: вдруг развалина, песочек сыплется. Какой прок мне с таким возиться.

Я застыл с одной ногой в штанине, а другой, голой, — задранной вверх.

Это была Софи Лорен. Только моложе, чем в кино. Высокая, большая, с массивными гладкими боками и такой же грудью, распирающей верх платья. Сочные красные, растянутые в пьяной и чувственной улыбке губы, оскал прекрасных белых зубов. Взгляд томный, чуть сонный, хмельной. Спутанные нечесанные волосы густой гривой ниспадали на полные круглые плечи.

Она нетвердо стояла в туфлях на высоких каблуках.

— Можно, я сяду? — и не дождавшись моего согласия, тяжело опустилась не в кресло, а на мою неубранную кровать.

— Ну, что стоишь? Чудак! Или одень штаны илиними их к черту!

Я все еще стоял одной ногой в брюках, совершенно сбитый с толку, не соображая, что я делаю. До того она пьяная, похотливая, вульгарная была мне желанна, что я позабыл все предосторожности, спасавшие меня до того от случайных и опасных для здоровья и репутации связей и смотрел на нее зачарованно, как мальчишка, впервые увидевший готовую ему отжаться женщину...

— Выпить есть что? — спросила она, перестав замечать меня, и зевнула, не прикрыв рукой рта.

— Я могу в ресторане взять, — поспешно сказал я.

— Тогда чего стоишь? Натягивай штаны и дуй вниз, пока не закрыли.

Когда я, запыхавшись, поднялся на свой этаж, прижав к груди бутылку молдавского коньяка и пакет с бутербродами, дверь моей комнаты была раскрыта, и я ужаснулся при мысли, что она не дождалась и ушла. С бьющимся сердцем заглянул я в комнату. Она лежала на спине поверх простыни на моей кровати и спала. Не раздевшись. В платье и чулках. Только скинув с ног туфли, которые валялись далеко от кровати в разных концах ковра.

Она была божественно хороша сонная при свете настольной лампы, озарявшей ее лицо с удивительно гладкой и свежей кожей, нежную шею и высокую полную грудь, вздымавшуюся почти до подбородка при каждом вдохе. Пухлые покусанные губы шевелились, что-то невнятно бормоча.

Не помню, как долго стоял я над ней, нелепо прижимая к груди коньяк и бутерброды. Потом разделся и осторожно, стараясь не будить ее, прилег рядом, поверх простыни, и она, почуяв мое присутствие, задвигалась, грузно повернулась на бок, привалилась ко мне и, уткнувшись носом мне в щеку, задышала ровно и тепло, как ребенок, причмокивая губами.

Я спал и не спал. В каком-то непонятном состоянии, как в бреду, провел я ночь, пока она не проснулась. А проснувшись, долго потягивалась, сладко-сладко, безо всякого умысла прижимая меня бедрами, животом, мягкой и большой грудью, доводя тем самым почти до неистовства. Потом она какое-то время в недоумении смотрела на меня, стараясь угадать, кто я и как она очутилась здесь. Потом рассмеялась, растянув пухлые обветренные губы до ушей и сверкая матовой белизной ровных больших зубов.

— Кто ты, дядя? Давай знакомиться. Я — Вика, Виктория. Мои идиоты-предки называли меня так в честь победы над Германией. О, коньяк! Ну, какой ты умница! Глотну полстаканчика и приду в себя.

Она опрокинула в рот полстакана коньяку, крикнула, как мужчина-пьяница, и даже губы вытерла тыльной стороной ладони.

— Вот теперь — порядок! Слушай, ты меня вчера ночью не имел? Правильно! Что толку от пьяной бабы? Зато вот сейчас я тебе покажу класс. Честное слово, даже самой захотелось.

Она ленивыми кошачьими движениями стала стягивать через голову платье, и я, как дурак, смотрел, не шевелясь, на ее тугое налитое тело. Дальше пошло нечто совсем невообразимое. Я ошалел. Все же не мальчик. Под пятый десяток. Я буквально не слезал с нее. Она меня выпотрошила до состояния полной прострации. И, когда уже не помню, в пятый или шестой раз вожделенно потянулся к ее телу, эта сытая плотоядная и абсолютно не уставшая самка блудливым глазом скользнула по моему бледному, с провалившимися глазами лицу, и ехидно ухмыльнулась:

— Не много ли, дядя? Так свой месячный лимит израсходуешь.

Чего рассказывать. Я наслаждался с избытком. На много дней вперед. Уже совсем выпотрошенный, не в силах рукой шевельнуть, лежал я тюфяком рядом с этим свежим и порочным мясом и по привычке из вежливости

спрашивал ее и слушал ленивые ответы, пока не насторожился, услышав женское имя, произнесенное ею.

— Альма. Да. Как собачья кличка. Так зовут мою маму. Честное слово.

— Альма? — переспросил я. — А фамилия как?

— Станкевич.

Я приподнялся на локте и строго, словно в первый раз видел ее, посмотрел в лицо Виктории.

— А девичью фамилию матери... не помнишь?

— Почему не помню? Знаменитая фамилия. Мой дедушка был большой ученый. Профессор Никольский.

Меня обожгло. Никаких сомнений больше не было.

Я еще спросил, родилась ли Виктория в этом городе и в каком году. Все совпадало. Да и черты лица ее, чуть измененный портрет Альмы, неумолимо подтверждали догадку. Виктория продолжала беспечно болтать, поглаживая ладошкой мой рыхлый живот, а я не слушал, слова пролетали мимо моего сознания.

Двадцать лет тому назад в этом разрушенном войной городе на нашем курсе родился первый ребенок, и родителями его были избалованная красавица, редко посещавшая занятия на факультете, дочь профессора Альма Никольская и беловолосый высоченный студент Саша Станкевич, кроме своего роста отличавшийся от других студентов тем, что был одет в дорогое пальто и меховую шапку из молодого оленя, потому что отец его по тем временам был важной шишкой в этом городе. Сашу Станкевича, единственного на всем факультете, привозил на занятия в черном трофейном «Хорхе» персональный шофер папаши.

Все наши студенты толпились в родильном доме, когда Альму выписывали оттуда, и одеяльный сверток со сморщенным красным личиком переходил из рук в руки под радостные вопли, словно это был наш общий коллективный ребенок. Из родильного дома до персональной машины Станкевича-старшего нес на руках этот сверток я.

Девочку называли Викой, Викторией. В честь победы в недавно оконченной войне. Имя это придумал я. И Альма

сразу согласилась. Оснований для этого было немало.

Дело в том, что еще задолго до того, как она выскочила замуж за белобрысого истукана Станкевича, красотка Альма Никольская, каждый раз появлявшаяся среди плохо одетых голодных студентов в новом блистательном наряде, влюбилась по уши в демобилизованного лейтенанта, хромого после ранения в ногу, все имущество которого была инвалидная трость, выданная в госпитале, и запасная пара синих суконных офицерских брюк-галифе. Да, да. У нее был роман со мной. Она была красива и чувственна, и жадно искала наслаждений. Почему она избрала для этой цели меня, один бог знает. Она отдавалась мне в пустых аудиториях на полу, в коридорах на подоконнике, среди руин на выщербленных ступенях упавшего лестничного марша.

Однажды я провожал ее домой пешком. Она была в коричневой норковой шубке, пожалуй, единственной во всем городе, и ходить в ней без сопровождающего было смертельно опасно. Из-за шубки грабители могли убить ее. Под эскортом молодого офицера-фронтовика в драной шинели со споротыми погонами обладательница шубки чувствовала себя в относительной безопасности.

В пустынном, по колено засыпанном снегом парке, где голые деревья, как инвалиды, были нашпигованы железными осколками гранат и снарядов, Альме вздумалось отдаться мне при свете зимней луны. Она опрокинулась в сугроб, распахнув полы норковой шубки, как мохнатые крылья летучей мыши, и на морозе, на ветру бесстыдно заголилась и отдалась мне, горячая, стонущая от страсти. Я был молод и даже в такой обстановке действовал безотказно.

Почему мы не женились? Куда мне было создавать семью, нищему студенту? Что я мог предложить Альме? Перешить мои суконные галифе в домашнюю юбку? В те годы зарождалась советская элита, к которой мы с вами имеем честь принадлежать нынче. Альма была из той среды. И ей полагался муж оттуда же. Вот почему она выско-

чила за Сашу Станкевича. Не любя, но и не страдая из-за этого.

Их дочь была первым ребенком на нашем курсе, и мы все чувствовали себя его родителями. Я для этого имел больше оснований, чем все остальные. Конечно, Виктория не была моей дочерью. Она, переняв черты красавицы Альмы, вымахала не в пример матери крупной, массивной, как Саша Станкевич. И эти ее формы делали ее еще женственней, бешено желанной, и я уверен, что не было в том городе мужчины, который, завидев ее, в мыслях не волок бы сразу в постель.

Я лежал в гостинице с дочерью Альмы и Саши, к которому я собирался с визитом в этот вечер. У меня было ощущение, что свершилось нечто вроде кровосмешательства. Во рту появился металлический привкус, как после пищевого отравления.

Виктория осушила до дна бутылку коньяка и ушла, с ленивой грацией шевельнув крутыми бедрами в дверях.

К вечеру, одеваясь, я не обнаружил моих ручных часов. Золотых, швейцарской фирмы «Докса», купленных в Москве в закрытом распределителе, на что я ухлопал мое месячное жалованье. Виктория прихватила их с собой. Вместо гонорара, положенного ей за сексуальные услуги, оказанные щедро, умело, почти так, как бывает при любви.

К супругам Станкевич, друзьям моих студенческих лет, я не поехал ни в тот вечер, ни в другой. И так и не повидал их. И до отъезда не встретил больше их дочь, Викторию, названную мною в честь победы, порочную красавицу, предлагающую себя за стакан коньяка постояльцам гостиницы, очень похожую внешне на итальянскую киноактрису Софи Лорен, только намного моложе ее.

— Bravo! Bravo! — сказал Зуев. — Теперь мой черед.

— Может сначала попаримся? — неуверенно спросил Лунин.

— А что у нас времени мало? — удивился Астахов. —
Послушаем Витю — потом...

— Давай, Витя, — согласился Лунин, наливая себе еще одну чашку чая.

Зуев задумчиво глядел под ноги.

— Я не претендую на то, что моя история будет похлеще этой, но загадок она полна, и вот уже столько лет прошло, а я найти им ответа вразумительного никак не могу. Потому и выношу на ваш суд, уповая на коллективную мудрость.

РАССКАЗ

ЗУЕВА

Было это действительно давно, и я еще не достиг нынешнего положения, зато в порядке компенсации не был так толст, а худ и подвижен, и на голове моей на месте теperешней лысины еле поддавались гребешку упрямые густые волосы, в которые так любили запускать свои пальчики юные девы, ласкавшие нас в ту пору неумоимо в разных городах и городишках нашей необъятной советской Родины.

Как вы знаете, я в те годы много ездил в командировки, как мальчик на побегушках, потому что барахтался у самого подножия моей нынешней карьеры. И была в этом своя прелесть: новизна впечатлений, неожиданные встречи, а, главное, подальше от начальственных глаз, а посему и больше вольностей можно себе позволить.

Занесла меня судьба как-то в Ригу. Инспекция кадров. Что-то в этом роде. Занятие несложное, времени свободного — уйма. Приехали мы на пару дней с Колей Филипповым, таким же неоперившимся инструктором, как и я. Оба молоды и здоровы и расpiraемы от жажды наслаждений. А тут — Рига. Не город, а мечта. Порт, моряки и западный дух. Свобода нравов. В ресторанах — джазы, с ума сойти можно. Женщины одеты — Москва по сравнению с ними глубокая провинция.

Я в этом злачном городе был уже не впервые, имел представление о тамошних нравах и знал, что, где и почему. В гостиницу ЦК, естественно, ни ногой. Там, хоть комфортабельно и дешево, мне делать нечего. Круглосуточный надзор, стерильность, как в больнице, ни привести, ни вывести, дежурные дамы на этажах, как церберы, блюдут мораль партийных постояльцев, и при малейшем нарушении строгих правил докладывают, куда следует, а это значит, что был ты в командировке в последний раз.

Человек с моим опытом, конечно, останавливался в гостинице «Рига» — в самой пуповине города у оперного театра. В этой гостинице, построенной в стиле советского модерна, жить было дорого, но уютно. Все прелести «сладкой жизни» еще не совсем осоветившейся Риги были к твоим услугам. В ту пору. Сейчас не знаю, возможно, и тот райский уголок прибрали к рукам. Чего греха таить, мы же умеем уютжить то, что чем-то выделяется, и приводить все к общему знаменателю, скучному, как кладбищенский покой.

В этой гостинице, где останавливались большей частью иностранные туристы и советская элита: офицеры высокого ранга, артисты, ученые и такие, как мы, голодные партийные мальчишки из Центра, которых здесь, в провинции, принимали как всесильных вельмож, был свой установившийся порядок — гостям мужского пола очень неназойливо, а, главное, бесплатно подсовывали на ночь в постельку девиц на выбор. Блондинок и брюнеток. Юных и зрелых. Туземных латышек и наших русопятых. Все удовольствие обходилось в стоимость ужина на двоих, заказанного в номер. И все. Вполне по карману даже таким голодранцам, как мы с Колей Филипповым. Можно было легко уложиться в суточные, которые нам платили в командировке, и не тратить кровных из зарплаты, кои полагались семье, ожидавшей в Москве возвращения папули.

А занимался поставкой живого товара упитанный малый с мордой вышибалы, торговавший одеколоном и туалетным мылом в мраморном холле гостиницы в киоске «Сангигиена». Кстати, у него же можно было достать за-

граничные презервативы. Тонкие, как паутина, и с усиками на головке, доведившие бабу до иступления. Надо было лишь негромко сказать ему, в каком номере ты остановился и в каком часу желательней всего получить товар. И точно в оговоренное время, когда уже на столе дымился доставленный официантом из ресторана ужин, раздавался негромкий стук в дверь и входила фемина — блондинка или брюнетка, но, независимо от масти, обязательно с хорошей фигурой и вполне пристойными манерами средней советской служащей. Эдакая «скорая половая помощь». И даже модные в ту пору большие дамские сумки напоминали докторский саквояж с набором медицинских инструментов. Выпьет, закусит, посмеется сальному анекдоту, без шума, без орания песен, как у нас на Руси полагается, а потом разденется, не погасив света, чтобы ты лицезрел все ее прелести и по мере обнажения доходил до неистовства, и в постели покорно и ненавязчиво будет делать все, что твоей небогатой фантазии заблагорассудится. И уйдет утречком, чуть свет, оставив тебе свой номер телефона на оторванном крае газеты и поцеловав тебя сонного в щечку, от чего ты, окончательно проснувшись через пару часов, обнаруживал на небритой щетине отпечаток губной помады в форме сердечка.

В тот раз, как вы догадываетесь, мы с Колей Филипповым направились прямо с вокзала в гостиницу «Рига», где нас ожидал заказанный из Москвы номер «полулюкс» из двух комнат: спальни на две кровати и гостиной, с ванной, соединяющейся с обеими комнатами.

Мы бросили вещи в номере и затопали к лифту — скорее вниз, в холл, к киоску «Сангигиена», чтобы напомнить мордастому малому, что мы здесь, и он вполне может направлять к нам девиц для «парного этюда», то есть, для одновременного употребления их на двух рядом расположенных кроватях с последующим обменом — кавалеры меняют дам.

В холле под пудовыми бронзовыми люстрами гудит толпа, как обычно в больших гостиницах. Мы протолкались к киоску «Сангигиена» и я оторопел. Мордастый па-

рень стоял за стойкой и игриво болтал с неземным созданием. Юное, лет семнадцати, существо, с классической головкой, в серой кроличьей шубке, какие носят школьницы-подростки, и в берете из такого же меха. Божество! Хрупкая тростиночка! Неземное создание с огромными глазами газели и удивительно стройной фигуркой, угадывавшейся по ножкам, затянутым в серые домашней вязки чулки.

Мы с Колей Филипповым стояли, разинув рты, и Коля прошептал огорченно, что это, мол, существо не из категории поставляемого товара. Конечно, подтвердил я, таких он никому не поставляет. Сам пользуется. Видишь, облизывается, как кот. Коля возразил, что никто ее не пользуется. Еще дитя. Школьница. В гостиницу зашла случайно. Может, мама с папой послали с каким-нибудь поручением? А что болтает с мордастым малым из киоска «Сангигиена», так это случайное совпадение и к ее нравственности никакого отношения не имеет.

Я с Колей не согласился. Я был полон сомнений. Да, конечно, она совершенно не похожа на тех девиц, какие стучали ко мне в номер. Она божественно хороша невинной прелестью входящей в пору цветения красавицы. Ее огромные глаза так непорочно и удивленно распахнуты на этот гудящий, как улей, многоязычный мраморный холл, пропитанный насквозь пороками всех континентов, что хочется подойти к ней, бережно взять за руку и вывести отсюда прочь, подальше на чистый воздух. К школьным подругам.

— Вот, видишь, — сказал Коля. — Уходит. Она здесь случайно. Она не из тех. Пойдем, спросим у мордастого. Он только подтвердит.

— Обойдемся без мордастого, — сказал я и, как потом утверждал Коля, глаза мои загорелись хищным блеском, какой бывает у охотничьего пса. Сейчас ты, Коля, убедись, какой ты — наивный птенец.

И я ринулся в толпу, ей наперерез. У самой вертящейся двери настиг серую кроличью шубку, поравнялся и интимно зашептал в ушко под меховым беретом:

— Через десять минут я вас жду у себя... Четвертый этаж... Номер 425... Итак, через десять минут.

Прошептал все это без заигрываний в голосе, а тоном приказа.

Я даже не взглянул на нее. Поэтому не знаю, как она восприняла мои слова. Покраснела ли, побледнела?.. Я благоразумно затормозил, растворился в толпе и стал пробиваться к Коле Филиппову.

— Пошли, — заторопил я его. — Через десять минут она будет у нас в номере. Мы должны приготовиться к встрече.

— Ты с ума сошел! — завопил Коля. — Она что, согласилась?

— Это меня не интересует. Я ей велел. И уверен, не ошибся.

— Она тебе по морде не съездила?

— Хочешь быть в доле, заткнись, товарищ Филиппов. Нам нужно успеть приготовиться к ее приходу.

Ошарашенный Коля Филиппов стонал и охал в лифте, не умолкал на всем пути по длинному коридору, а в номере, свалившись в кресло, изрек:

— Спорю на любую сумму, что ты напрасно прождешь до утра.

— Не хочу с тобой спорить, — отмахнулся я, поспешно сбрасывая с себя одежду и натягивая вынутую из чемодана пижаму. — Как только постучит, милости просим убраться отсюда и через стеклянную дверь, разделяющую гостиную и спальню, можете смотреть концерт, который я здесь с ней исполню на диване. И облизываться. Беззвучно.

Коля закатился заливистым смехом и так громко, что я вначале не расслышал слабый стук в дверь. Колин хохот оборвался на визгливой ноте — он раньше меня распознал звук и, вскочив с кресла, заметался по гостиной. Я жестом показал ему на стеклянную полупрозрачную дверь в спальню, и когда он исчез, застегнул пуговицы на пижамной куртке, нервно откашлялся и открыл входную дверь.

На пороге стояла она. В серой кроличьей шубке, в сдви-

нута на ухо берете из кроличьего меха, и большие, глубокие, как у газели, глаза смотрели на меня застенчиво и выжидающе.

— Прошу.

Я закрыл за ней дверь и незаметным движением руки за спиной повернул ключ в замке.

Сердце стучало гулко под пижамной курткой. Я чувствовал себя неуверенно и был возбужден чрезмерно. В том, как она позволила мне снять с нее шубку, как стащила с прелестной головки берет и, оставшись в зеленом, в талию, коротком платье, села на диван, положив руки на колени, и взглянула на меня с доверчивой и в то же время робкой улыбкой, я кожей учуял, что меня ожидает множество сюрпризов, и Коля Филиппов за полупрозрачным стеклом, где темнел силуэт его фигуры, приникшей к двери, получит сказочное удовольствие в качестве зрителя. Меня же ожидают скорее всего неприятности.

Опустившись в кресло напротив нее, я тоже улыбнулся, очевидно, идиотской ухмылкой и стал лихорадочно прикидывать, что предпринять дальше.

Ее не удивило, что я встретил ее в пижаме. Это уже хорошо. Но она сидит, как школьница в гостях у дяди и, судя по ее лицу, даже не предполагает, чего я жду от нее. Раздеваться она и не собиралась. Во взгляде ее и в каждом движении головки, когда она с искренним любопытством рассматривала обстановку в гостиной, не было и намека на ту развязность и натянутую игривость, которые безошибочно определяли женщин, профессионально занимающихся этим делом.

— Ну, что ж, приступим, — бодро сказал я, потирая взмокшие ладони.

— К чему приступим? — невинно уставилась она на меня.

— Как к чему? — заерзал я в кресле и даже прикрыл рукой раскрытую ширинку в пижамных штанах, за которой светилось мое голое тело. — Ну, а что делают мужчина и женщина вечером в такой уютной обстановке... когда остаются, так сказать, наедине?..

Она рассмеялась.

— Не знаю. Расскажите мне...

Из спальни, за стеклянной дверью за моей спиной я услышал легкое похрюкивание. Это Коля Филиппов подавился сдерживаемым хохотом.

— Как тебя зовут? — спросил я, чтобы выиграть время и найти выход из положения, в которое я себя сам поставил.

— Рита, — сказала она кротко и доверчиво. — А вас?

Я представился. Вымышленным именем, конечно.

— Вы — инженер? — спросила она.

— Почему ты так решила?

— А вы похожи на одного инженера... папиного приятеля.

— А кто твой папа? — насторожился я.

— Разве не знаете? Он — большой человек в нашем городе.

В спальне снова хрюкнул Коля Филиппов, и Рита вскинула брови, прислушалась.

— Ничего, ничего, — заторопился я и пересел к ней на диван. — Это вода... в трубах парового отопления.

Теперь, когда я сел рядом с Ритой на диван и положил руку на спинку, как бы обняв ее, Коля Филиппов мог лицезреть эту умильную картинку в фас.

— Понимаешь, деточка, — тоном развязным, но в меру, оставляя возможность для благопристойного отступления, заговорил я, и рука моя, лежавшая на спинке дивана, за ее шей, коснулась ее плеча и стала поглаживать острый, еще детский выступ под шерстяным платьем движениями интимными и настойчивыми. — Ты мне нравишься как женщина.

Она не сбросила моей ладони со своего плеча и слушала, глядя прямо мне в глаза с каким-то любопытством, в котором не сквозило и тени сексуального интереса.

— И я тебе, надеюсь, не противен.

Она кивнула.

Я облегченно перевел дух и стал прокладывать дорогу ближе к цели.

— Что же нас останавливает? Почему мы не можем... любить друг друга?

Она передернула плечиками, и моя рука, скатившись, застряла между спинкой дивана и ее талией, так что я пальцами мог прощупать под тканью платья края трусиков, там, где резинка их стягивает на пояснице.

— Я вас совсем не знаю...

— Но ты ведь пришла ко мне в номер... и в такой поздний час.

— Вы меня попросили... — невинно распахнула она газельи глаза.

— Что значит, я тебя попросил? В гостинице сотни людей живут. И если бы другой тебя пригласил в свой номер, ты бы и ему не отказала?

— Не знаю. Может быть...

— Вот ты какая птичка? — с нарочитым удивлением закатил я глаза.

— Какая? — насторожилась она.

— Не притворяйся дурочкой. Давай говорить дело.

— Давайте.

— Вот так, лучше. Ты молода, наверно, студентка.

Она кивнула.

— Я тоже был студентом. Знаю, что такое жить на стипендию... а у девушки потребности... косметика... там... чулочки... шляпки... на стипендию не разгуляешься...

Она слушала, глядя мне прямо в глаза, и я решил идти напролом, чтоб вырваться из этой порядком надоевшей мне словесной шелухи, в которой я сам увязал, пробираясь окольными путями.

— Я уже не студент, хорошо зарабатываю и... с удовольствием помог бы... такой очаровательной... Скажи мне... и я тебе сделаю подарок...

Предложить ей денег наличными я не отважился, считая, что «подарок» не совсем покоробит ее еще неокрепшее ушко.

Она сдвинула брови на переносице и смотрела мне в глаза, обиженно моргая мохнатыми ресницами.

— За кого вы меня принимаете?

— Вот те раз! — я слегка хлопнул ладонью по ее колену и не отнял руки, а пальцами пролез под край зеленого платья и задвигал ими вверх сначала по вязаному чулку, а когда он кончился резинкой, ощутил голое упругое бедро.

— Уберите руку, — попросила она, и ее губы задрожали: вот-вот заплачет. — Я невинная девушка.

— Ты никогда не спала с мужчиной?

— Никогда.

Я вскочил с дивана и, забыв про Колю Филиппова за стеклом двери, нервно зашагал по гостиной взад и вперед, смешной и нелепый в своей пижаме.

— Зачем же ты ко мне пришла?

— Вы меня пригласили...

— Для чего?

— А это... вам лучше знать.

— Не знаешь? Ты что, дурочка? Прешь к мужчине ночью в номер... по первому зову... и не знаешь, для чего тебя пригласили?

Ее глаза до краев набухли слезами и, переполнившись, капнули двумя струйками по щекам.

— Я могу уйти...

Но при этом она не сделала движения, чтобы встать, и слезы по-прежнему ползли по щекам к уголкам губ, собираясь там крупными каплями.

— Я тебя не гоню, — смирив свой гнев, перевел я дух, приблизился к ней вплотную и положил ладонь на голову, чтобы утешить, успокоить ее. А затем потихонечку, без шума выпроводить.

Я стоял и гладил ее по макушке и незаметно возбудился, и мой напрягшийся член вывалился из пижамных штанов, замаячив перед ее носом. Она отдернула голову и тыльной стороной ладони закрыла рот... Мгновенная догадка сверкнула в моем мозгу. Я решительно отдернул ее ладонь от раскрытого рта и сунул ей в губы свой член.

На сей раз она не отшатнулась. Приняла его в рот, мягко обжав губами. Глубоко-глубоко. И заиграла язы-

ком. Движениями изнуряюще сладкими, от которых у меня защипало в носу.

Она делала минет. Умело. И с наслаждением. Прикрыв в истоме глаза и мохнатые ресницы легли темной бахромой на непросохшие от слез нежные щечки.

У меня звенело в голове от изумления и наслаждения. Ее гибкий упругий язык творил чудеса, а губки, пухлые и крепкие, ритмично и ласково двигались по члену от основания до самой головки и обратно.

Я чуть не выл. Мои колени задрожали, готовые подкопиться. Произошел взрыв, извержение вулкана. Она не отняла головы, не выпустила его изо рта, а несколькими движениями горла проглотила все, что я изверг. Потом облизала его языком, придерживая ладошкой и делала это до тех пор, пока он не обмяк, сжался и не исчез в пиджамных штанах.

Тогда она откинулась на спинку дивана и глубоко, удовлетворенно перевела дух. Я плюхнулся рядом на диван, пустой, как выжатый лимон. И тут вспомнил про Колю Филиппова. За мутным стеклом двери не видно было его силуэта. Должно быть, приводит себя в чувство в ванной.

— Ну-с, — понемногу приходя в себя сказал я слабым голосом. — Теперь-то подарок возьмешь?

— Зачем вы меня оскорбляете? — ее глаза снова наполнились слезами. — Я могу уйти, если вы этого хотите?

Я ничего не понимал. Мне нужна была ясность.

— Может быть, выпьешь со мной?

— Что вы? Я не пью. И если мама учует запах вина, то знаете, что дома будет?

— Кто же ты, черт побери, такая?

— Рита, — заморгала она пушистыми ресницами и доверчиво улыбнулась мне.

— Откуда тебе знаком этот малый, что торгует в холле парфюмерией?

— Это кто? Сеня, что ли?

— Возможно, Сеня. Я его имени не имею чести знать.

— Его сестра со мной учится. У них нет дома телефона.

Вот я и зашла, чтобы ей передать...

— Понятно, — протянул я.

Мне ничего не было понятно. Я никак не мог определить, что за птица эта Рита, понять мотивы ее поступков.

И тут меня осенила идея.

Я вскочил и направился в ванную, прикрыв за собой дверь. В ванной, как я и ожидал, пасся совсем обалдевший Коля Филиппов.

— Уму непостижимо, — простонал он, зажав голову руками.

— Хочешь, попробуй и ты? Я в спальне подожду.

Коля захлебнулся от восторга, протиснулся мимо меня и исчез за дверью, ведущей в гостиную, а я пустил из крана холодную воду и стал ополаскивать лицо.

Я еще вытирался мохнатым полотенцем, как из гостиной донесся шум. Голос Риты, срывающийся на крик, заставил меня насторожиться:

— Уходите! Вы что затеяли? Групповое насилие? Я кричу. Я милицию позову.

Я выскочил в гостиную, схватил растерянного Колю за плечи и вытолкал его в ванную, приговаривая, негодую:

— Ах, негодник! Подумать только, нельзя на минутку отлучиться? Это мой сосед. Дверь осталась незапертой, и он проник сюда. И стал приставать? Да? Делать тебе гнусные предложения? Ну, я ему покажу! Какое хамство!

Рита плакала на диване, спрятав лицо в ладони и склонившись головой к коленям. Я гладил ее по плечам, по волосам, а она всхлипывала, как обиженный ребенок и руки моей не отталкивала.

— За кого вы меня принимаете? Что я вам плохого сделала? Я к вам, как к человеку, а вы...

— Прости меня, родная... — утешающе нашептывал я, боясь, что ее слезы перейдут в истерику, в крик, и тогда прибегут из коридора, начнутся выяснения и мне не обобратиться хлопот. — Кто бы мог подумать? На минуту тебя оставил и этот хам... это ничтожество...

За стеклом двери темнел застывший Колин силуэт, и он слышал каждое мое слово.

— Этот подонок... этот шакал... без совести и чести.

Убаюканная моим голосом Рита склонилась головой мне на грудь, глубоко и тепло дыша в расстегнутый ворот пижамной куртки. Она уже не плакала. Ее ладошка покоилась на моем бедре и незаметно сдвинулась к ширинке, легла на мой выдохшийся съезженный член. Я же просунул свою руку под край ее платья, продвинулся по нежному бедрышку до трусиков и, пошевелив пальцами, добрался до курчавых волос.

Рита глубоко возбужденно задышала, уронила головку на мой живот и мягкими теплыми губами снова взяла мой сразу напрягшийся член. Начался второй сеанс минета. Сладше и вкуснее первого. Рита была неумолима и профессионально-умела. Она забирала в удивительно вместительный ротик все, даже яички, и перекатывала их язычком, как морская волна перекатывает, набегая на берег, крупную гальку. Я был на седьмом небе от вкушаемого удовольствия. Даже постанывал. Чем добил окончательно прильнувшего к двери отвергнутого Ритой Колю Филиппова.

Потом, когда я опустошенный, лежал ничком на диване, Рита, взглянув на часики, заторопилась домой. Подавая ей серую кроличью шубку, я смущенно и растерянно искал возможность выразить ей свою благодарность и снова забормотал о подарке.

Рита метнула на меня печальный, полный обиды, взгляд.

— Я к вам больше не приду. Вы — примитив.

И ушла, мягко, без стука, прикрыв за собой дверь. Прекрасная, как небесное создание, как сон, который обласкал и испарился. Чтоб больше никогда не повториться.

Я стоял растерянный, оглушенный в своей нелепой пижаме. И Коля, выползший из спальни, имел вид, не лучше моего.

Вот загадка. Ну, решайте ее, профессора. Прошло столько лет, а я, как вспомню, дохожу до головной боли. Кто такая Рита? Как понять ее поведение? Поступила так

она со мной одним? Или с каждым, кто ее помянет? Но ведь домогания Коли Филиппова она с гневом отвергла? А Коля был парень покрасивей меня. Намек на подарок вызывал ее оскорбленные слезы. Никаких чувств ко мне она не могла испытать. Так как же?

— Русская парилка!

Спасение и утеха небалованной радостями русской души.

Дух спирает, как войдешь и глянешь на дубовые полки уступами в пять колен, уходящих к самому потолку с набухшими на них тяжелыми каплями влаги. Каждый полок выскоблен и натерт распаренными ягодицами, и дерево все в трещинах, как в морщинах, от горячего пара и холодной воды.

Под грудой посиневших от жара камней-валунов с веселым треском пылают березовые поленья, в пахучем дыму завивая колечками белую кожицу-бересту.

На дубовом гибком полу кучей свалены веники. Еще сухие. Ломкие. Плоские от летней сушки. Воткнешь такой веник в деревянную бадейку с крутым кипятком, и он взрывается пьяным березовым духом, распушается букетом оживших ветвей с кружевными листочками. И такой аромат наполняет баню, какой бывает лишь после летней грозы в березовой роще, когда солнышко снова припечет, и белые красавицы в курчавой салатовой зелени сомлеют в его тепле.

Плеснешь бадью воды на синие от жары камни! Как бабахнет белыми клубами! Будто из старинной пушки срельнули. Вторую бадью. Третью.

— Уф-ф-ф! Уф-ф-ф! Уф-ф-ф!

Дышать нету мочи. Рот беспомощно разинут. Горло забито. Ноздри горят. Все тело прееет, сочится клейкой влагой, струится по груди, по животу, по ногам. Очищается.

И становишься как бы невесом. Еще немного и со звоном в голове оторвешься от пола и поплывешь в белом тумане.

Хорошо-то как! Господи! Не то. Дорогие товарищи! И жизнь хороша-а-а, и жить, едрёна вошь, тоже хорошо-о-о. Ой, до чего хорошо! Мочи нет!

Румяные, в красных пятнах и полосах тела растеклись по мокрым доскам.

Мечется веник, со свистом режет густой воздух и сладко сечет кожу, вышибая дух вон. Оставляя прилипшие березовые листочки на размякших плечах, на лопатках, на бедрах.

— Давай! Секи! Жги! Не жалеи!

Багровеет лицо до предела. Вот-вот лопнет, брызнет закипевшей кровью. Ан нет! Утопишь голову в холодной воде, выдавив ее волной через края бадейки и пустив пузыри. Затем мягко смажешь тело мыльным мочалом. Без нажима. Легонько.

И снова жить можно. И лениво хлестать себя веничком. И стонать от улады, и ухать, и выть, как зверь лесной.

В бане ты сам себе судья и хозяин. Здесь каждый, каков он есть. Как мать родила и в жизнь пустила. Без одежды и притворства. Весь — нагишом.

Они вышли из парилки багровые, с прилипшими к мокрым телам листьями от березовых веников и прилегли на диван и кресла отдохнуть, перевести дух. Кувшин с квасом, холодный, запотевший переходил из рук в руки, и они пили без стаканов, прямо из кувшина, как бывало делали это четверть века назад, когда были молодыми и не такими важными персонами.

— Твоя очередь, Саша, — сказал Лунину Зуев. — Давай, не отставай от нас.

— Что ты нам поведаешь, блондин? — насмешливо спросил Астахов.

РАССКАЗ ЛУНИНА

Кто из вас спал с иностранкой? Никто? Повезло вам, уж поверьте. Я вот умудрился и чуть инфаркт не схватил.

И не потому, что баба меня заграничная до того довела, а от страху. От страху, что узнают, и тогда мне — хана.

А бабы за границей свое дело знают. Получше наших. Умеют себя подать, как следует. И не выламываются, не строят из себя невесть что. Раз пошла на это дело, значит, на полную катушку, без оглядки. Чтоб и мужику доставить удовольствие и себя не обидеть. Ну, подарочек какой перехватить, а лучше всего — деньгами.

Есть у меня приятель в Москве, известный поэт и большой любитель женским мясом полакомиться. За границей он бывает больше, чем дома. И вот как он наших и иностранных баб сопоставляет:

— Там, говорит, за границей, все просто. Время — деньги. Остановил на улице бабенку поинтересней. Чтоб грудки на месте и задок на отлете. Как из журнала мод.

Никаких лишних слов. Разговор чисто деловой. Сколько, мол, стоит? Столько-то. А нельзя ли подешевле? Нельзя. У нас и так, мол, инфляция. Ладно. Где наша ни пропадала. Вот тебе адрес моей гостиницы и номер комнаты, в какой проживаю. В восемь ноль-ноль, чтоб была как штык. Я, понимаешь, в заграничной командировке, времени лишнего ни минуты.

Я к восьми уже принял душ (там горячая вода — круглые сутки), одеколоном парижским побрызгался, облачился в пижамку и жду. Ровно в восемь стук в дверь. Приходит. Улыбка — на все тридцать два белоснежных зуба, будто и впрямь к любимому на свидание пришла.

А уж в постели такое мастерство покажет — глаза на лоб лезут. Сделала все, как следует, оделась, в лобик тебя чмокнула, денежки в сумку спрятала и завихляла задом к выходу. Даже провожать не надо. Лежи, мол, отдыхай. Гуд бай, дорогой товарищ.

А у нас? Сидишь где-нибудь в командировке. Баба нужна до зарезу — аж штаны трещат. Ну, зацепил где-нибудь в кинотеатре или в парке (на улице, боже упаси, не знакомятся) местную красулю из фабричных девчонок, лет под двадцать. Бабец по формам не хуже той иностран-

ки, и по глазкам бедовым видать не из монашек, под ко-
нем бывала не единожды.

Так и так, мол, уговариваешься, приходи в гостиницу в
восемь часов, я ужин закажу в номер, выпьем, поговорим
за жизнь. Упаси бог, нашей-то девице открыто сказать за-
чем ее приглашают, примет за самое страшное оскорбле-
ние и больше разговаривать не станет, хоть и отлично
знает, зачем я ее приглашаю. Не кормить ведь, у меня —
не ресторан.

Поломавшись для виду, соглашается. Значит, жду тебя,
говорю, в восемь ноль-ноль. Ни минутой позже. В десять
в гостиницу посторонним вход воспрещен. Понятно? По-
нятно, говорит, не обману.

Сию я в своем номере. На столе бутылка «Столичной»,
селедка, винегрет, да пара пива. Больше ничего в местном
буфете не водится. Да и моя-то красавица других делика-
тесов и не знает. Сойдет.

Восемь часов. Нету. Девять часов — ни гу-гу. Тут уж
начинаешь подвывать от расстройства. Настроение пор-
тится окончательно. Пульс начинает падать. Принимаешь
валокордин. Спасибо жене-умнице, не забыла, сунула пу-
зырек в карман в самый последний момент. А то бы
впору скорую помощь вызывать. Без пятнадцати минут
десять — телефонный звонок.

— Это я, — кокетливым голосом.

— Да где же ты, черт бы тебя побрал? — не выдержи-
вают нервы.

— Тут рядом. В телефоне-автомате.

— Чего же ты ждешь? Через десять минут будет позд-
но. Тебя сюда не впустят. Беги скорей!

— Хорошо. Но я не одна. Я — с подругой.

— На хрен мне твоя подруга? — я уже перехожу на
визг, как баба. — Приходи одна. Идешь?

Молчание. Сопение в трубке. Шепоток на два голоса.

— Ладно. Ждите.

Меня прошибает цыганский пот. Как же ее провести?
Дежурная на этаже — старая карга с мордой бандерши

— не пропустит. Надо ее подмазать. Хватаю из чемодана флакон парижских духов, которые тут по большому знакомству раздобыл для жены в подарок и — бегом в коридор. Сюю карге, а самому выть хочется от унижения.

— Так, мол, и так, объясняю. Тут ко мне местная поэтесса зайдет. Для консультации по поводу ее сборника новых стихов. Так уж, будьте любезны, не задерживайте, пропустите.

— Ну, уж если на консультацию, — понимающе соглашается старая карга и прячет в ящик стола французские духи, — то почему не пропустить? Пропустим. За милую душу.

Бегу обратно в номер, снова глотаю валокордин. Жду. Осторожный стук в дверь.

— Войдите.

Входит, потупясь. Как невинная девица. В пол смотрит, мнется.

— Я всего лишь на минутку. Ботики снимать не стану.

Утром просыпаешься с ней в кровати — действительно, ботики не сняла. Так и провела ночь, не разуваясь.

Вот так сравнивает известный поэт наших девиц с заграничными.

У меня впечатления иные. Мне было впору принимать валидол с иностранкой. Не буду вас томить и изложу все по порядку, чтоб смогли пережить то, что со мной произошло и самим сделать соответствующие выводы.

Я не стану рассказывать, как я выезжал за границу, ибо каждый советский человек, кто оказался «счастливым» и попал в туристскую группу, знает чего это стоит.

Знает, как тебе завидуют товарищи и, в особенности, их жены, потому что ты с женой едешь, а они — нет. Значит, у тебя своя рука там, где это решается, значит умешь жить, то есть, ловчить и так далее.

Знает, как тебе душу вынут в партийной комиссии, где геморройные старики с большим стажем в партии будут потрошить все твое белье и допытывать, как во времена инквизиции. Хотя при этом отлично знают все о тебе по твоему личному делу, знают, что ты — партийный работ-

ник и уже не менее, чем сто раз проверен и перепроверен.

Знают, что ты пограмотнее их и больше читал и поэтому тебе не нужно, как несмышленишу, пояснять, как себя вести за границей, чтоб, не дай бог, не уронить чести советского человека, не поддаться на провокацию врагов. Хотя о какой провокации и о каких врагах может идти речь, если едешь ты не к капиталистам, а к нашим верным союзникам, которые у нас по струнке ходят на коротком поводке и сами норовят казаться святее папы.

И тем не менее тебе мотают нервы, припугивают, что в любой момент могут отменить решение и не пустить тебя за границу. И вместо тебя поедет кто-нибудь более достойный. И это при том, что едешь ты за свои кровные денежки, иностранной валюты тебе меняют с воробьиный нос, чтоб только хватило на прохладительные напитки да почтовые открытки с видами заграничных городов, по которым тебя провели галопом и чуть ли не в армейском строю.

И это еще при том, что раз едешь с женой, то дома обязательно должны оставаться, вроде, как в залог, твои детишки с бабушкой. Это для того, чтобы ты не вздумал бежать и попросить политическое убежище.

Куда бежать? Где просить? У коммунистов просить убежища от коммунистов. При том, что ты сам коммунист с солидным стажем и занимаешь немаленький пост в партийном аппарате.

Бред. Идиотизм. Вывихнутые мозги.

Но вот — все позади. Последняя пограничная проверка. И — прощай любимая страна. Мы — за границей.

В нашей туристской группе подобрался народ серый, невыразительный, но успешно прошедший проверку на идеологическую чистоту и патриотизм. Дамы провинциальные, одеты так, что в чужой стране, где цивилизации побольше, готов провалиться сквозь землю от стыда за своих соотечественников и за нашу несчастную Россию — светоч человечества и знаменосец мира.

Какие им там исторические памятники и музеи? Глазят только на витрины магазинов, и все мозги заняты

решением одной задачи: как умудриться из жалкой суммы иностранной валюты выкроить так, чтобы купить хоть что-нибудь попримочнее, сэкономив на газированной воде и почтовых открытках.

Я уж не говорю, что держи язык на привязи, не болтай, не остри. В другой раз за границу не поедешь. Старший в группе, «нянька» из государственной безопасности, составит рапорт куда следует и потом будешь отдуваться. Да и соседи по группе не лучше. Меня мой приятель из органов предупредил, что в подобных туристских поездках каждый второй получает строгий наказ — следить за определенной особой и доносить «няньке». Я не удивился бы, узнав, что моя жена получила задание контролировать меня и писать доносы. Меня, славу богу, не попросили следить за ней.

Фарс. Водевиль. В нормальной голове не уместается. Но, как поется в известной песне, мы, коммунисты, рождены «чтоб сказку сделать былью», а также «и в воде мы не утонем и в огне мы не сгорим». Что уж нам — поездка за границу!

Ездили мы в роскошных итальянских автобусах по довольно красивой, скажу я вам, стране, и кормили нас вкусно и обильно. Останавливались в хороших современных гостиницах: семейная пара — вдвоем в комнате, одиночки — каждый в отдельности.

Случилось это в старинном городе, расположенном по склонам холмов, с узкими извилистыми улицами, остроконечными черепичными крышами, фонтанами на крошечных площадях, мощенных булыжником, по которым стучали каблуками еще римские легионеры.

Наша гостиница на двадцать этажей высилась над морем красной черепицы серыми бетонными боками, как чужая заморская гостя. Но жить в этой гостинице было очень уютно — последнее слово мировой архитектуры.

Должен оговориться, что весь наш с женой капитал в местной валюте хранился у меня — жена страдала рассеянностью. Даже свои ручные часы она забыла дома в предотъездных хлопотах и порядком надоела мне, осведо-

мляясь то и дело о времени. Я даже иногда отдавал ей носить мои часы — отечественную, не бог весть какую, штуку марки «Мир».

Мы старались не тратить ни гроша из той жалкой суммы, которую нам обменяли в банке перед отъездом. Восемнадцать долларов на нос на всю поездку. Больше не позволено. Жена решила, что в последний день нашего путешествия, когда она будет знать все цены, мы купим на эти деньги подарки детям и бабушке. Какую-нибудь вязаную шерсть, которая в нашем отечестве блистательно отсутствует на полках магазинов.

Вот в этом-то городе, расположенном на холмах, жена учинила мне скандал, застав на месте преступления — я на валюту выпил бутылку пива, потратив по ее хитрым подсчетам сумму, достаточную для покупки кофточки младшей дочери.

Я рассердился не на шутку. Да нельзя быть таким крохобором! Хрен с ней, с кофточкой! Если так трястись над каждой копейкой, так лучше уж сидеть дома и никуда не ездить.

Жена тоже не осталась в долгу, повысила голос до визга. Услышал «нянька», велел нам немедленно перестать ссориться, ибо нас слышат иностранцы, и они могут нехорошо подумать о советских людях. На всякий случай, в гостинице он разместил нас в двух отдельных номерах и даже на разных этажах, чтобы мы поостыли маленько.

Так создались идеальные условия, бросившие меня в объятия иностранки. В тот вечер нас, советских туристов, местное отделение общества дружбы с СССР угощало ужином, обильно сдобренным местным вином, которое можно пить бесконечно, настолько кажется оно слабым и вкусным, вроде виноградного сока. Последствия сказываются значительно позже, когда внезапно начинает деревенеть язык, наливаясь свинцом ноги, потом начинаешь откалывать номера совсем уж бесконтрольно, как после бутылки водки.

Когда мы поздно ночью возвращались домой нестрой-

ной и галдящей толпой, привлекая внимание прохожих громкой русской речью и взрывами беспричинного смеха, кто-то из наших туристов, расхрабравшись после изрядных возлияний, стал спорить с «нянькой» — единственным трезвым и хмуро-озабоченным существом, что две девицы, одиноко сидящие за столиком среди десятка других пустых перед входом в наш отель, — не кто иные, как местные проститутки. «Нянька» не стал вступать с ним в дискуссию и велел прикусить язык и заткнуться. Но моя жена, которая в этот день меня демонстративно не замечала и на банкете сидела на противоположном конце стола, не последовала примеру «няньки» и резко возразила, что это клевета на дружественную нам страну, успешно, по нашему примеру, строящую социализм. Следовательно, проститутки в таком обществе нет и быть не может. Логика моей жены, как всегда, была восхитительной, а ее суждения категоричны и неоспоримы.

Когда мы поравнялись с этими девицами, сидевшими в полном одиночестве на огромной каменной веранде перед фронтоном отеля за совершенно пустым столиком, даже без бутылки лимонада для близира, та, что была слева, со змеиной гибкой фигуркой, туго обтянутой черным платьем с глубокими вырезами на груди и спине и с красной дразнящей розой в черных волосах, подмигнула мне озорно и вызывающе, и я чуть не взбрыкнул публично, как старый армейский конь при звуках боевой трубы.

Мы обменялись быстрыми понимающими взглядами, и я поспешно отвел глаза, дабы дружный коллектив советских туристов во главе с моей законной супругой не заподозрили неладное.

Даже быстрого взгляда было достаточно, чтобы понять, что девка — чудо. Совсем юная, жгучая брюнетка, с пухлым пунцовым, как роза в волосах, ротиком, с глазами, как влажная вишня — ни дать, ни взять — испанская Кармен из одноименной оперы композитора Бизе. В глубоком вырезе черного платья дразняще бугрились каменные груди.

Мы гурьбой ввалились через вертящиеся двери в уже опустевший, с наполовину притушенными плафонами, вестибюль, где в кресле дремал старый швейцар, а два рослых усатых полицейских в диковинной форме с лампасами, парой, и даже в ногу, прогуливались по мягкому ковру. Нас они приветствовали, четко приложив руки к лакированным козырькам и, оскалив белые зубы под черными усами, даже изрекли несколько русских слов, как знак особого к нам благоволения.

Администратор во фраке и с «бабочкой» на крахмальной груди лучился всеми морщинами бритого и порядком потасканного лица, когда вручал нам ключи от комнат.

В этой стране нас, советских, если и не любили, то порядком боялись и потому постоянно демонстрировали не совсем искреннее дружелюбие, когда нужно и не нужно.

В лифте я поднимался вместе с женой, оттесненный от нее горячими распаренными телами наших туристок, которых все больше и больше разбирало выпитое сверх меры вино, притупив чувство бдительности и развязав языки. Они громко, с подвизгом хвалили качество кабины бесшумного лифта, мерцавшей гладкими алюминиевыми стенками и отражавшей их распаренные физиономии со сбитыми прическами в зеркальном потолке. Они наперебой уверяли друг друга, что таких лифтов в СССР нет и еще не скоро будет, и вообще Европа умеет жить не в пример нам, русским.

Моя жена, правда, попыталась вставить, что зато у нас имеются спутники и баллистические ракеты, но ей тут же заткнули рот таким сокрушительным аргументом, что, мол, спутник и ракету в рот не положишь и на себя не денешь.

Она вышла одним этажом раньше меня и, пока алюминиевые двери кабины медленно смыкались, смотрела из коридора на меня презрительным и в то же время жалким бабьим взглядом, все еще надеясь, что в последний миг я выскочу из лифта и последую за ней в ее комнату.

Я закрыл глаза и открыл их лишь тогда, когда лифт, мягко вздрогнув, остановился на следующем этаже. Отпе-

рев свою комнату, сразу бросился к окну, распахнул его и, грудью навалившись на подоконник, заглянул вниз, как в пропасть. Пятнадцать этажами ниже, при свете круглых фонарей я разглядел среди пустых столиков, казавшихся совсем маленькими, обеих девиц. Вернее, одну. Мою. С красной розой в волосах. Ее подругу уже уводил вниз по ступеням к черному большому американскому автомобилю мужчина в темном костюме. А моя (я спяну уже считал ее моей из-за одного лишь взгляда, которым мы обменялись внизу), помахала подруге рукой и уселась, как птичка, на металлической ограде, по-птичьи поджав под себя ноги и запрокинув лицо кверху, словно обозревая все двадцать этажей с пунктирами темных и светящихся окон.

Мое окно светилось, и с подоконника свешивалась моя пьяная башка. Клянусь честью, она меня узнала на таком расстоянии. Помахала ручкой и улыбнулась на все тридцать два жемчужных зуба.

Меня прошибло потом. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я вырвал из блокнота листок, размашисто начертил на нем номер моей комнаты и хотел было выбросить записку в окно, но спохватился, что ее унесет ветром, черт знает куда, и, вырвав из горла графина стеклянную полу пробку, завернул ее в мое страстное послание, состоявшее лишь из номера комнаты, и опустил за подоконник, предварительно пояснив взмахами руки, чтобы ловила внизу. Она соскочила с ограды и подняла руки кверху.

Хорошо, что я промахнулся, иначе бы ей не сдобровать. Стеклянная пробка, завернутая в бумажку, камнем пролетела мимо нее и взорвалась как бомба от удара об землю. Так по крайней мере показалось мне. И еще мне показалось, что на этот грохот во многих темных окнах вспыхнул свет, и сонные люди, в том числе советские туристы, недовольно выглянули наружу. Но это мне, к счастью, только показалось спяну. Меня развозило все больше и больше. Коварное местное вино выказывало свой нрав, и дальше все мои поступки диктовались уже не разумом и

даже не инстинктом, а лишь давлением винных паров.

Моя красотка подобрала с земли записку, отошла к фонарю, чтобы прочесть, и несогласно мотнула головой, показывая мне, что ей ко мне подняться никак нельзя, а лучше мне самому спуститься вниз.

— Куда вниз? — тяжело ворочались мысли в моей мутной башке. — Здесь у меня комната, хорошая кровать с упругим матрасом, на которой мы с ней взлетали бы до потолка, и душ с горячей водой. Куда мне идти? К себе поведет? А куда к себе? И нет ли там засады? Нас же предупреждали перед отъездом все время быть начеку, не притуплять бдительности и не поддаваться на провокации.

— Ну, это мы еще посмотрим, — решил я, не размышляя, — кто кого спровоцирует. Нас, больше-ви-ков голыми руками не возьмешь. Понял? Вот... и катись!

И я покатил к выходу. Предварительно догадавшись взять из чемодана всю пачку денег в иностранной валюте, мои и женины, которые она отдала мне на сохранение, чтобы в последний день, перед отъездом домой, купить детям и бабушке подарки. Проститутки ведь бесплатно не отдаются. Это я даже в пьяном виде хорошо понимал.

Я был пьян, как говорится, вдрызг. Еле передвигал ноги, расставляя их как можно шире, чтоб найти упор, как матрос во время шторма на качающейся палубе. Вино булькало у меня в горле, я был переполнен выше верхней отметки и опасался покачнуться, чтобы вино не хлынуло изо всех пор, в том числе и из ушей.

Серебристая кабина лифта мягко, как перышко, опустила меня в вестибюль, но при торможении я сделал несколько отчаянных глотательных движений, чтобы удержать вино в горле и не прыснуть тонкой струйкой в зеркало.

Проснувшийся в кресле швейцар и оба полицейских с недоумением проводили взглядом мою покачивающуюся фигуру, и администратор, которому я отдал ключ от номера, даже вскинул брови. За его спиной зияли ячейки с

цифрами номеров, но без ключей. В этих ячейках стояли торцом книжечки паспортов обитателей отеля.

У меня еще хватило сообразительности не подойти к ней перед фронтоном здания с сотнями окон, откуда за мной могли наблюдать бдящие глаза моих соотечественников и всевидящее око моей супруги. Я прошел мимо нее, лишь кивком головы предложив ей следовать за мной. Она понимающе подчинилась. Лишь свернув за угол кирпича-небоскреба, я остановился и сгреб ее в свои объятия.

Не знаю почему, но я заговорил с ней по-немецки. Возможно, потому, что она на этом языке стала со мной объясняться. А для меня как раз немецкий — единственный из всех языков на земле, кроме родного, русского, на котором я могу хоть что-то пробормотать. Это — последствия войны и моего пребывания на территории побежденной Германии. Правда, мой лексикон был очень ограничен, и блистал такими перлами, как «Хенде хох!» (Руки вверх!), «Гитлер капут!» и «Яволь!» (Так точно!). Но это несколько нам не помешало. Благо и ее немецкий не отличался совершенством, и она так коряво выговаривала слова, что я схватывал на лету и безошибочно.

Девчонка меня приняла за немца. Из Западной Германии. У тех, как известно, денег — куры не клюют, и валюта — самая стабильная в мире. Девочка предвкушала иметь в своей ладошке немецкие марки и в немалом количестве. Чтоб меня вдохновить на щедрость, она, сверкая глазками-вишнями и обжимая горячими руками мою шею, сообщила мне интимную подробность, заключавшуюся в том, что ее подружку увез американец, постоянный клиент, который за каждую ночь платит сто долларов. И ни копейки меньше.

По моей спине прополз влажный холодок и растаял в ложбинке между ягодицами. Мне делали откровенный намек на то, что все удовольствие обойдется в кругленькую сумму, не меньше ста долларов или сколько там выходит в перерасчете на немецкие марки.

В заднем кармане моих брюк тоненькой пачкой лежали жалкие тридцать пять долларов, да еще к тому же в местной, неконвертируемой валюте, и это было все, чем родное государство наделило от щедрот своих меня и мою жену. А жена, как уже известно, берегла их пуще глаза своего, потому как планировала закупить на них вязаную шерсть детишкам и бабушке. И так как даже себе не доверяла, отдала их мне на хранение. Когда же я по забывчивости разменял одну купюру, изнемогая от желания испить пива, моя жена, буквально, чуть башку мне не оторвала. И при том публично, на глазах у местных жителей, которые по справедливому замечанию нашего «няньки» могли создать себе неправильное, превратное представление о советском человеке.

— Ну, — решил я, — семь бед — один ответ. Ни шагу назд! Погорят сегодня две женщины. И эта девица с красной розой в волосах, которая рассчитывает расколоть меня уж по крайней мере не меньше, чем на сто долларов, а я таких денег и во сне не видал. И моя жена. Плакали ее кофточки шерстяные. Останутся без заграничных подарков мои бедные деточки. И бабушка тоже.

Вот сколько народу должно было пострадать в эту ночь. А все от того, что местное вино лишь на вид такое слабое, а как наглотаешься его под завязку, становишься отчаянным и бесстрашным. Пусть все они винят это коварное вино. А я тут не при чем. Единственное мое желание — дорваться до этой туземной красотки, содрать с нее штанишки и вонзить ей мой пролетарский член под самую печенку, чтобы задохнулась подо мной и взывала нехорошим голосом, позабыв даже те несколько слов на немецком языке, которые знала.

Она что-то лопотала, повиснув на моей шее и вода щечкой по моему носу, отчего я воспалялся все более. Кое-как я разобрал, что к себе домой она меня не приглашает, там мне, привыкшему к немецкому комфорту, не понравится, но зато она знает такое место, где нам обоим будет очень хорошо. Так как я немножко пьян, то она

предлагает на моей машине не ехать (у меня не только здесь, но и дома автомобиля в помине нет), а взять такси. Кстати, паспорт мой со мной? А то там без документа не пускают.

Мой заграничный паспорт с серпом и молотом в твердом переплете лежал в ячейке, за спиной у администратора, где висел ключ от моей комнаты.

Она прижалась ко мне, обвив мою шею рукой, и мы пошли, покачиваясь (она качалась в такт со мной), к вестибюлю. Только проскочив с ней через дверь-вертушку и увидев полицейских, швейцара и администратора, я понял, что влип бесповоротно. Уж они-то знают, кто такая девица с алой розой, повисшая на шее у советского туриста, и с абсолютной точностью смогли установить, что, как и Карлу Марксу, коммунисту из СССР ничто человеческое не чуждо. А так как здесь, как и в СССР, все служащие гостиниц и тем более полицейские являются осведомителями, то уж они не преминут поделиться своим открытием с определенным учреждением, а те, изумившись, пошлют рапорт в Москву, чтобы порадовать своих советских коллег. И — спи спокойно, дорогой товарищ. Твоя песенка спета. Из партии — ногой под зад, волчий билет — в зубы, жена в праведном гневе требует развода. Я остаюсь без семьи, без партии и без гроша в кармане.

Эти мысли как вихрь, как смерч пронеслись в моей мутной голове, и я даже всхлипнул беззвучно, оплакивая свою судьбу, тем временем продвигаясь к конторке администратора, с девицей, повисшей на моей шее. Полицейские смущенно улыбались мне вслед, швейцар делал хитрые глазки, а администратор понимающе и сочувственно смотрел мне в лицо. На стенах вестибюля в золоченных рамах висели большие портреты руководителей этой страны, ее партийных лидеров (я, к стыду, ни одного из них не помнил по фамилии, хотя в наших газетах их имена мелькали часто, да и по должности мне это полагалось знать), и мне казалось, что все они смотрят на меня с укоризной и вот-вот погрозят пальчиком:

— Ай-ай-ай, немолодой человек. Позорите свою страну и партию, вас воспитавшую. Какой же пример вы подаете нам, вашим младшим братьям по борьбе за счастье трудящихся? Дурной пример. Нехороший пример. Глаза бы наши не глядели. Бр-р-р-р!

Тем не менее, подстегиваемый винными парами, я попросил свой паспорт, назвав номер комнаты, и администратор, сладенько улыбаясь, вынул из ячейки под моим ключом советский паспорт и протянул его мне. Я, как можно более небрежно, сунул его в задний карман брюк, где лежала обреченная валюта и зашагал с девицей в обнимку к вертящейся двери.

Мне, как и пролетариату, терять было нечего, кроме своих цепей. Спасения уже не было, мосты сожжены. Мне стало весело, а в голове пусто и звонко.

Девушка сама позаботилась о такси, приставив меня на минуточку к стене отеля, чтобы я не упал, пока она подзывала машину. Она втокнула меня на заднее сиденье, сама втиснулась вслед за мной и уселась на моих коленях, обняв за шею и тепло дыша мне в глаза и лоб. Шоферу она сказала адрес, куда ехать, и мы покатили.

Она вертелась на моих коленях, как уж, расстегнув мою рубашку, оглаживая ладошкой волосатую грудь, губами ловила мочку моего уха и жевала ее, отчего сладко защемило в переносице и под черепом, в извилинах моего мозга потекли теплые медовые ручейки.

В этом бредовом состоянии я не очень следил, куда мы едем. Единственное, что машинально засек мой затуманенный взор, это то, что мы уже выехали за город и при лунном свете мчались по асфальтовому шоссе, петлявшему по склонам холмов, тоже пустых, без единого огонька.

Девушка представилась. Ее звали Анитой. Полагаю, что это была ее профессиональная кличка, а подлинное имя она клиентам не называла. Анита, так Анита. Звучит неплохо и почти как по-русски, так, что не требуется больших умственных усилий, чтобы запомнить.

Спросила, как меня зовут, и я назвался Гансом. Анита

взвизгнула от удовольствия и с радостью сообщила, что у нее был друг по имени Ганс и даже похож на меня как брат. Такой же блондин и голубоглазый. Он ей каждую ночь оставлял по двести немецких марок. Не считая угощений и подарков. У меня заняло под копчиком.

За очередным поворотом дороги замелькали огоньки среди деревьев и такси затормозило перед аркой, перекрытой шлагбаумом. Рядом стояла сторожевая будка. Это был кемпинг для иностранных туристов. За аркой по склону холма теснились разноцветные палатки, освещенные изнутри. Между палатками лоснились под луной глянцевитыми боками автомобили всевозможных марок. Из палаток на десятки голосов вопили, хрипели, рыдали магнитофоны, оглашая весь холм джазовыми подвываниями, как будто здесь международный фестиваль и много оркестров в одно время рванули каждый свое, стараясь перекрыть друг друга.

Первый удар по черепу я схлопотал, взглянув на счетчик такси. У меня глаза полезли на лоб. Цифры, нервно подрагивающие на приборе, показывали сумму, превышавшую половину того, что я вообще имел. А дорога назад? А плата за кемпинг? А Анита ведь тоже ожидает вознаграждения.

Я был банкрот, а банкроту ничего другого не остается, как катиться дальше по наклонной плоскости. В пропасть. И при этом делать вид, что ему очень весело. Я уплатил шоферу небрежным жестом миллионера и отпустил машину. Назад, если меня здесь не придушат, придется топтать пешком. Километров пять. Не меньше.

Анита уже щебетала в сторожевой будке с усатым малым явно бандитского вида, но в форменной фуражке местной туристской компании. Он оскалится мне навстречу и попросил паспорт. Взяв его в руки, малый в фуражке был немало удивлен, определив его советское происхождение. Он покачал головой, переводя хитрый понимающий взгляд с меня на Аниту. Ее он знал. Не первого клиента сюда доставляет, но с советским паспортом впер-

вые. Это все можно было без труда прочесть на его плутоватой роже.

— Тоже, небось, осведомитель, — засосало у меня под ложечкой, — и непременно сообщит, куда следует.

Малый развернул паспорт, заглянул и его миндалевидные глаза округлились, открыв синие белки. Концы усов полезли вверх, зубы оскалились, и он захохотал, тряся паспортом перед моим носом. Это уже было чересчур. У нас, советских людей, своя гордость. И хоть я влип в беду, но смеяться над собой не позволю. Я вырвал у него раскрытый паспорт, и самого беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, что привело усатого в такое веселье. Я бы и сам заржал, не лишен чувства юмора, если б это касалось другого, а не меня. Проклятый администратор гостиницы перепутал паспорта, мой и жены, и сейчас на меня глядела с квадратной фотографии, наполовину пробитой казенной печатью, моя законная супруга. Глядела сурово и бессмысленно, как это часто получается на паспортных карточках.

Это был второй удар по черепу, но я еще стоял на ногах, не грохнулся навзничь. Крепкой мы породы люди. Стойкие. Как говорил поэт, гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей.

Цена за ночлег в кемпинге втрое превышала остаток денег в заднем кармане моих брюк. Я честно сознался в этом, выложив на стол последние жалкие ассигнации.

Анита искренне опечалилась. Но, к счастью, она меня не презирала, а во взгляде ее я даже прочел сочувствие. Вот, что значит своя социалистическая проститутка. Человек — в первую очередь. Она пошептала с усатым, он разрешил нам лишь на два часа за эти деньги занимать палатку, спрятал деньги в карман, бросил мне на плечо, как вьючному ослу, два шерстяных одеяла, и наш караван, ведомый усатым осведомителем в фуражке туристского бюро, за которым тащился я, а за мной грустная Анита, проследовал на территорию кемпинга, заплетая между палатками и автомобилями, под грохот джазов, под разноязычные вопли и смех наслаждавшихся отпу-

ском западных туристов. Я брел как бесчувственный автомат, и почему-то думал о том, что если придется бежать отсюда, то я никак не выберусь из лабиринта и заблужусь как дитя.

Наконец, мы в пустой розовой палатке, высокой, в полтора роста. С яркой лампой над головой. С надувными, но без воздуха, матрасами под ногами. Анита изнутри закрыла палатку на замок-молнию, села на пол и жестом предложила мне последовать ее примеру. Я последовал.

— А теперь давай поговорим, — сказала она. — Я бесплатно спать с тобой не собираюсь. Из-за тебя я и так потеряла весь вечер.

Я согласно кивнул и, как мог, по-немецки объяснил ей, что у меня в банке много денег и завтра, мол, когда банк откроют, она получит свое. И даже больше (завтра рано утром автобус должен был умчаться нас в другой город, на противоположном конце страны).

Анита выслушала мою ломанную речь с явным интересом, но тем не менее попросила чего-нибудь вперед. Что мог я ей предложить? Заграничный паспорт моей жены? Мой взгляд остановился на часах, кожаным пропотевшим ремешком охвативших запястье левой руки, и я предложил совсем уж не как немец, а как это водится у нас, на Руси, в определенных слоях общества:

— Возьми часы. На память.

У Аниты на смуглой руке золотились изящные часики, и тем не менее она проявила интерес к моим. Я снял их с руки безо всякого сожаления. Часы — дерьмо. Отечественные, марки «Мир».

Анита прочитала марку по латыни и получилось «Муп».

— Никогда не встречала такой марки, — искренне удивилась она.

— Ого! — сказал я. — Это — уникальные часы. В вашем городе только ты одна и будешь владеть такими часами.

Анита со смехом одела их на свое тонкое смуглое запястье, выше своих золотых и попросила меня застегнуть

застежку. Потом она подтянула к себе резиновый ребристый матрас, губами схватила медную трубочку на конце его и стала дуть, округляя шариком щеки. Я тоже принялся надувать второй матрас. Мы дули оба, сидя на земле друг против друга, как два закадычных приятеля, направившихся в туристический поход за город, на лоно природы, с ночевкой.

Анита оживилась, засияла глазками. Мое обещание сходить утром с ней в банк и щедро одарить свое действие оказалось. А я дул из последних сил, неуклюже, часто мимо трубки, издавая губами непристойные звуки. Хмель понемногу улетучивался из головы и страх за содеянное овладел мною, леденя душу и спирая дыхание.

Я был конченным человеком. Возвращаться домой мне была дорога заказана. Погонят отовсюду с позором. Значит, оставалось одно — бежать. Предать страну, партию, семью и бежать до границы и там махнуть на Запад. Здесь, я слышал, граница охраняется спустя рукава, небрежно, не то, что у нас, и проделать это несложно.

— Прощайте, родные, — целовал я в уме почему-то сонные мордашки моих детей, и слезы закипали во мне горячие, обидные.

— Прощай, мама. Ты меня, подлеца, больше не увидишь и тебя похоронят чужие люди.

— Прощайте, товарищи, — перебирал я в уме тех, с кем работал, с кем встречался на именинах, куда ходил в гости.

С женой я не прощался. Хрен с ней!

Вот в таком полуобморочном состоянии я полез к раздевшейся догола Аните, когда она уложила рядом два надутых матраса и сама легла поперек, широко раскинув крепкие стройные ноги. И опростоволосился. Я был абсолютно ни к чему неспособен. Поелозил по ней безрезультатно и смущенно слез и стал натягивать штаны.

— Постой, — сочувственно заглянула мне в глаза Анита, — я тебе помогу.

Она склонила голову к моим расстегнутым штанам, губами поймала его и стала жевать, тянуть, языком прижи-

мать. И он не выдержал такой атаки, набух, вывалился наружу.

Анита повалилась на спину, потянув меня на себя. Ловкими пальчиками направила его, просунула, куда следует, и стала снизу покачивать меня, дыша часто и со страстью, и ладошками прижимая мои ягодицы.

А я смотрел поверх ее головы, в розовую стенку палатки, слышал джаз и чей-то захлебывающийся стон. Женский. Из соседней палатки. Там, видать, бабе достался настоящий мужик. А я ни на что не был способен. Перед моим взором мелькали сонные мордашки моих детей, я их целовал и горячие слезы текли по моим щекам.

Как Анита ни прижимала мои ягодицы, он увял в ней и стал вываливаться, а она, должно быть, всерьез возбуждись, сплела обе ноги на моей спине и стала вжимать меня в себя, не давая выскользнуть и темпераментно извиваясь животом.

— Битте, битте, — по-немецки умоляла она меня проявить себя мужчиной и удовлетворить ее возбужденный сексуальный аппетит.

Я ей мог только посочувствовать. Он вывалился окончательно, съежился, стал почти неразличимым. Анита, войдя в раж, не отступилась и проявила удивительную настойчивость. Она его измордовала, затискала, зацеловала. И он — а он у меня не железный — вспомнил, какова его функция на этой земле, и, независимо от моей воли и состояния, распрямился, раздулся и затвердел как деревянный.

— Битте, битте, — возликовала Анита и шлепнулась на спину, продавив матрас.

Я — на нее. И зашуровал. Думал, порву ей там все. Словно дубиной орудую. Сухостой. Твердый как камень, и абсолютно не чувствителен. Так можно целый час гонять и не кончить.

Анита была на вершине блаженства. Она стонала, выла, кричала дурным голосом, и мне на миг показалось, что у соседей выключили магнитофон, и все ближние палатки завистливо прислушиваются.

Она кончила раз десять и когда, наконец, и меня пробрало, Анита осталась лежать как бездыханный труп, закатив глаза и слабо, бессильно шевеля пальцами раскинутых рук. А когда очухалась, пришла немножко в себя, уставилась на меня восхищенным взором и сказала:

— Никогда не думала, что немцы такие мужчины. Экстра-класс! Ни с кем несравнимо!

Мне вдруг стало обидно. Я — русский, советский человек, старался, а слава — немцам. Даже захотелось сознаться ей, кто я такой. Вот такая форма патриотизма всколыхнулась во мне, но я промолчал.

А Анита не унималась. Ее распирали восторг.

— Да не с тебя надо деньги брать, а тебе платить. Ты же — чудо природы!

Я, скромно отводя взор, застегивал штаны и чуть было не сказал, что каждый советский человек на моем месте сделал бы то же самое, если бы его башка, как моя, была бы в это время занята мыслями о побеге, прощанием с родиной и детьми.

Назад мы поперлись пешком. Анита висела на моей шее и благодарно зацеловывала меня. Она выглядела счастливой любовницей, обожающей меня и гордящейся мною. Я же еле ноги волочил.

Уже в полусне я добрался до гостиницы, взял у ухмыляющегося администратора ключ, отдал ему, собаке, паспорт жены, и, взлетев в лифте под небеса, не раздеваясь, уснул.

Мне показалось, что я не проспал и пяти минут, как меня подняли, нещадно тормоша. «Нянька» и моя жена. Вся группа уже завтракала внизу, торопясь к автобусу. Наши чемоданы стояли в вестибюле.

Я не мог есть и пялил мутные глаза по сторонам. Наши дамы качали головами, переглядываясь, вот, мол, что алкоголь делает с человеком. А моя жена вступилась за нашу семейную честь и кое-кому пояснила, да еще на высоких тонах, мол, ее муж действительно опьянел, не в меру наглотавшись местного вина, а случилось это потому, что

он непьющий, чист как стеклышко и к алкоголю привычки не имеет, не то, что некоторые.

Скоро комфортабельный автобус уносил нас из этого города. Остались за холмом черепичные крыши, фонтаны на площадях и наша гостиница-небоскреб. Где-то под одной из черепичных крыш сладко-сладко спит прелестная девочка Анита и во сне видит, как она со мной стоит у стойки банка, я подписываю чек, и она считает хрустящие кредитки. В твердой конвертируемой западногерманской валюте. У меня даже не было сил улыбнуться при этой мысли. Я провалился в тягучий сон под мягкое покачивание автобуса.

Жена с беспокойством оглядывала меня.

— Который час на твоих? — спросила она. Как вы помните, свои часы она впопыхах позабыла дома и о времени осведомлялась у меня.

Теперь мои часы «Мир» мирно покоились на ночном столике рядом со спящей Анитой.

Я полуоткрыл глаза и протянул жене руку без часов.

— Где твои часы? — ахнула жена.

Я не нашел ничего лучшего, как ответить ей:

— Не знаю.

— Пьяная свинья, — прошептала жена, чтобы соседи не слышали, и уже громко на весь автобус сказала: — Мой муж забыл свои часы в гостинице!

К нам подбежала гид из местного туристского бюро, стала упрашивать жену не волноваться, сказала, что сейчас же сообщит в гостиницу и часы пришлют нам вслед.

— У нас очень строго, — с гордостью сказала она. — Ничего не пропадет.

— Держи карман шире, — съязвила одна из наших дам. — Плакали ваши часики. Жулики на этом свете не перевелись. Даже при социализме.

Другая дама заспорила, взяла под защиту эту страну и в пылу спора, забыв об осторожности, ляпнула:

— Здесь не Россия, тут воровства нет!

«Нянька» предложил прекратить дискуссию и смотреть

в окна на прекрасные пейзажи дружественной нам страны.

Когда мы приехали по назначению и сидели в вестибюле гостиницы на чемоданах, ожидая ключей от номеров, пришла, запыхавшись, гид и убитым голосом сказала, что в моей комнате перерыли все, но часов не нашли.

— Я и не сомневалась, — возликовала дама, которая еще в автобусе все это предвидела. — Такие же воры, как у нас!

— Вы не огорчайтесь, — совсем растерялась гид, — мы что-нибудь придумаем.

— Не верю, — отмахнулась моя жена. — Слава богу, чемодан у него не украли. Видят — пьян, почему не взять? Ты деньги где хранишь?

— В чемодане, — проблеял я, готовясь к самому худшему.

— Открой чемодан, — велела жена, подбоченясь и сверля глазами бедного гида. — Я хочу при свидетелях увидеть, где наши деньги.

В чемодане, как и следовало ожидать, денег не оказалось. Моей жене сделалось дурно. Гид и дамы из нашей группы отпаивали ее холодной водой, и она слабым голосом совершенно раздавленного человека жаловалась всем, кто был в вестибюле:

— Лимонада себе не позволяла, берегла... детям подарки хотела сделать... Бессовестные люди... Ни стыда, ни чести... А еще строят социализм... по нашему примеру...

Дело принимало скандальный оборот. Я снова стал подумывать о побеге, о политическом убежище, но все обошлось благополучно. Местные власти, трухнув не на шутку за свой престиж, компенсировали нам все потери. И при этом в сильно преувеличенном объеме.

В день отъезда мне в присутствии всех наших туристов, извиняясь и оправдываясь, вручили золотые часы швейцарской фирмы «Лонжин», а жене в счет потерянных денег поднесли большой пакет, в котором были не только шерстяные костюмчики и вязаная шаль для бабушки, но

и платье «джерси» самого большого размера — как в пору моей жене.

Остальные туристы, не скрывая, завидовали нам, и все вместе высоко отзывались о гостеприимстве страны, которую мы покидали.

Я отделался легким испугом.

Вот так я переспал с иностранкой, нажив при этом золотые часы и одев с иголки всю свою семью.

— У меня как-то из головы не идет Шурик Колоссовский, — Астахов затянулся сигаретой и, округлив губы, пустил дым колечками. — Вот вспомнили нашу молодость, и Шурик возник, а не кто-нибудь другой... Он вроде эмблемы, символа той поры. Вспыхнул яркой звездочкой, всех озарил своим светом, так что вот до сих пор забыть не можем, и исчез, как бы растаял в небытии. А был ли Шурик? — возникает вопрос. Не плод ли он нашего воображения?

— Ты что, шутишь? — недоверчиво хмыкнул Лунин.

— Не до шуток, — вздохнул Астахов. — Скорее грустно... Шурик был... Он с тобой, Лунин, два года в одной комнате жил. Это факт. А вот как умер... уж не помню точно... У меня тогда рана открылась, в госпитале провалялся всю весну. Правда, что он повесился?

— Повесился Шурик 9 мая, в день Победы. В нашей комнате. Вечером был салют. Все небо над Москвой в ракетах. Ну, мы и выскочили на улицу поглазеть. Вернулся я в комнату — Шурик висит.

— Вот чего не пойму, того не пойму, — вскочил с дивана Зуев и, запахнувшись в мохнатую простыню, как в тогу, зашагал по ковру. — С нами учились инвалиды войны. Кто без рук, кто без ног, кто с одним глазом. А учились-то как? Через пень-колоду. Лишь бы сдать. А как за жизнь цеплялись? Никто и не вздумал покончить с собой.

— Шурик же — король! Красив, умен, одарен, ну, по всем статьям — баловень судьбы. Ему и сталинскую сти-

пендию дали. Значит, в деньгах не нуждался. Не то, что мы. Начальство на аркане тащило его вверх. Он — и староста курса, он — и секретарь партбюро. Повсюду, где надо товар лицом показать, — совали Колоссовского. А уж о женщинах и говорить не приходится. На его похоронах весь цвет Москвы был, я имею в виду женщин, и рыдали в три ручья, как безутешные вдовы. Чем ему жизнь поперек горла встала? А? Он записки не оставил?

Зуев и Астахов уставились на Лунина, медленными глотками тянувшего вино из бокала.

— Не оставил. Это я точно знаю. Я первым обнаружил труп. Это уж потом милиция понаехала, начальство галопом прискакало. Комнату опечатали. Меня в другую переселили. Скандал! Чрезвычайное происшествие! Уж больно популярен был Колоссовский. Всем его в пример ставили. Равняйтесь, мол. А тут — повесился. Поди, объясни причины, растолкуй народу. Начальство в панике. Похороны запретили. Разговоры и шепотки велено прекратить. Пустили слух, что из-за бабы. Несчастливая любовь тому причиной.

— А на самом деле? — нетерпеливо спросил Зуев.

— Как было на самом деле, — ответил Лунин, — только покойник знал, да унес тайну в могилу. Разговоры о бабах — это все туфта. Причина поглубже.

— Шурик прошел всю войну не офицером, а сержантом. В пехоте. В разведке. В офицеры сам не пожелал, нравилось быть солдатом. Четыре медали «За отвагу». Это, если помните, самая почетная медаль была. Ее за красивые глазки не давали. Только за подвиг. Немца живьем захватить. Танк гранатой подорвать. Редко кто до второй медали дотягивал. Заблаговременно попадал в братскую могилу. А Шурик четыре штуки отхватил и жив остался. Это — уже чудо. Четыре медали «За отвагу» по нашей армейской шкале ценились больше, чем золотая звезда Героя Советского Союза.

Как я теперь понимаю, трагедия Шурика была в том, что он всю войну тянул лямку, мечтая, что кончится война и воцарятся на земле мир и справедливость. А ре-

альность оказалась иной. Вся страна в руинах, голод, карточная система, на всех углах инвалиды тянут руку за милостыней. А, главное, Сталин так гайки завинтил, что ни вздохнуть, ни охнуть.

Шурику это все было поперек горла. Помню, как-то во хмелю он мне сказал, что у французов есть любопытная поговорка: лучше хорошая война, чем плохой мир. Вот я и полагаю, что плохой мир доконал его. К такой жизни Шурик подладиться не мог. Да, видать, и не хотел. Это было политическое самоубийство.

Все трое задумчиво молчали, но вот Зуев что-то вспомнил и улыбка развела его толстые губы.

— Саша, — кивнул он Лунину, — а похороны-то ты помнишь? И как мы с тобою влипли?

Лунин наморщил лоб и, вспомнив, тоже улыбнулся в усы.

— Чур, я расскажу, — попросил Зуев. — Сережа не был на похоронах. Вот пусть послушает. Значит так. Хоронили мы Шурика десятого или одиннадцатого мая. День выдался — настоящая весна. Солнышко в лужах отражается. Небо голубое, ни облачка. Ласточки носятся как оглашенные. Почки на деревьях лопаются от избытка соков. Так славно, так приятно. Мы же все недавно с войны. Уцелели. И в такой день чувствуешь себя пьяным от счастья.

А тут — похороны. Траур. И хоть близкого друга хоронишь, а никак не в состоянии погрузиться в печаль. Захлестывает биологическая радость жизни.

Да, чуть не забыл. Являться на похороны нам было строгойше воспрещено. И студентам, и преподавателям. А рано утром во дворе больницы собралась огромная толпа. Там были все наши студенты и преподаватели, консерватория, где Шурик учился параллельно, тоже явилась чуть ли не в полном составе. И женщин красивых, как на выставке мод. Венков — не сосчитать. Оркестр настраивает инструменты, чтобы грянуть траурный марш, как только вынесут гроб. А гроб-то стоит в морге.

Подъехал автомобиль с открытой платформой, на которую гроб будут ставить.

— Несите покойника.

А кто вынесет Шурика, заранее не договорились. Увидели Лунина. Он, мол, соседом с покойным был по комнате, вот пусть и окажет последнюю услугу товарищу. Лунин перечить не стал. Меня взял для подмоги, и мы вдвоем, на глазах у замершей толпы, направились вниз по каменным ступеням в подвал.

Должен признать, что мы действительно были в подавленном состоянии. Шурика мы увидели посреди подвала на столе, где прозекторы режут и потрошат трупы, но он уже был одет и уложен в гроб, обитый красной тканью.

Он был также красив, как и при жизни. Смерть не обезобразила его. Руки сложены на животе, на лацкане пиджака колодки военных наград занимали два ряда.

Нам с Сашей предстояло вынести гроб на свет божий, к ожидающей толпе. Задача несложная для таких молодцов, какими мы тогда были. И все бы обошлось прекрасно, не оглянись я по сторонам...

Мое внимание привлекла стеклянная банка из-под маринованных грибов. На ней еще виднелся обрывок этикетки. Обычная поллитровая банка, какими уставлены полки продуктовых магазинов. Банка была заполнена доверху серыми кишками, скрученными жгутом, но это еще полбеды, если б не наклеенная этикетка с четкой надписью: Иванов.

Меня вначале в пот бросило. Кишки в банке принадлежали некоему Иванову, чей труп потрошили здесь, до Шурика.

Я толкнул Сашу и он тоже уставился на банку с кишками.

— Это все, что осталось от бедного Иванова, — сказал я, не думая шутить, а горестно констатируя факт.

Саша Лунин заржал как конь.

— Это все, что осталось от бедного Иванова, — повторял он, хохоча до упаду.

И тогда стал смеяться и я. Мы смеялись вдвоем, дер-

жась за животы и сгибаясь чуть ли не до цементного пола. На счастье, никто не удосужился заглянуть в подвал: его быхватила кондрашка. Два идиота хохочут как припадочные, посреди морга, рядом с трупом в гробу.

Это был жуткий смех. И прекратить его у нас не было сил. Мы покатывались, мы скулили, мы выли, мы ржали, мы гоготали. Пять минут. И не могли остановиться.

Оба мы при этом сознавали, что если нас обнаружат хохочущими, последствия даже трудно предугать. Я умолял Сашу заткнуться, он просил меня, но стоило нам взглянуть друг на друга, и новый взрыв хохота сотрясал своды подвала.

О том, чтобы вынести гроб, не могло быть и речи. Цель была одна: как унести отсюда ноги, не произведя переполоха в траурной толпе. Мы пошли на отчаянный шаг. Впереди — Саша, за ним — я, мы бросились бежать из подвала, закрыв лица руками, словно нас сотрясают рыдания. Так мы выскочили наружу, рассекли ошеломленную толпу и, лишь забежав за угол больничного корпуса, остановились... и перестали смеяться. Из-за угла оркестр грянул похоронный марш. Кто-то другой вместо нас вынес гроб с Шуриком Колоссовским.

РАССКАЗ

АСТАХОВА

К чему эта история имеет отношение: к сексу ли или к моей, чего греха таить, весьма нечистой совести, вам судить. Я же изложу только факты.

Было это в Литве, в самом конце сороковых годов, когда в этой крохотной республике, оккупированной — будем вещи называть своими именами — и насильственно присоединенной к Советскому Союзу, шла резня, каких свет не видывал. Наш мудрейший вождь, Иосиф Виссарионович, шибко рассерчал, что литовцы, всего лишь каких-то два миллиона, не склоняются перед рус-

ским гигантом, и велел расправиться с ними, как бог с черепахой.

В Литве стреляли, резали, били. Вешали публично на площадях. А чтобы с корнем вырвать дух сопротивления, очищали Литву от литовцев. По ночам войска МВД оцепляли деревни, и все живое, кроме скота, грузилось в товарные вагоны и прямым сообщением отправлялось в Сибирь. Литву очищали под гребенку: деревню за деревней, уезд за уездом.

Можно было проехать десятки километров и не встретить живой души. Пустые брошенные дома с распахнутыми настежь дверями и окнами, заросшие бурьяном огороды и непаханные поля, да одичавшие кошки, вернувшиеся к своему первобытному способу кормежки: ловле полевых мышей.

Операции по выселению, вернее, охота за живыми людьми, назывались акциями, и в них, кроме солдат и офицеров МВД, принимал участие партийно-советский актив, то есть, каждый, кто умудрился примкнуть к новой власти. В том числе и я, молодой и зеленый, слушатель Высшей партийной школы в Москве, направленный в Литву на практику. Участвовал я в такой акции один раз, опростоволосился и за потерю политической бдительности был отстранен от следующих операций. К моей великой радости. Хотя нахлебался я горя по горло, и только чудом не рухнула вся моя партийная карьера.

Послали меня в Алитус, гнусное место на юге Литвы. Весь уезд — лесные хутора, непроходимые чащи. «Зеленые братья» — литовские партизаны там себя чувствовали, как у бога за пазухой: резали коммунистов, в засадах поджигали автомобили и даже нападали на военные гарнизоны. Ну, поступил приказ: весь уезд, с детьми и бабами, подчистую выселить в Сибирь. Сталин называл такую операцию ликвидацией питательной среды для повстанцев.

Разделили нас на группы: несколько солдат, офицер и штатский, вроде меня. По количеству хуторов. Каждой группе поручен один хутор. Собрать там все живое в кучу,

никому не позволить бежать, доставить на станцию, погрузить в товарный вагон, запломбировать и отчитаться по инстанции.

Сразу хочу оговориться: нету тяжкого греха на моей душе. Я не из тех, кто после смерти Сталина стал отрещиваться от всего, что было, хотя сами принимали в тех нечистых делах самое активное участие. Повезло ли мне или совесть во мне не совсем иссякла, но я и в ту пору кожей чувствовал, что делаем мы гнусные делишки, и хоть и не протестовал в открытую (таких самоубийц я не встречал), но старался изо всех сил быть подальше, не мारать рук. Позиция не из самых благородных, но по тем временам и такое поведение требовало немалых усилий. Ну, не мог я, то ли по природе своей, то ли по воспитанию, что мне дали родители, стать палачом. Поэтому толкался где-то рядом с палачами, что вины с меня не снимает и совесть свою чистой считать не могу.

Как все это выглядело — сейчас обрисую.

Акция проводилась ночью. Войска оцепили все дороги — мышь не пробежит, а оперативные группы на грузовиках ринулись к хуторам. У каждой группы был свой назначенный хутор и точные данные о тех, кто его населяет.

На американском «Студебеккере» помчались мы к своему хутору. В кабине сидят солдат-водитель и лейтенант. Он — наш командир. А я и еще один солдатик с автоматом мотаемся в кузове на жесткой скамье. Мне выдали трофейный пистолет «Парабеллум» с двумя обоймами, и я его держал в кармане пиджака.

Сопrotивление на этом хуторе не предполагалось. Там обитали средних лет крестьянин с женой, дочь-студентка, приехавшая на каникулы из Каунаса, двое несовершеннолетних детей, да еще старуха — мать хозяина. Если не считать самого хозяина, там не было ни одного боеспособного мужчины. Да и сам-то он числился в тихих, никаких за ним грехов антисоветских не водилось. Выселяли-то ведь не за провинность, а потому что попал под общую метелку, был приказ очистить полностью весь уезд.

Подъехали мы с погашенными фарами к хутору. Хо-

тели незаметно, без шума. Но залаяла собака, заметалась на цепи, и наш лейтенантик, молоденький, только из училища, разрядил в нее всю обойму своего пистолета. Нервы сдали. Поднялся шум. Взыла в доме старуха. Заплакали дети. Шофера с автоматом лейтенант оставил у машины часовым с приказом стрелять по каждому, кто попытается бежать, а мы трое ворвались в дом. Первым лейтенант, за ним — автоматчик, а замыкающим я в штатском пиджаке и с «парабеллумом» в вытянутой руке. Смех и грех! Это на старуху-то, голосающую, да плачущих ребятишек.

Вся семья сбилась в кучу на кухне. Полуодетые. Мы их с постелей подняли. Хозяин, и хочет с виду спокойным казаться, но руки дрожат и голос такой, того и гляди, — зарыдает. У меня к горлу стала подкатывать тошнота. Я по природе мягкий человек, курицу нарезать не могу. Да и лейтенант, совсем мальчишка, нервничает, не знает, как себя вести в такой ситуации.

Зачитал срывающимся голосом приказ о выселении и спрашивает, все ли ясно. Они молчат.

— Может, вам переводчик нужен? — растерялся лейтенант. — Не понимаете по-русски?

Дочка хозяина, студентка, белокурая такая литовочка, крепкая, спортивная, шагнула к лейтенанту, сощурила злые глазки и как плюнет ему в лицо.

— Вот тебе наш ответ, палач, — на правильном русском, хотя и с акцентом, сказала она и вернулась назад к отцу с матерью.

Лейтенант взвился, замахал пистолетом, старуха бросилась ему в ноги, стала целовать сапоги. Я почувствовал, что вот-вот меня вырвет, да как заору на лейтенанта:

— Спрячь пистолет, мальчишка!

И велел хозяину в два часа собрать все необходимое, но не больше шестидесяти килограммов груза на человека, и быть готовым к отправке.

Началась суета, суматоха. Хватают, что под руку попадется, заталкивают в машину, плачут, стонут. Вспоминать тошно.

Хозяин ко мне обращается:

— Разрешите, начальник, свинью заколоть, будет в дороге пропитание. До Сибири ехать не одну неделю.

Я глянул на лейтенанта, он пожал плечами, мол, делай, как хочешь, мое дело — сторона. Из молодых да ранних. Свалил на меня ответственность. Я разрешил.

К женскому плачу добавился еще поросячий визг. Снова хозяин ко мне. Беда. В доме нет соли. А не просолить мясо — пропадет.

— Где я тебе соли возьму? — рассердился я.

— У соседа на хуторе есть. Пошлю дочку, она вмиг обернется.

— Без конвоя запрещаю ходить, — вмешался лейтенант.

— Ладно, — сказал я. — Со мной пойдет. У меня пистолет есть.

— Под вашу ответственность, — напутствовал меня лейтенант.

И мы вышли. Эта белокурая бестия в кофточке и черной юбке, тесно обжимавшей ей ноги при ходьбе. Икры сильные, крестьянские, белеют в темноте. Пустой мешок под мышкой, шагает впереди меня по тропинке в кромешной темноте. И молчит. Ни слова. А мне чего разговаривать? Главное, чтоб не убежала. Шагаю сзади и глаз не свожу с ее ног. Юбка-то черная растворяется в темноте, а ноги босые белеют вроде ориентира. Гляжу на эти мелькающие икры и нехорошие мысли одолевают: мол, повалить бы ее, эту бестию, в росную травку, задрать ее черную юбку, заголить белые ляжки до пупа и задуть ей, чтоб лес закачался. Я эту блажь, конечно, из головы гоню. Пристойно ли коммунисту такое даже в мыслях иметь? А выселять мирных людей, лишать их крова, всего и гнать в холодную Сибирь — достойное коммуниста занятие? Невесело, скажу я вам.

Дошли мы до хутора без приключений. Там тоже — пир горой. Идет выселение. Часовой пропустил нас. Сосед насыпал ей полмешка соли, и мы пошли назад. Она несет мешок на руках. Я — сзади. 168

Вошли в ельник, где совсем темно, вдруг оборачивается ко мне:

— Помоги, — говорит, — мне на плечи мешок взвалить.

Я взял мешок, приподнял и хочу ей на плечи положить. Мешок упал на тропинку. Исчезла девица из-под носа, словно растаяла в кромешной тьме.

— Эй, — кричу, — где ты? Возьми мешок!

Ни слова в ответ. Только хруст хвои под ногами где-то в стороне. Я выхватил свой «парабеллум», нажал. Осечка. Выстрела не получилось. Я снова закричал. Страх меня охватил. Упустил! За такое по головке не поглядят. Можно даже партийный билет на стол. И еще хуже — в тюрьму самому загреметь.

У лейтенанта чуть истерика не сделалась, когда я вернулся один, волоча на спине дурацкий мешок с солью. Он тут же, солдаты — свидетели, составил рапорт, обвинив меня в сотрудничестве с врагом. Всю эту семейку, но уже без дочки, мы доставили на станцию, погрузили в эшелон. Хозяин хутора в последний момент эдак тепло глянул мне в глаза и шепчет тихо, чтобы лейтенант не расслышал:

— Спасибо, добрый человек, за дочку. Значит, есть и среди вас люди.

Ну и чудило! Он-то, дурень, как и наш идиот-лейтенант, тоже решил, что я по доброте душевной девицу отпустил на волю. Так, сам того не желая и не ведая, я в святые попал. Ну, что ходить каждому объяснять, что, мол, надула меня, стерва, белокурая бестия, из-под носа убежала, и разгляди я ее в темноте, и не дай пистолет осечки, ухлопал бы, уложил на месте как собаку.

Я это потом долго по всем инстанциям объяснял, доказывал и проклинал эту суку, как самого лютого врага своего. Времена-то какие были! Судьба моя на волоске висела. Уцелел чудом. Сам не знаю как. Отделался строгачом с занесением в личное дело, и дояго таскал это клеймо, и бабу-литовку в уме матом обкладывал.

Время — лучший лекарь. Сняли с меня выговор. Пошел

на повышение. Из памяти эта история выветрилась. Другие события, похлеще этого, ее затмили. И уж никак не думал, что жизнь снова сведет меня с этой чертовой бабой.

Прошло с тех пор не меньше двух десятков лет. Я на Волге работал. Во вторые секретари обкома вышел. Жена, дети. Два личных секретаря, часовой у входа. Положение. Репутация строгого человека. И все, что полагается партийному боссу в глухой провинции.

Однажды входит в мой кабинет секретарь и докладывает с нехорошей ухмылочкой:

— Все утро добивается вас по телефону одна дама. Из Литвы, говорит, приехала. С вами была лично знакома... в молодости.

Я, хоть и столько лет прошло, сразу догадался, что это — она, белокурая бестия. Значит, уцелела, стерва. Не подстрелили ее тогда в облавах, не поймали. И видать, покраснел, потому что мой секретарь, ушлый парень, глаза деликатно отвел в сторону.

Мне бы, конечно, для своей безопасности следовало сказать, что не помню я никого из Литвы и распорядиться не соединять ее со мной. Зачем давать материал для доноса? А вместо этого я велел секретарю соединить меня по телефону с этой... из Литвы, и как услышал ее голос, окончательно узнал и разволновался как мальчишка. Оказывается, она у нас здесь в командировке, остановилась в гостинице и, гуляя вечером, опознала меня на портрете, вывешенном на Центральной площади, где стенд с рожами депутатов Верховного Совета, и стала звонить в обком. Очень она хочет меня повидать. Своего спасителя.

Вот те раз! И она туда же! Как сговорились. Все делают из меня святого. Хоть я такой же подонок, ничем не лучше других был. А все же лестно. Даже мысль шевельнулась: может память мне изменяет, не могут же все ошибаться?

Короче говоря, условились мы повидаться. Где? Тут меня в городе каждая собака знает. Зачем давать пищу для пересудов. Позвонил жене, что поздно вернусь. Отпу-

стил машину с шофером, захватил из сейфа бутылочку коньяка да конфет шоколадных, и пешком к ней в гостиницу пошел.

Увидал я ее и пожалел, что рискнул на такую авантюру. От той белокурой бестии и следа не осталось. Бабе добрых сорок пять. Вместо белых, как лен, волос, серая пакля, взбитая у парикмахера. Какая-то крупная, угловатая, костлявая. Скосил глаз на ноги — ведь я когда-то облизывался, идя сзади, на ее упругие спортивные икры — жилистые ноги с проступающими гроздьями вен.

Делать нечего. Пришел — бежать поздно. Распили мы бутылочку. Она мне про себя рассказывает. Как укрывалась у дальних родственников, как до самой смерти Сталина большей частью в погребке отсиживалась, чуть до чашотки не дошла без солнечного света. А потом, славу богу, все выправилось. Университет кончила, вышла в люди. Имеет дом. Мужа и детей. А родных — никого. Не вернулись из Сибири. Все умерли там. От холода да от недоедания. И отец, и мать. И оба братика.

Мы оба, опьяневшие от коньяка, взгрустнули по этому поводу. Я даже сказал в утешение что-то банальное, вроде: все это — культ личности, но те времена, мол, прошли безвозвратно и больше не будет подобных нарушений социалистической законности. Партия, мол, стоит на страже интересов трудящихся. Подобную чушь.

А она, дуреха захмелевшая, засверкала подведенными глазками.

— Верно, — говорит. — Даже в те страшные годы были настоящие коммунисты, которые берегли честь партии. Вы, например. Вы не только меня спасли от гибели. Благодаря вам я поверила, что есть подлинные коммунисты, и я сама сейчас — член партии.

Господи, что за наваждение! Мне ей в глаза стало стыдно смотреть. А она, подвыпив, только и норовит мне в душу заглянуть.

— Помните, — говорит с такой пьяной ухмылочкой, — как вы меня вели на соседний хутор за солью. Я эту ночь как сейчас вижу. Темно было, верно?

— Верно, — соглашаюсь.

— Я иду и ваш взгляд чувствую на себе. Жжет меня ваш взгляд. На ногах своих чую. Понравились вам мои ноги. Верно?

— Верно, — киваю. — Был такой грех.

— И хотели вы тогда мной обладать как женщиной. Чего сейчас скрывать? Было дело?

— Было, — поддакиваю.

— Ну, так хоть с опозданием, — говорит, — но вы свое можете получить. Я — ваша!

Я чуть под стол не полез. А куда денешься? Пьяная баба. Захлестнуло ее чувство благодарности, а того, что она уже не товар, понятия не имеет. Решила одарить меня, своего спасителя, кучей костей и сухожилий. У меня жена на десять лет моложе ее. Глотнул я остаток коньяка. Залез в скрипучую кровать и, чтоб не обидеть женщину, принял благодарность, чуть не воя от тоски.

А потом воровски выбирался из гостиницы, чтоб не опознали служители. Во рту у меня было кисло и, пошарив в карманах пальто, я нашел там конфету и стал жевать, чтоб хоть чем-нибудь перебить этот неприятный привкус.

Астахов отпил глоток шампанского и поставил хрустальный бокал на туалетный столик.

— Мне Шурик Колоссовский много раз на ум приходил, когда я волею судеб и своего служебного положения, вовлекался в литературные дискуссии, которые у нас любят вести, стараясь не замечать, что толчем воду в ступе и повторяем чужие и банальные мысли. Вы помните, каким чудесным рассказчиком был Колоссовский. Как студенты толпились вокруг него, стоило ему только раскрыть рот. И возможно помните на нашем курсе одно время толкался грубый, неотесанный малый, то ли из Литвы, то ли из Латвии. Не помню. Одним словом, откуда-то из Прибалтики. Его фамилию я теперь часто встречаю в газетах. Он там у них высоко сидит. Занимается искусством. Ру-

ководит. Фамилия его Клюкас. Студентом был серым, тупым. Все больше молчал. Его к нам прислали учиться из армейской контрразведки. А там — публика известная.

Я был свидетелем их столкновения. Колоссовского и Клюкаса. Колоссовский жалел его и часто таскал с собой, чтоб у парня поуменьшить комплекс неполноценности. И Клюкас чаще других видел успех Шурика, как его слушают, разинув рты, и проникался к нему тупой ненавистью и завистью.

Однажды мы втроем: Шурик, Клюкас и я вместе шли на занятия и, когда пришли, Шурика тут же окружили студенты, и он по обычаю стал излагать им красочно и живописно об уличном происшествии, случившемся только что. Слушали его зачарованно. И даже я раскрыл рот от удивления, хоть шел вместе с Шуриком и видел то же самое.

А Клюкас вдруг налился кровью и как заорет:

— Врешь! Вот теперь-то я знаю цену твоим словам! Ничего этого не было, что ты рассказываешь! Я с тобой вместе шел. Меня не проведешь!

Все умолкли пристыженно. А Шурик не смутился. С улыбкой повернулся к Клюкасу и так по-отечески, жалеючи, пожурил:

— Верно, Клюкас, ты шел со мной рядом. Но ты — слеп, ты видишь голые факты, не чувствуешь цвета и запаха. Давай снова пройдем по фактам, которые я упомянул в своем рассказе, а ты попробуй их опровергнуть.

Шурик, все также улыбаясь, перечислил факты один за другим, и Клюкас каждый раз неохотно кивал.

— Вот видишь, — обнял его Шурик. — Лжи нет. Вот так бы рассказал о случившемся ты, и у всех свело бы челюсти от тоски. А я попытался увидеть то же самое глазами художника. Этим, дорогой мой, отличается искусство от газетной статьи. Худо, когда слепые кроты занимаются искусством, а Шекспиру одевают шоры на глаза. Мой тебе, Клюкас, совет: не будь злодеем, не касайся своими руками искусства, а то много наделаешь бед.

— Уговорил, — рассмеялся Зуев. — Как раз в искусство он и полез.

— Отвлекаемся, отвлекаемся, — захолопал в ладоши Лунин. — Мы о чем условились болтать? О бабах. Так вот — ни шагу в сторону! Только об этом самом!

— Твой черед, — сказал Астахов.

РАССКАЗ ЛУНИНА

В Москве, в самой ее сердцевине, у Каменного моста через Москву-реку, буквально в нескольких шагах от Кремлевской стены приютилась мало приметная, старой постройки, гостиница, носящая странное татарское название — «Балчуг». Рядом с ультрасовременными отелями из стекла и бетона — «Россия» и «Националь» этот приземистый, всего в несколько этажей, кирпичный, с узкими подслеповатыми окнами, «Балчуг» выглядит эдаким ветхим памятником старорусскому купеческому вкусу.

Во времена царей здесь действительно любили останавливаться и погулять заезжие купцы, пили чай из бездонных самоваров, глушили водку напропалую, заедая кулебякой и солеными грибами.

В наше время старенький «Балчуг», пожалуй, — единственный из всех, расположенных в центре Москвы отелей, где может остановиться советский гражданин, — все остальное отдано иностранцам. А если там не хватает мест, то и «Балчугом» не брезгают, суют туда зарубежных туристов, которые поплотше, из стран народной демократии. В такие дни нашего брата, русского постояльца, не церемонясь, выставляют на улицу.

В тот раз я снял номер в гостинице «Балчуг», хотя имел в Москве собственную и довольно просторную квартиру. Вернее, уже не имел. Моя благоверная супруга отняла ее у меня. Через суд. Заодно забрав и сына, и четверть моего жалования, пока сыну не исполнится восемнадцать лет.

Да, я приехал в Москву на бракоразводный процесс — занятие малопривлекательное, в особенности для партийного работника в самом начале его карьеры. Разбитая, развалившаяся семья, безразлично по чьей вине, оставляла в моем личном деле дурно пахнущее пятно, и в любой момент могла подставить мне подножку в беге по служебной лестнице.

Моя жена, подстрекаемая тещей, в свое время категорически отказалась покинуть Москву, когда меня с повышением перевели в провинцию, и, оставшись одна с сыном, наставляла мне рога в изрядном количестве, а когда я, прослышав об этом, попросил слегка умерить пыл, подала на развод.

Нас развели без проволочек. Потому что я, как теленок, не оспаривал ничего. Я остался с пустыми руками как до женитьбы, и должен был все начинать сначала. Жене присудили все, что я накопил и приобрел за все годы, и с таким приданым как трехкомнатная квартира в Москве в доме первого разряда, она становилась весьма заманчивой невестой.

Когда все, слава богу, кончилось, и моя бывшая жена отказалась от моей фамилии и вернула себе прежнюю, девичью, я, еле живой от усталости, добрался до гостиницы «Балчуг» в свой крохотный номер с толстыми крепостными стенами и узким, как бойница, окном. Провалившись в скрипучей кровати час-другой и чувствуя, что никак не усну, я оделся и направился в буфет, благо, вспомнил, что с утра во рту ни крошки не держал.

Грудастая, в неопрятном халате, буфетчица, тут же у стойки поджарила мне яичницу на электроплитке, и я понес тарелку к свободному столику. В тесной комнате буфета был еще один свободный стол. Третий, уставленный множеством бутылок, занимала шумная компания: усатый грузин, тянувший на ломаном русском языке бесконечный тост, и два бессмысленно внимавших ему иностранца, по пьяным глазам которых можно было безошибочно определить, что они не понимают ни слова. Это осознал также и порядком хмельной грузин. Он оборвал

свой пышный многословный тост, когда я проходил с яичницей мимо него, и с обворожительной детской улыбкой на все тридцать два отличных зуба, спросил меня, как может только спросить такое дитя природы, как сын гор:

— Слушай, друг, по-немецки понимаешь?

В закоулках моей черепной коробки сохранился с войны десяток-другой немецких слов, и добродушная, излучающая радость жизни, раскрасневшаяся рожа этого грузина так располагала к себе, что я не совсем уверенно, но все же кивнул.

— Тебя сам бог послал! — возликовал грузин, потрясая над головой бокалом, полным вина. — Зачем тебе яичница? Выбрось ее! Разве у нас мало закусок? Присоединяйся, дорогой, к нам и, пожалуйста, переведи гостям мой тост.

У меня было настолько пусто и скверно на душе, что я, не колеблясь, принял приглашение этого душки-грузина, рассчитывая хоть как-то отвлечься от своих бед, рассеяться немного. Яичницу я действительно оставил на пустом столике, и, лишь прихватив оттуда стул, подсел к компании. Грузин, высокий, румяный, с черными красивыми глазами, излучал радушие и гостеприимство. Склонившись ко мне фамильярно, запанибрата, обняв за шею, он зашептал мне в ухо, дыша горячо, как вулкан:

— У меня, понимаешь, большой праздник. Я, понимаешь, защитил диссертацию. С сегодняшнего дня директор крупнейшего на Кавказе заповедника Сандро Мелиава — это я и есть Сандро Мелиава, прошу ни с кем не путать, — не просто директор лучшего в мире заповедника, а кандидат биологических наук. Прошу любить и жаловать! И вот понимаешь, дорогой? Когда у меня такое потрясающее событие в жизни, как назло, понимаешь, ни одного близкого человека кругом, с кем можно отметить такое выдающееся, понимаешь, событие. Никого во всей Москве не оказалось! Я, как одинокая собака, в такой выдающийся день возвращаюсь в эту, извините за выражение, гостиницу «Балчуг» и вижу в буфете два живых человека едят, как ты, яичницу. Оказалось, что это немцы, наши

немецкие друзья из Германской, понимаешь, Демократической республики, и они такие же одинокие в Москве, как и я. И тогда я принял мудрое решение. Не говоря им ни слова, по-немецки — ни в зуб ногой, я взял их яичницы и выбросил в урну для мусора. Немцы очень удивились: как это понимать? А я им говорю: спокойно, дорогие, сейчас все поймете. Заказал банку черной икры — два килограмма. Видишь, кушают столовыми ложками без хлеба... На здоровье, дорогие, кушайте, нам не жалко.

Действительно, немцы не ели, а жрали дорогую черную икру. Впрок. Про запас. Как дети, перемазав икрой лица до ушей, бессмысленно и блаженно улыбаясь. Такой пир им дома был бы явно не по карману. И они пользовались случаем бесплатно нажраться до отвала самого дорогого в Европе деликатеса. И выпито ими было уже изрядно. Я насчитал на столе тринадцать бутылок прекрасного грузинского сухого вина «Твиши». Половина бутылок была опорожнена.

— Теперь я буду говорить тост! — провозгласил грузин, подняв недогнувшей рукой бокал и закатив свои красивые глаза к потолку. — А ты, дорогой, переводи!

— Кто такой был до сегодняшнего дня Сандро Мелиава? Простой обыкновенный директор заповедника. Уважаемый... даже любимый, но... просто директор. Без научного звания. И в любой момент вышестоящие товарищи могли сказать: дорогой Сандро, мы тебя любим и уважаем, но ты не соответствуешь занимаемому положению. Как ни печально, но тебе придется потесниться, уступить директорское кресло более образованному товарищу. И они были бы правы на все сто процентов! А сейчас?

Грузин с игривой усмешкой посмотрел на обоих немцев, как бы приглашая их высказать свои соображения на этот счет, и оба немца, немолодые, с сединой, через которую просвечивала розовая кожа, глупо застыли с открытыми ртами, из вежливости перестав жевать икру.

Грузин, сверкая очами, сделав рукой с полным до краев бокалом какое-то немислимое движение в воздухе, вроде

мертвой петли, и не пролив ни капли, закруглил тост самым неожиданным финалом:

— Так выпьем за нашу родную советскую власть, которая умеет разбираться в людях и каждому дает научное звание по способностям! Сейчас Сандро Мелиава не стыдно послать и за границу. Во главе делегации. Кандидат наук!

Он пил как лошадь, не пьянея. Немцы уже еле дышали. Они уже не могли больше глотать вино и булькали им, словно полоскали горло. На черную икру они тоже смотреть не могли. Один лишь вид ее вызывал у них опасные спазмы. Тост за тостом. И каждый тост на десять минут, не короче. Ликующим от распирающего счастья голосом он не говорил, а ворковал, токовал как тетерев, с удовольствием слушая самого себя. Нес какую-то околесицу и, учитывая наличие иностранцев, набор обязательных газетных штампов. За мир во всем мире! За дружбу народов! Остановим коварную руку поджигателей войны! И еще в том же духе.

На пятой фразе, увлекшись, он забывал русский язык и переходил на родной грузинский, звучащий набором диковинных гортанных звуков и для меня, и для немцев, и для буфетчицы, и, насытившись вволю грузинскими словесными упражнениями, внезапно обрывал тост и, вперив в меня дружелюбные глаза, ласково требовал:

— Переводи!

Даже если б я и умел переводить, немцы бы все равно ничего не поняли: они совершенно отключились и пребывали во взвешенном состоянии.

Грузин, однако, не терял разума. В разгар одного из тостов он, увлекшись, предложил:

— Выпьем за здоровье дорогого товарища Сталина!

А дело было после смерти Сталина, когда он был развенчан Хрущевым и труп его с позором выброшен из мавзолея. Его именем бабушки уже начали пугать внуков. И лишь в Грузии тайно чтили память своего великого и страшного земляка.

Сболтнув такой неосторожный политический тост,

Сандро Мелиава тотчас же спохватился, оборвал тост и воззрился на меня трезво и испытующе:

— Это не переводы! Мы с тобой — свои люди, нам понятно. Им — необязательно!

Я покинул буфет последним. Уборщица мыла пол и бесцеремонно поставила стулья кверху ножками на стол перед моим носом. Не было грузина, куда-то исчезли немцы. Должно быть, сильно захмелев, я на какое-то время впал в беспамятство и не заметил, как остался один.

Пошатываясь и отталкиваясь ладонями от стен коридора, я побрел искать свою комнату. Увидев распахнутые настежь двери, я остановился и, хоть это был не мой номер, все же заглянул, привлеченный странными булькающими звуками, доносившимися из ванной. Там я увидел своих собутыльников-немцев. Они плавали в одежде в ванной, карабкаясь друг на дружку и блюя на брудершафт. Они пучили на меня рачьи воспаленные глаза и истекали черной, как деготь, жидкостью: черная икра в сочетании с вином «Твиши» гейзером была наружу.

Я пожелал им по-немецки спокойной ночи и приятных сновидений, и снова устремился, качаясь от стены к стене, на поиски своей комнаты. Спал я, как убитый, всю ночь и проспал бы еще весь день, если бы не телефонный звонок.

Звонила моя жена, ставшая со вчерашнего дня официально бывшей женой. В мое сознание, еще не прояснившееся от хмельной мути, с трудом проникали слова, произносимые в трубку до омерзения знакомым голосом:

— Что с тобой, Луин? Уже не узнаешь меня?

Моя жена имела обыкновение называть меня не по имени, а по фамилии. Она усвоила эту манеру из какого-то кинофильма. Это ей казалось очень рафинированной формой общения между супругами.

Я ответил, что не рассчитывал больше слышать ее голос, так как баланс наших отношений подведен окончательно.

— Не совсем, — интригующе протянула она. — За тобой должок. Некоторым образом непредвиденный.

Я насторожился, понимая, что такие слова ничего хоро-

шего не предвещают, и эти мародеры, моя бывшая жена и ее мамаша, хотят содрать еще что-нибудь с уже раздетого и разутого трупа.

— Смотри, не грохнись в обморок, Лунин. Я — беременна.

— Поздравляю, — хмыкнул я. — Папашка известен?

— Не смейся, придется плакать. Если я не прерву беременность и рожу ребенка, платить за него будешь ты. Потому что еще вчера ты числился моим законным мужем, а беременна я на втором месяце.

— Я не касался тебя больше года, сука! Как же ты смеешь?

— Не горячись. Побереги нервы для объяснения в официальном месте, куда тебя пригласят вскоре. И ты заплатишься своим партийным билетом и при этом еще восемнадцать лет будешь платить, как миленький. Никому ты не докажешь, что не спал со своей законной супругой. А если докажешь, то тебя выгонят из партии за издевательство над несчастной женщиной.

Я задохнулся от гнева.

— Лунин, ты не умер? Так вот послушай. Я не такое уж чудовище, как тебе кажется, и могу пойти тебе навстречу. Вечером я ложусь на аборт. К известному специалисту. Для этого нужны деньги. Тысяча рублей. И ни копейкой меньше.

— Где я возьму столько денег? — вскричал я. — У меня в кармане лишь на обратный билет.

— Достань из-под земли. Меня это не касается. К вечеру эта сумма должна быть доставлена ко мне. Надеюсь, адрес ты еще не забыл. В противном случае — пеняй на себя. Я и так уж затянула, еще один день и операция станет смертельной для меня. Выбирай! Или сегодня тысячу рублей на бочку, или ты будешь платить значительно больше целых восемнадцать лет!

И она положила трубку.

Я был в западне. Спасения не было никакого, кроме как откупиться этой тысячью в надежде утолить, наконец, аппетит этих двух хищниц. Но где взять тысячу в городе,

где я уже не живу больше года, и получаю жалованье за тысячу километров отсюда? Схватить такси и помчаться по полузабытым адресам, испрашивая у бывших своих приятелей в долг хоть сколько-нибудь, чтобы к вечеру, объехав всех, собрать сумму?

В совершенно зачумленном виде я метался по холлу гостиницы, перебирая в уме различные варианты, когда вдруг увидел вчерашнего грузина. Он узнал меня и удивился:

— Послушай, дорогой, тебе нельзя много пить. На тебе нет лица! И в этом я виноват.

Я объяснил ему, почему на мне нет лица, и кратко изложил содержание телефонного разговора.

— Так сколько тебе надо? — спросил грузин. — Всегонавсего тысячу рублей? Я тебе дам.

— То есть как? — ахнул я. — Как я могу у вас взять? Вы даже не знаете ни моего имени, ни кто я и откуда. Как вы можете быть уверены, что я верну вам долг? Завтра мы разъедемся и — поминай, как звали.

— Не горячись, дорогой, — положил мне ладонь на плечо грузин, искрясь своей белозубой улыбкой из-под черных усов. — Ты чуть не наговорил лишнее на себя. Я тебе доверяю. Ты такой красивый, не станешь пачкать репутацию из-за какой-то тысячи рублей. На, бери и пересчитай. Я могу и ошибиться.

Он вынул из внутреннего кармана пиджака и протянул мне тугую пачку. По его настоянию я пересчитал — там была ровно тысяча. Грузины всегда славились своей щедростью, немелочностью, широтой натуры. Ведь не зря гуляет по России анекдот, удивительно точно рисующий грузинский национальный характер.

В гардеробе театра после спектакля зрители получают свои пальто, отдавая швейцару за услуги по полтиннику.

Впереди грузина стоял в очереди еврей. Получив свое пальто, тот протянул десятку и громко, чтоб слышали все, продемонстрировал свою щедрость:

— Сдачи не надо!

Грузин немедленно принял вызов и показал, насколько

он щедрее. Поравнявшись со швейцаром, грузин сверкнул очами и небрежным жестом отмахнулся:

— Пальто не надо!

Поступок Сандро Мелиавы, его доверие ко мне, растрогали меня до слез:

— Я вам страшно признателен... никогда не забуду... незнакомый человек отдал первому встречному в долг такую сумму...

— Ай-яй-яй, — пожурил меня грузин. — Почему незнакомый человек? Почему первому встречному? Ты — советский человек. И я — советский человек. Мы — не первые встречные... Мы вместе строим светлое будущее...

Он говорил это своим журчащим самодовольным голосом, и черные глаза его лукаво поблескивали.

— Ты — коммунист? — продолжал грузин, играя голосом. — И я — коммунист. А кто такие коммунисты? Ум, честь и совесть эпохи. Так, значит, мы не чужие. Ты — ум, я — честь, а... — он искал глазами, кого бы назвать совестью, и я подсказал ему:

— Моя бывшая жена — совесть эпохи. Она тоже — коммунист.

— Ты выиграл, — рассмеялся грузин. — Если твоя жена — совесть эпохи, то хорошая у нас эпоха. А кстати, насчет твоей жены. Я выражаю желание посмотреть на нее. Поедем вместе деньги передавать, а? И расписку с нее не забудь получить. Мало ли что? Социализм — это учет. Так нас учит партия.

Я созвонился с ней и условился о месте встречи. Сандро вызвал такси и мы поехали. Она ждала меня на площади Восстания у входа в «Гастроном». И здесь не обошлось без оравленного жала. Она специально, чтобы подразнить меня, вырядилась в шубку, перешитую в мое отсутствие из моей оленьей дохи, которую мне подарили на Севере. На голове красовалась моя пушистая шапка из ондатры. Мне не вернули ничего из моих личных вещей, и сейчас она демонстрировала, какое нашла им применение.

Я представил ей Сандро сослуживцем, а он добавил многозначительно:

— Полковник Мелиава, начальник Областного комитета государственной безопасности.

Это произвело впечатление. С ее лица стерлась вызывающая усмешка, и она без пререканий дала мне расписку в получении одной тысячи рублей на аборт. Деньги она поспешно сунула в сумочку.

— Держите сумочку крепче, — посоветовал Сандро. — В Москве много жуликов. А доктору своему передайте привет. Он должно быть большой специалист. Тысяча рублей за аборт! Он, должно быть, не меньше, чем лауреат Ленинской премии и Герой Социалистического Труда.

Она испугалась Сандро и ей не терпелось скорее уйти. Но он бесцеремонно придержал ее за рукав шубки.

— Запомните, уважаемая... чтобы больше ничего не требовать с этого человека... Это называется вымогательством и нам придется вмешаться. Ясно? А теперь — идите.

Возвращаясь в гостиницу, Сандро комментировал:

— Она, конечно, аферистка. В Москве очень мало честных женщин. И во всем мире их скоро не останется. Я слушаю радио... Голос Америки... Би-Би-Си... у нас в горах хорошо слышно... без глушения. Мне не интересно слушать их клевету про нашу страну... Про наши безобразия я знаю больше, чем они... Но я внимательно слушаю, что они рассказывают про себя. Это мне интересно и даже поучительно. Возьмем к примеру женский вопрос... Они там на Западе совсем сошли с ума... Сексуальную революцию придумали. Женщины как с цепи сорвались... И общество поощряет этот разврат. Она, пока замуж выйдет, переспит со всеми мужчинами, кто подвернется, и это у них считается борьбой за равенство. Большая беда их ждет на Западе. У них скоро не будет семьи. А если развалится семья, за ней полетит к черту и государство, начнется анархия и... бардак.

Очень жаль, что Москва старается от них не отстать. Ты меня прости, но я тебе откровенно скажу: никогда бы я не женился на русской женщине. Она не может быть настоящей женой. У нее в крови — разврат. Если я хочу поща-

лить — пожалуйста, не откажусь от русской. Но строить семью надо у нас, на Кавказе. Это, возможно, последнее место на земле, где женщины не позорят свое звание и твердо знают, для чего родились.

Благодарный за выручку, я провел весь день с Сандро, сопровождал его повсюду, как оруженосец, и к вечеру, раскисшие от обильной ресторанной еды и возлияний, мы сидели в его номере. Он снимал в «Балчуге» лучший и самый дорогой номер со старомодной кожаной мебелью и деревянной купеческой кроватью под бархатным балдахином.

— Хочешь, — спросил меня Сандро, — немножко развлечься? Давай пошалим на прощанье. Завтра мы разъедемся.

Он достал записную книжку, полистал ее.

— Кого предпочитаешь? Балерину? Драматическую артистку? Доктора наук? У меня большой ассортимент, — он потряс в воздухе записной книжкой. — Нет в Москве красивой женщины, которая откажется лечь со мной. Потому что у меня деньги! И я не скупой!

Мне не нравилось его бахвальство. Я даже почувствовал себя оскорбленным за русских женщин.

— Ну, дорогой, так кого ты предпочитаешь? — настаивал грузин, и, чтоб отвязаться от него, я буркнул первое, что пришло на ум:

— Балерину.

— Замечательно! — просиял Сандро. — Этого товара у нас полно. Вот смотри... эта... нет... поищем получше... вот, вот... самый раз. Заслуженная артистка... Сейчас позвоним домой... Если не занята в спектакле... ты ее будешь иметь.

Он набрал номер телефона, и я слушал, затаив дыхание, как фамильярно разговаривал он с кем-то, приглашая сейчас же приехать к нам.

Разговаривая по телефону, он умудрялся и мне бросить несколько слов, прижав ладонью микрофон, сладострастно и лукаво вращая большими черными глазами:

— Понимаешь, она уже легла... с мужем... — и снова в трубку:

— Дорогая, мы ждем. Придумай сама, что сказать мужу.

Пока не раздался легкий стук в дверь, я все еще не верил и думал, что Сандро нарочно поддразнивает меня и куражится.

В номер вошла в короткой шубке с распущенными светлыми волосами, на которых, искрясь, таяли снежинки, известная балерина, которую незадолго до этого я видел на сцене Большого театра, и билеты в день ее выступления было невозможно достать. Она, эта балерина, была гордостью советского искусства и часто гастролировала за рубежом. Я знал также ее мужа не лично, а по газетам, не менее знаменитого, чем она, оперного певца.

У меня захватило дух. Ну, добро бы, молоденькая, только начинающая карьеру, танцовщица, которой бы оченьгодились лишние деньги, хотя бы для того, чтобы прилично одеваться. Им же платят гроши. Ей еще простительно. Но эта! Обласканная славой и роскошью.

Балерина распахнула шубку и, как в дурном романе, как в пошлом порнографическом фильме, предстала перед нами абсолютно голой... даже без нижней рубашки и трусиков.

Сандро торжествующе взирал на меня, и я понимал, что вот так появиться без ничего, в одной шубке, было в его вкусе, и балерина охотно ему угождала.

Я был шокирован. Такое не по мне. И не смог переспать с ней. Хоть она сама меня раздела и, науськиваемая Сандро, тщетно пыталась меня возбудить.

— Эх, подвел ты меня, — сокрушенно вздохнул Сандро. — Специально для тебя такую женщину вызвал. Красавица! На нее во всем мире мужчины облизываются. Таких ты не каждый день будешь иметь.

— Ладно, деточка, — он приподнял за худенькие плечи балерину и повернул ее к себе. — Оставь его. Он поражен твоей красотой и временно стал импотентом. Давай мы ему покажем, как это делается.

И у меня на глазах, на деревянной купеческой кровати под балдахином он овладел ею, и длинные прекрасные ноги, которыми восхищается весь мир, бесстыдно болтались в воздухе и жалко дергались над волосатым задом грузина.

Потом вызвав по телефону такси, он накинул ей на худенькие плечи шубку, она дружески улыбаясь, помахала мне ручкой на прощанье, повисла у него на шее, целуя в губы и лоб, и ушла.

— Ты бледный, — сказал мне сочувственно Сандро. — Нехорошо получается. Я имел женщину, а ты — нет. Выходит, что я не проявил гостеприимства, и ты можешь обо мне подумать, черт знает что. Мы вызовем других. Специально для тебя. Я знаю. Тебе понравится. Молоденькие девочки, которые учатся на киноактрис. Будущие кинозвезды. Ты когда-нибудь скажешь, что ты ее имел, и никто тебе не поверит. Сейчас вызову их.

Я попросил Сандро не звонить, сославшись на усталость, и он согласился со мной:

— Да, да. Ты много пережил в эти дни. Тебе не до женщин. Но вот теперь ты понимаешь, что во всей Москве не найдется такой, чтоб устояла, когда пахнет большими деньгами. Эта балерина не бедно живет. От меня она за полчаса получила сумму, которую советский врач или инженер зарабатывает за целый год. Понимаешь разницу. Сталин глубоко ошибался, когда говорил, что при социализме кадры решают все. Неверно. Деньги решают все! Как при капитализме! Только у нас на Кавказе этот закон не выдерживает критики. Дай женщине миллион — никогда не посмеет изменить мужу. Ее зарежут. Мы веками воспитывали женщин быть верными женами и можем гордиться результатами.

Когда я уже направился к двери, чтобы добратся, наконец, до своего номера — утром рано я улетал — Сандро вдруг осенила идея:

— Послушай, дорогой. Я с тобой разговариваю как с братом. Возьми отпуск и приезжай ко мне в гости. Отдохнешь в горах, забудешь свои беды. А главное... больше не

повторишь такой ошибки. Я тебе подберу жену у нас, на Кавказе. У меня даже есть кое-кто на примете. Ты всю жизнь будешь благодарить.

Покинув Москву, я, в первую очередь, бросился на поиски денег, чтобы как можно быстрее рассчитаться с моим грузинским благодетелем и постараться забыть все, что он говорил мне, уча уму-разуму.

Деньги я наскреб и отправил на Кавказ телеграфом, присовокупив как можно больше благодарных слов. Ответ пришел незамедлительно: «Деньги получил тчк не стоит благодарности тчк у нас весна тчк невеста ждет тчк Сандро».

Я смеялся, читая телеграмму. Особенно насмешила меня фраза «невеста ждет». Неужели такой циник, как Сандро, всерьез верит, что меня устроит дикая невеста с гор по его выбору? Мои сослуживцы, которым я показал телеграмму, конечно, утаив мои похождения в Москве, тоже смеялись как веселому анекдоту.

У нас было холодно и слякотно. Я простудился и неделю провалялся с жесточайшим гриппом. Эта болезнь да плюс еще московские переживания, изнурили меня окончательно. Начальство, обеспокоенное моим состоянием, предложило взять отпуск и хорошенько отдохнуть. Путевки в приличный санаторий не нашлось. Все было распределено заранее. И тогда в памяти всплыло улыбающееся усатое лицо Сандро и фраза из телеграммы «У нас весна».

Сандро сам приехал за мной в аэропорт на армейском вездеходе, за рулем которого сидел совсем молодой кавказец с черными усиками и с такой же ослепительной улыбкой, который по-собачьи преданно смотрел на своего хозяина. Он так и называл Сандро — Хозяин. Имя шофера было Шалико. Он еще донашивал военную гимнастерку и галифе — недавно вернулся домой из армии.

Наш путь в горы трудно описать словами. По извилинисто петлявшей дороге мы взбирались вверх среди дивного райского пейзажа. В горах цвел дикий миндаль, и все кругом пенилось розово-фиолетовым кружевом. Лепестки лежали и на дороге и на выступах красного камня, нависав-

шего над нами. Запах стоял такой густой и крепкий, что кружилась голова, а сердце замирало при виде шумных водопадов, низвергавшихся с круч, сея тысячи брызг. Солнце пекло как летом, и в пиджаке сидеть было жарко.

— Это все — мое, — широким жестом показывал Сандро на окружавший ландшафт. — Можешь ехать на коне день и ночь и еще один день, и у кого бы ни спросил: «Скажи, пожалуйста, где я?» — тебе ответят одно и то же: «В хозяйстве Сандро Мелиава». Ни один помещик при царе не имел такого хозяйства, как мой заповедник, и ни один грузинский князь не был так богат, как я. Правильно, Шалико?

— Совершенно правильно, хозяин, — восторженно подтвердил шофер, ловко управляя рулем на серпантине горной дороги.

Меня поражало, что Сандро без всякого юмора называл государственный заповедник своим, не скрывая, кичился богатством, нажитым явно против закона, и вел себя так, словно нет вокруг советской власти с ее крутым карательным аппаратом, которая не гладит по головке за такие дела. Но впереди мне предстояло еще много открытий, и скоро я совсем перестал удивляться.

А между тем Сандро вытащил из кармана заготовленный сюрприз — измятую фотографию совсем молодой девочки, лет шестнадцати, и протянул мне с отеческой улыбкой:

— Твоя невеста. Первый сорт. Ты не смотри на фотографию, разве здесь что-нибудь поймешь? В жизни у нее рыжие волосы. Как медь! Как огонь! И черные глаза как ночь. Представляешь себе такое сочетание? С ума сойти можно! У нас редко, но попадаются такие экземпляры! За ними идет настоящая охота. Но достанется она тебе! Правильно я говорю, Шалико?

— Чистая правда, хозяин!

— Вот видишь, дорогой. Ему можешь верить. Он тоже имеет кой-какое отношение к этому. Твоя невеста — его сестра! У тебя, Шалико, будет зять — большой человек в

Москве и даже, возможно, в будущем — член правительства!

— Очень приятно! — сверкнул зубами шофер. — Для нашей семьи большая честь!

Я понял, что между ними действительно уже все обговорено, и меня, как говорится, без меня женили. Это меня очень позабавило и я осведомился, смеясь:

— Когда я ее увижу?

— Не спеши! — хлопнул меня по плечу Сандро. — Всему свое время. Отдохни, поправься, наберись сил. А за это время мы все уладим. Есть, понимаешь, кое-какие осложнения. Но ты же сам знаешь, что нет таких крепостей, которые бы большевики не взяли.

И он раскатисто рассмеялся.

— Какие осложнения? — любопытно спросил я, тоже смеясь. — Невеста упирается? Слишком стар я для нее?

— Невесту никто не спрашивает. Не ее дело, — объяснил Сандро, глядя на меня как на неразумного, способного задать такой вопрос. — Осложнения в другом. Понимаешь, товарищ Лунин, я никого не боюсь. Ни советскую власть, ни милицию, ни ОБХС, который, как ты знаешь, расшифровывается как отдел борьбы с расхищением социалистической собственности. Я их не боюсь, они — у меня в кармане. Одного я боюсь. Кавказской кровной вражды. Тут никакими деньгами не откупишься, никакими танками не запугаешь, пока не заплатишь по счету крови. Правильно я говорю, Шалико?

— Истинная правда, хозяин, — подтвердил шофер уже без улыбки и лицо его насупилось.

— Но это тебя не касается, — обнял меня Сандро. — Ты, дорогой, отдыхай. Наберись побольше сил, чтобы справиться с такой молоденькой женой. Это — не шутка!

Сандро поместил меня в прилепившемся к скале, удивительном по архитектуре доме, опоясанном верандой. Такие виллы я видел в кино в швейцарских Альпах. Справа и слева уступами падали с высоты тонкие струи воды, сея брызги и переливаясь на солнце всеми цветами радуги. Эти крохотные водопады пробивались сквозь за-

росли цветущего миндаля и еще каких-то кустов, покрытых алыми и белыми розами, и замирали, немного побурлив в синем озере, раскинувшимся перед самым домом и окаймленном плакучими ивами, склонившими ветви к самой воде.

— Такой дачи нет ни у одного министра, — с гордостью похвастал Сандро. — Все сам построил. Где достал? Как достал? Не спрашивай. Живи и наслаждайся. Формально — это дом для иностранных гостей, посещающих мой заповедник. Но живут здесь только мои самые лучшие друзья. Как ты, например. А иностранных ученых я поселяю в палатках. Ближе, понимаешь, к природе.

Внутри дом был отделан с отличным вкусом по европейскому стандарту. Ванные и унитазы в туалетах были шведского производства, паркет из Финляндии. И ковры, ковры. Ручной работы. Удивительные узоры. Таких сейчас ни за какие деньги не купишь.

Высокую гостиную, в два этажа, украшал огромный очаг в стене, в котором можно было жарить на вертеле целого быка, выполненный под старину, из красной меди, кованой и литой, с грузинской чеканкой по бокам. Этот очаг был несомненной гордостью хозяина и, похлопывая его ласково по медным бокам, он похвалялся им, как ребенок любимой игрушкой.

— Тут, понимаешь, больше тонны красной меди ушло, а медь в нашей стране, как известно, — очень дефицитный материал стратегического значения. Где достал? Как достал? История умалчивает. Был момент, когда я мог на этом голову потерять.

Приезжает комиссия из Москвы во главе с самим товарищем Байбаковым — начальником Госплана СССР. Ты знаешь, кто такой? Комитет государственного планирования. Он все знает, все контролирует, с ним большая свита и наши начальники с Кавказа целой толпой. Смотрят ему в рот и не дышат.

У меня сердце ёкнуло: не пройдет он мимо медного очага, обязательно заметит. И, правда, потрогал он очаг рукой, посмотрел на свиту нехорошим глазом и говорит:

— Вот куда уходит народное добро!

И обе свиты, и московская, и кавказская, как попугаи затараторили:

— Ай-яй-яй! Вот куда уходит народное добро. Безобразия! Как это возможно? Надо разоблачить расхитителей народного добра и стратегических материалов! К самому строгому ответу!

И все уставились на меня, словно видят в первый раз, и никогда со мной не пили. Я почувствовал, как у меня на шее затягивается петля. И уже, как с того света, еле слышу, что продолжает говорить товарищ Байбаков. А он говорит очень разумные слова:

— Но, с другой стороны, поскольку этот дом для иностранных гостей, вполне допустимо такое расточительство. Пусть иностранцы почувствуют, как широко живет советский народ.

А попугаи тут же подхватили:

— Конечно, пусть почувствуют! Пусть завидуют! — И жмут мне руку. — Правильно построил, товарищ Мелиава. С выдумкой!

У меня потом шея, где стягивалась петля, месяц ныла и никакой массаж не помогал.

Мелиава создал мне воистину царские условия. Я жил один во всем этом доме, он всегда как-то неназойливо присутствовал, чтоб выполнить любое мое желание. Какие-то пожилые кавказские женщины с ног до головы в черном приносили на медных подносах еду, какую в московском ресторане «Арагви» не получишь, будь даже братом директора и кумом шеф-повара, ставили на стол и молча исчезали. Другие женщины в черном убирали комнаты, стирали мое белье. И все это делалось молча с угодливыми улыбками рабынь, я полагаю, они по-русски разговаривать не умели.

Каждое утро спускался сверху по тропе одноглазый, заросший щетиной, человек в мягких кавказских чувяках и бараньей шапке шерстью наружу, ведя на поводу оседланного гнедого коня. Конь предназначался мне для верховой прогулки. Иногда со мной вместе отправлялся Сандро на

буланом коне с седлом, расшитым кавказскими узорами. Кони были чистых кровей, ахал-текинцы, тонконогие, поджарые, с гладкой лоснящейся шерсткой.

Сандро по ведомым лишь ему тропинкам уводил меня далеко в горы, показывая свои владения и открывая мне бездну доселе неведомых тайн. Об одном не распространялся — о своей жене и детях, хотя я знал, что он жил вместе с ними где-то неподалеку, но ни разу не пригласил меня в гости и их не приводил ко мне. Я же не лез с излишними расспросами и довольствовался той информацией, которую, не скупясь, обрушивал на меня Сандро. По пути нам порой встречались вооруженные люди, абсолютно разбойничьего вида, в бараньих шапках и черных шерстяных кавказских бурках на плечах. Верхом. И без лошадей. Они издали почтительно здоровались с Сандро, называя его хозяином, как и шофер Шалико.

— Мои егеря, — с хитрецей и самодовольной улыбкой косился на меня Сандро. — Звери! Ни один вор от них не уйдет! И честный человек тоже! А мне преданы как собаки. Думаешь за красивые глаза? Глубоко ошибаешься. Так и быть, открою тебе одну тайну.

По всем этим людям, а ты видел только маленькую часть из них, давно плачет пуля советского правосудия. Они — вне закона. Бежали или из-под следствия, или из тюрьмы. На каждого объявлен всесоюзный розыск. У меня они, как у родной мамы. В мой заповедник чужая нога не ступит. Пуля в глаз, учти, именно в глаз, а не в лоб, обеспечена. Значит, каждый беглец у меня получает новые документы с переменной, конечно, фамилии; работу на меня, конечно, а не на государство, и хорошее содержание, не меньше, чем ответственный партийный работник.

У меня еще ни одного человека пальцем не тронули. Почему? Вся милиция вокруг заповедника получает от меня второе жалованье. Поэтому граница — на замке! И если в Москве вздумают меня прощупать, то у них только один выход: без предупреждения сбросить в мой заповедник воздушный десант. И то с минимальными шансами на успех. Каждый парашютист приземлится с зарядом

картечи в заднице — мои егеря удивительные снайперы. Бьют только в глаз. За исключением парашютистов, конечно.

За все время один раз у меня взяли человека. И то не по моей вине, а по его. Это была птица крупного полета. Русский как ты. В Москве держал подпольные фабрики по трикотажу, делал миллионы. Пока не попался. Вернее, попались его коллеги, а он успел сбежать ко мне. В Москве всех их расстреляли, ему вынесли смертный приговор заочно.

Казалось бы, что лучше? Живи у меня и радуйся. Я его жену сюда доставил, чтобы не скучал по семье. Работой не утомлял. Два года он жил тихо. Потом захотелось ему в оперу. Культурные, понимаешь, потребности. Человек из Москвы, не откуда-нибудь. Поехал на одну ночь в Ереван и... не вернулся. Взяли, как миленького, и расстреляли. Я ему ничем помочь не мог. Так далеко за пределами заповедника моя сила кончалась.

Но это — единственный случай. Остальные легко обходятся без оперы и живут у меня, как у мамы. Кстати, его жена осталась здесь. Ценный работник. Инженер по трикотажу. Что? Непонятно? У меня тут большие отары овец пасутся в горах. Конечно, незаконно. Куда шерсть девать? Не сдавать же государству — там бы очень удивились. Поэтому есть у нас производство. Делаем свитеры и женские кофточки. Дефицитный товар. Покупатель отрывает с руками. Даже в Москву отправляем. Неофициально. Там у нас есть свои продавцы. Конечно, главный товар не это. Что прекрасно растет на нашей земле и цветет тогда, когда в Москве морозы? Цветы. В Москве один цветок зимой — рубль. Миллион цветов — миллион рублей, десять миллионов... Сеем мы в долинах еще кое-что, очень дефицитный товар, за него по головке не погладят. И продаем там же в Москве. За огромные деньги.

Теперь понимаешь кое-что? Вот я читал, что в Америке кинозвезда Элизабет Тэйлор получает за каждый фильм миллион долларов. Но после уплаты налогов у нее остается лишь сто тысяч. Остальное забирают. Безобразия, я

тебе скажу. Эксплуатация! А я никаких налогов не плачу. Все идет мне в карман... За исключением некоторых производственных расходов. Например, платить милиции. Знаешь, когда мой товар прибывает в Москву, то его везут из аэропорта под почетным эскортом. Сзади милиционеры на мотоциклах, а впереди высокий чин в звании полковника, чтобы какой-нибудь сумасшедший милиционер не вздумал проверить, что мои люди везут. А люди на улицах думают, какой-нибудь важный гость из-за рубежа едет или космонавт.

У меня голова шла кругом от откровений Сандро. Ведь надо же так попасть партийному работнику с незапятнанной репутацией в самое логово нарушителей советских законов и стать закадычным другом и почетным гостем их главаря, который к моему величайшему смущению носит в кармане такой же партийный билет, как и у меня. Мне порой мучительно хотелось бежать отсюда без оглядки. Но я не решался на такой поступок по двум причинам. Не хотелось обижать гостеприимного хозяина, искренне привязавшегося ко мне, и еще потому, что как бы я не исхитрялся, меня бы все равно поймали посланные в погоню разбойники-егеря, и тогда уж мне бы головы на плечах не сносить.

Оставался один выход: пользоваться гостеприимством Сандро, пока позволял срок моего отпуска и затем растаться полюбовно и забыть, вычеркнуть из памяти все, что я здесь видел и слышал, как только доберусь до дома. О том, чтобы донести властям на Сандро, не могло быть и речи. Ел, пил, пользовался гостеприимством и — стукнул. Так порядочные люди не поступают. А я причислял себя к таковым. Кроме того, у Сандро были достаточно длинные руки, чтоб достать меня из-под земли и рассчитаться за предательство.

Я заметил, хоть и не знал грузинского языка, что Сандро при встречах с егерями обращается с ними не на одном и том же языке.

— А как же? Я — полиглот! — удовлетворенно рассмеялся Сандро, когда я спросил его об этом. — У меня же

тут национальный коктейль под названием «Дружба народов». Слушай, Сталин был гениальнейший человек, а я его скромный ученик. Вот у нас тут соседи — Кабардино-Балкарская республика. Почему не отдельно Кабардинская и не отдельно — Балкарская? Надо иметь ум Сталина, чтоб так придумать. Кабардинцы и балкарцы — злейшие враги. Вековечные. Кабардинцы — мусульмане, балкарцы — христиане, православные, как мы с тобой. Кабардинцы живут на равнине и потому побогаче, балкарцы — горный народ и, конечно, беднее. Сталин объединил их в одну республику, и они держат друг друга за глотку так крепко, что даже забывают свою ненависть к русским и советской власти. Гениально, а? То же самое между Арменией и Азербайджаном. Есть такой район Нагорный Карабах, населенный в большинстве армянами, христианами. Так Сталин, когда определяли границы между республиками Кавказа, включил этот район в состав мусульманского Азербайджана. С тех пор у обоих народов на губах не просыхает бешеная пена.

Я поступаю по-сталински. Если в мои владения забредет вор-балкарец, то его ждет меткая пуля егеря-кабардинца, а если наоборот, то балкарец живым браконьера не выпустит. Кроме них у меня работают мингрелы, как я, и сваны — самое высокогорное племя на Кавказе и самые отчаянные люди. Есть и русские. Имеется даже один еврей.

Этого еврея ко мне в дом вскоре привел Сандро. Испугавшись сдуру в холодном потоке, стекающем из-под ледника, я схватил высокую температуру и отлеживался на тахте, обложенный подушками и перинами, под настенным персидским ковром, увешанным старинными кинжалами с изумительной чеканкой на серебрянных рукоятках.

Он был не поддельный, а настоящий врач. Глазник. Имел в свое время довольно высокую репутацию как специалист.

Дальше послушаем Сандро, по уши влюбленного в этого невысокого тщедушного еврея:

— Понимаешь, дорогой, антисемитизм. Мне не надо

тебе рассказывать. Сам знаешь, как теперь в России любят еврея. Как собака кошку. Лазарь Исаакович кой-кому глаза намозолил. Обыкновенная зависть. Устроили ему провокацию. Уговорили вылеченного им пациента поднести доктору подарок наличными. И тут же явились с милицией. Взятка. Пойман на месте преступления. Пять лет строгого режима были для доктора самой реальной перспективой. Но к счастью для него, за год до этого привез к нему с Кавказа больного сына некто Сандро Мелиава, который не забывает людей, выручивших его из беды. А доктор меня выручил из страшной беды: сынок совсем терял зрение, и наши врачи ничего не могли сделать. А в Ленинграде вот этот самый человек спас глаза моему сыну, и он теперь видит как кошка в темноте. Так, конечно, я пришел к нему на помощь. И вот он живет здесь, на свободе. Правда, документы другие. Был доктор Гуревич, стал просто Шапиро. Грузинская фамилия ему никак не подходит, внешность не позволяет.

— Правду я говорю, Лазарь Исаакович? — с обожанием хлопнул его Сандро по узкой спине, так что доктор закачался, чуть не упав.

Но, поправив очки на носу, доктор сказал то же самое, что говорил шофер Шалико:

— Чистая правда, хозяин.

— Редкого ума человек, — нисколько не стесняясь присутствия доктора, нахваливал его Сандро. — Помнишь, мы обмывали в гостинице «Балчуг» кандидатскую диссертацию? Думаешь, я ее написал? Он. Не будучи биологом, сделал такую диссертацию по биологии, что в Москве академики удивлялись и горячо меня поздравляли. Думаешь, мне одному диссертацию сделал? Плохо нас знаешь. Еще три написал. Для моих вышестоящих руководителей в Тбилиси, и они тоже стали кандидатами наук.

Правда, мы снабжали его любым материалом, какой потребует. Из Москвы, из Центральной библиотеки имени Ленина выписывали ему самую редкую научную литературу. Даже больше, чем просил. На всякий случай.

И вот, понимаешь, этот самый доктор-глазник стал у

нас тут замечательным хирургом. Такие операции делает, такие швы накладывает — залюбоваться можно. Не в госпитале, а в местных условиях. Иногда под открытым небом. Пациенты у доктора в основном с огнестрельными ранениями и у них репутация такая, что в государственный госпиталь положить такого равносильно тому, что поставить к стенке и расстрелять. Ведь их милиция ищет уже с готовым приговором.

Совсем недавно такое чудо сотворил — руки целовать надо. Человеку, понимаешь, губу откусили. Бывает. И эта откушенная губа валялась где-то полдня, пока не пришел наш доктор. В его руках губа опять ожила и он пришил ее куда следует. так изумительно, что человек этот может, не стесняясь, целовать девушек.

Так впервые я услышал о моем сопернике, уже пытавшемся украсть мою невесту, медноволосую Манану, сестру Шалико. Правда, неудачно. Кроме Шалико, у нее был еще один брат постарше, по имени Нугзар. И вот Нугзар-то устроил засаду под окном сестры, схватился врукопашную с похитителем и откусил ему нижнюю губу. Это в горах считается величайшим позором — остаться после драки с откушенной губой или носом. Бóльшого позора нельзя придумать и единственный выход: кровная месть, в которой участвуют все родственники мужского пола сначала с одной стороны, а потом и с другой.

Тут надо подробней остановиться на человеке с откушенной губой, которую так мастерски пришил на место бывший доктор Гуревич, а ныне просто Шапиро. Я этого человека вскоре увидел. Губа, действительно, прижилась и на покрытом щетиной лице заметить что-нибудь не представлялось возможным. Это был кряжистый сильный человек с выпуклой грудью и каменной шеей в традиционной бараньей шапке и с винтовкой за плечами. Новый егерь в команде Сандро. Звали его Джульбер. Он был сван, и пришел сюда из-за перевала, уходя от кровной мести.

Дело в том, что Джульбер слыл одним из лучших скалолазов на Большом Кавказском хребте, и редкая группа

альпинистов поднималась к вершинам без проводника Джульбера.

Но это было его хобби, а не главное занятие. А что было главным занятием Джульбера весьма образно объяснил Сандро Мелиава:

— Понимаешь, дорогой, что такое традиция? Тогда послушай. Наш дорогой вождь и учитель товарищ Сталин до революции назывался здесь на Кавказе просто Сосо, и вся его революционная деятельность заключалась исключительно в экспроприации банков. То есть, если говорить нашими словами, грабил банки, вскрывал сейфы и, если верить слухам, все деньги отдавал на дело революции. Вот Джульбер продолжает эту традицию, идет по стопам Сосо, и в наше советское время совершает налеты на банки. Правда, когда нет альпинистского сезона.

Медноволосая Манана, сестра Шалико, с детства любила лазить по горам и иногда ходила в поход с альпинистами. Вот тогда-то ее и заметил проводник Джульбер, и его каменное сердце обмякло. Он решил взять ее в жены. Шестнадцатилетнюю Манану. А самому ему в то время уже стукнуло семьдесят. Да, да. Семьдесят. И при этом ни одного седого волоса, во рту все зубы до единого свои, глаза зоркие, как у ястреба, и мышцы тверды, как камни. Он из породы кавказских долгожителей. Отец его в последний раз женился, когда ему было девяносто лет и произвел на свет еще пару детей.

В наш цивилизованный век, когда небо над Кавказом бороздят реактивные самолеты, оставляя белопенный след в небесной лазури, в горах все еще держатся древних обычаев. И один из них: чтоб жениться, надо украсть невесту, овладеть ею, лишив невинности где-нибудь в укромной горной хижине, и лишь потом спуститься в деревню к родителям и попросить руки дочери. После этого устраивается свадьба на три дня и три ночи. Гости опорожняют бочки вина, объедаются до полусмерти вкуснейшими кавказскими яствами, танцуют до упаду огневые пляски, обнявшись и объясняясь друг другу в вечной дружбе до гроба.

Но чтобы жениться на Манане Джульберу предстояло решить одну нелегкую проблему. У него была жена. Жива и здорова. Народившая ему пятерых уже взрослых детей, и его старший сын был капитаном теплохода на Черном море.

Бросить жену считается в горах неприличным поступком. Лучше всего, когда жена умирает. Вдовцу почет и уважение. Джульбер поступил, как ему казалось, наилучшим образом: зарезал жену. Теперь он был свободен и мог с полным правом претендовать на руку и сердце юной медноволосой Мананы. Помешала досадная мелочь. У жены была большая родня и родственники поклялись отомстить убийце и стали охотиться за Джульбером. Вот тогда он и появился здесь в заповеднике, чтобы укрыться от преследователей и быть поближе к своей избраннице. Но слух о действительной причине смерти жены Джульбера прошел через перевалы и достиг ушей братьев Мананы. Дальше вы знаете. Джульбер нарвался на засаду, украть Манану ему не удалось, и пришлось с позором отступить, оставив на земле свою откушенную губу.

В силу снова вступил древний закон гор: позор Джульбера должен быть отмщен и непременно кровью обидчика. Даже при том, что доктору удалось приживить откушенную губу. Это не снизило накала страстей.

Тогда вмешался Сандро Мелиава. Джульбер работал у него и брат Мананы Шалико работал у него. Да еще к тому же Сандро решил выдать Манану замуж за своего русского друга, с которым он познакомился в Москве в гостинице «Балчуг». Нужно было непременно завершить это дело миром.

Сандро переговорил с обеими сторонами и добился согласия братьев Мананы на очень суровое условие Джульбера. Чтобы восстановить мир, он потребовал, чтобы младший брат обидчика, то есть Шалико, публично в церкви был объявлен его сыном со всеми вытекающими последствиями, как-то: свое жалованье отдавал отцу, а когда надумает жениться, не смеет избрать невесту без отцовского согласия и благословения.

Как ни высока была цена мира, братья медноволосой Мананы уступили, и я был в церкви вместе с Сандро и другими родственниками с обеих сторон, когда старенький православный поп совершил древний и варварский обряд примирения. Поп иглой, похожей на шило и абсолютно не стерильной, уколол палец сначала Шалико, потом Джульберу, выдавил у обоих по несколько капель крови и смешал их на камне. Это означало, что отныне Шалико и Джульбер породнились.

Дальше началось уж совсем невероятное: крещение новообретенного сына Джульбера. Рослый и стройный Шалико разделся догола, окунулся в купель и затем, шлепая мокрыми ногами по каменному полу церкви на глазах у всех нас, подошел к Джульберу, предварительно обнажившемуся до пояса, припал губами к соску на его груди и стал, чмокая, сосать. А поп ходил вокруг них в парчевой рясе и раскачивал на цепи дымящееся кадило.

Я смотрел и не верил своим глазам. А Сандро прокомментировал это почти языческое зрелище по-своему:

— Самое интересное, что все действующие лица, и гости, и крещенный сын, и его новый отец, поголовно все — коммунисты. За исключением попа. Потому что атеизм — одно из главных условий членства в партии — как-то не совсем совместим с саном священнослужителя.

Таким вот примирением Сандро Мелиава окончательно вывел Джульбера из игры. Он уже не мог претендовать на Манану, потому что брат Мананы стал его сыном и это уже пахивало кровосмесительством.

Сандро торжествовал и немедленно приступил к следующему шагу: похищению Мананы. На сей раз для меня. Не знаю, почему я не заупрямился и поехал верхом с Сандро и Шалико умыкать невесту. Возможно, мне не хотелось огорчать гостеприимного хозяина, увлекшегося, как дитя, предстоящей проделкой. А кроме того, слабость человеческая, мне импонировала эта роль лихого джигита, умыкающего невесту и насилующего ее где-нибудь в горах на абсолютно законном основании. О последствиях я не задумывался. В крайнем случае, действительно же-

нюсь на ней официально и увезу в Россию верную и преданную жену.

Мы скакали ночью в полной темноте, одетые, как и положено в таких случаях: в черные шерстяные бурки на плечах и высокие бараньи шапки на головах. Нашим проводником был Шалико, и это на сто процентов гарантировало успех. Сопротивления никакого не предвиделось.

Пробравшись в дом вслед за Шалико, мы застали Манану, спящей в постели, разбудили ее, и я по ритуалу зажал ей рот, чтоб не кричала. Она при этом прокусила мне ладонь. Затем мы ее укутали в покрывало, вынесли из дому, я вскочил на коня и Сандро с Шалико передали на седло спеленутый кокон. Потом мы скакали назад под звездами. Уже вдвоем. Шалико остался дома. Добрались до швейцарской виллы для иностранных гостей у озера, и Сандро запер меня с ней и сам деликатно удалился.

Когда я распеленал Манану, я увидел огненно-рыжие волосы и сверкающие гневом черные глаза. Она была воистину восхитительна. Тонкая и гибкая. С прелестным нежным лицом, обрамленным красной медью волос. Я почувствовал, что непременно влюблюсь в нее и буду очень дорожить ею, отчего меня охватило ликование.

Но ликовал я преждевременно.

— Русский человек, не прикасайся ко мне, — в руках у Мананы сверкнул лезвием кинжал. — Я не люблю тебя. И если ты тронешь меня... Я тебя зарезу.

— А кого ты любишь? — растерянно спросил я.

— Не твое дело. Отпусти меня на волю.

— Иди, — безвольно согласился я.

Она метнулась к дверям, распахнула их и исчезла. Затем я услышал цокот конских копыт по камням. Я выскочил во тьму. Моего коня не было у коновязи. Манана ускакала на нем.

Наступал рассвет. Меркли звезды. Вдали ясней просвечивал снежной вершиной Эльбрус. Подъехал Сандро. Он без слов понял, что случилось. Спешился, вынес из дома цейсовский бинокль и, приложив к глазам, стал шарить по окрестным горам. Потом протянул бинокль мне.

— Узнаешь?

По узкой горной тропе, высоко-высоко, двигались два всадника. Под одним из них я узнал моего коня. Это была Манана, уже укутанная в чью-то бурку. А впереди ехал Джульбер. Без бурки. В высокой бараньей шапке и с ружьем за плечами.

Солнце всходило за хребтом и ложилось розовыми лучами на сахарную голову Эльбруса. Тропа, по которой двигались всадники, утопала в цветущем миндале.

Мне стало грустно и в то же время легко на душе.

— Что ты скажешь? — обернулся я к Сандро.

Он не улыбался и смотрел впереди себя сосредоточенно и угрюмо, как проигравший игрок.

— А может быть любовь в самом деле существует на свете, — протянул он удивленно.

В парной стоял туман, и коренастая оплывшая фигура Зуева нечетко вырисовывалась на верхней полке. Зуев натянул на голову фетровый колпак, наполненный холодной водой. Это предохраняло лысину от ожога, да и охлаждало не в меру перегретую голову — холодная вода стекала из-под набухших краев колпака по распаренному лицу, и это доставляло Зуеву наслаждение. Он не хлестал себя веником, а ладонями растирал сочащееся влагой тело. Мягкая почти женская грудь колыхалась под пальцами, и Зуев не без зависти поглядывал на лежавшего рядом с ним на горячих досках верхней полки Астахова, со свистом хлеставшего себя по багровому, еще крепкому телу березовым веником.

Внизу в тумане выплыла фигура Лунина. Он принес из гостиной бутылку жигулевского пива, с бульканьем опорожнил ее в ковш и выплеснул на раскаленные камни. Раздалось шипение, клубы пара повалили от камней. В горле запершило от хлебного духа.

Зуев, крихтя, стал спускаться задом с верхней полки, а Лунин с тазом воды поднялся на его место, крикнув Зуеву вдогон:

— Кишка тонка!

— Не кишка, а сердце, — пробормотал Зуев, садясь внизу на скамью, где пар был не такой едкий, и переводя дыхание. — Было бы у тебя два инфаркта, ты бы носа в парную не показывал, а я, худо-бедно, парюсь.

— Ну, не дуйся, старик, — кивнул ему сверху Лунин. — Сочтемся инфарктами. Я ведь тоже удостоился.

— Инвалидная команда, — рассмеялся Астахов. — Ни на что не годны. Бабы-то вас не гонят в шею?

— Всяко бывает, — улыбнулся Зуев. — Айда в гостиную — отдохнем. Я вам историю расскажу.

РАССКАЗ ЗУЕВА

Стоило мне ее в первый раз увидеть, как мое сердце ёкнуло, и я сразу понял, что между нами обязательно что-нибудь произойдет. На сексуальной почве. Непременно. Она вызвала во мне с первого же взгляда отчаянное безоглядное желание овладеть ею. Мять и терзать при этом. Хлестать по щекам наотмашь. По румяным щекам под выступающими восточными скулами, чтоб из короткого, тонкого, с трепещущими ноздрями, носика фонтаном била кровь.

Она вызывала бешеную вспышку похоти. И гнева. Она злила, раздражала одним своим видом сытой гладкой самоуверенной самки с прелестной женственной фигурой бывшей балерины, уже сошедшей со сцены и слегка раздавленной и раздобревшей, но сохранившей классические очертания. И платье в обтяжку, при ходьбе распираемое крепкими бедрами. Сильные икры. Тонкая нежная шейка. Маленькая, но тугая грудь. И головка восточной красавицы с густыми иссиня-черными гладкими волосами, стянутыми сзади узлом. Глаза раскосые с чуть припухшими, нависающими подбровьями, как у злой кусачей собаки, черные волосики над верхней губой. И при этом совер-

шенно не восточные, а скорее славянские, зеленые с рыжинкой глаза как спелый крыжовник. И рот. Да, рот.

Тут стоит остановиться подробней. Ее рот мог любого мужчину с ума свести. При таком восточном облике, где все черты точеные и миниатюрные, у нее был большой, даже вульгарный, с пухлыми губами рот. Губы были не красными, а синеватыми, покрытыми серым налетом, словно пеплом от сжигающего их внутреннего жара. Губы даже запеклись и кое-где дали трещины. В такой рот, даже если палец сунешь, кончишь в два счета.

Властная особа, привыкшая повелевать мужчинами. Независимо от возраста и национальной принадлежности. Она мне напомнила цирковую дрессировщицу, в костюме с блестками, с бичом в руке, который со свистом рассекает воздух, и львы почтительно замирают на задних лапах на своих тумбах. Вместо львов я видел на тумбах мужчин разного калибра, дружно вздрагивающих от посвиста бича и льстиво и преданно заглядывающих в ее зеленые беспощадные глаза.

Она была не казашкой. В Казахстане женщины не блещут красотой. Дочери степных пастухов чаще всего кривоноги, круглолицы, широкоскулы, с узкими, как щели, прорезями глаз. И фигуры какие-то неженственные, угловатые, сухопарые, плоские.

Она была экзотическим, пряным, терпким до одури, волшебным цветком в этом краю неженственных женщин. Она была очень удачным результатом смешанного брака. Татарки и уйгура. Уйгуры — это племя в горах Тянь-Шаня, живут частью на советской территории, в Казахстане, и частью, за границей, в Китае. А татары живут в Европейской части СССР и больше похожи на славян, чем на азиатов. От смешения этих кровей получилась гремучая смесь. Красавица Зейнаб. Или Зоя, как ее называли по-русски.

Когда я ее встретил, она была женой министра культуры Казахстана — низкорослого кривоногого казаха с лунообразным, в глубоких морщинах, лицом, имевшим, по крайней мере, внешне, очень отдаленное отношение к

культуре. Сними с него европейский костюм и нахлобучь на темя баранью шапку — и перед тобой стопроцентный чабан, гоняющий по степи овечьи отары.

Нетрудно догадаться, что Зоя была некоронованной королевой в культурных кругах этой большой, размером с пол-Европы, республики. Не министр, а она решала, кого повесить в должности, кого уволить, кто получит роль в новом фильме, кто будет представлен к почетному званию и правительственной награде. По всем вопросам обращались прямо к ней, минуя мужа, и по-восточному обычаю приходили не с пустыми руками. Она, не стесняясь, брала дорогие подарки: каракулевые шубы, заграничную обувь, золотые кольца и браслеты, бриллианты и жемчуга. И себя не обходила. Если в казахском фильме в главной роли предполагалась по сценарию красавица, снималась непременно она, хоть драматическим дарованием не обладала, а юные актрисы, даровитее ее, старились без ролей. Она пробовала петь в опере. Но конфуз был слишком велик, и у нее хватило ума не претендовать на вокальные лавры. В местном балете она официально числилась художественным руководителем и постановщиком. Это была конь-баба в восточном вкусе и я, переглянувшись с нею, брюхом почуял, что наши дорожки пересекутся и быть грому великому.

Случилось это все в Казахстане, в славном городе Алма-Ата, что по-русски означает «отец яблок» и, действительно, чего-чего, а яблок в этом городе — завались, и среди них на весь мир славится краснобокое чудо «апорт», в которое лишь вонзишь зубы, а оно само тает во рту. Эти яблоки можно попробовать только в Алма-Ате. Они такие большие и такие нежные, что никакой транспортировки не переносят и портятся, погибают в пути, лишь для правительственных банкетов в Кремле их доставляют прямо с ветки реактивным самолетом в Москву и из аэропорта на бешеной скорости непосредственно к столу.

Я в Алма-Ате был единственный раз, вот тогда, и город мне очень понравился. Все новое, современное, Старый-то город землетрясением снесло и выстроили все по послед-

нему слову техники. Огромные деревья вдоль тротуаров, а под ними в бетонных ложах журчит вода — горная, холодная. Это — арыки. Они по всем улицам протекают, и от них прохладно в самую жару. А над деревьями, над домами — снежные вершины Ала-Тау, отрога Тянь-Шаня.

Послали меня в Алма-Ату на совещание республик Средней Азии и Казахстана по проблемам национальных культур, как представителя «старшего брата» — великого русского народа.

С азиатами я до того сталкивался мало и, по правде сказать, не умел отличить казаха от киргиза и узбека от туркмена, и спроси меня, какая столица в какой республике, непременно бы наврал. Но человек я прямой, национализмом и шовинизмом не страдаю. Я душой и телом за международный интернационализм в первоизданном виде, как его задумали классики марксизма-ленинизма, и всех вывертов и зигзагов нашей национальной политики, клянись честью, не понимаю.

Ну, вот, скажем, работает у меня помощником один еврей. Израиль Моисеевич. Убей меня, не пойму, почему его надо убрать, и то, что я никак на это не соглашаюсь, квалифицируется кое-кем как притупление политической бдительности. Уж сколько меня донимали, да избавься ты от него, негоже такого держать на высоком посту, не в ногу со временем шагаешь, а я — ни в какую.

Почему? Он, что, плохой работник? Нет. Работает, как вол. Умен, толков. Я за ним — как за каменной стеной. Вот сижу здесь прохлаждаюсь, а душа спокойна. Мой помощник не подведет, все будет в полном ажуре.

Тогда, может, у него социальное происхождение хромает? Опять же не выходит. Да у него прошлое почище моего. У нас с ним есть совпадение в биографиях. И его и мой деды в царское время на каторгу в Сибирь были сосланы. Мой дед за то, что был конокрадом — чужих лошадей с ярмарок угонял, а его дед — за принадлежность к российской социал-демократической партии, которую он своими-то руками создавал и выныанчивал вместе с Лениным и привел Россию к революции.

А уж отец-то мой, серый мужичок, в гражданскую войну не мог «белых» от «красных» отличить и единственное, что запомнил о революции, как они в своей деревне помещика жгли и добро его растаскивали. Мой-то унес хомут из барской конюшни и этим завершил свое участие в борьбе за народное дело.

Папашка Израиля Моисеевича в гражданскую войну командовал бронепоездом «Смерть мировому капиталу!», и один из первых получил орден боевого Красного Знамени и золотое оружие.

Так почему же я не должен доверять сыну и внуку основателей нашей советской власти? Надоело мне выслушивать советы и даже угрозы ревнителей кадровой чистоты и как-то говорю ему, Израилю Моисеевичу:

— Ты бы хоть имя сменил, что ли? Не в моде оно нынче.

А он так грустно улыбнулся:

— Нынче мой нос не в моде. А его не сменишь. Достался по наследству от отца и деда.

С намеком ответил. Я и заткнулся. Так и держу своим помощником и, пока меня не сняли, он будет работать.

Или другой пример. Это уж не со мной случилось. А с моим старым дружкой Ваней Косых. Парень — что надо, сибиряк, в Балтийском флоте всю жизнь прокантовался. Честен, даже слишком. Не по нашим временам. И наивен, как дитя, хоть жизнь прошел не сладкую.

Его после флота в Москву взяли. Учился, грыз науку и дотянул благодаря железному трудолюбию до высоких чинов, стал директором Института марксистской эстетики. Есть такой хитрый институт. Чем занимается, не знаю, но это к нашей истории не имеет прямого отношения.

Правил Ваня институтом и дослужился бы до почетной пенсии, не случись на его беду вакансии в штате на должность психолога. Требовался институту толковый психолог, чтобы не ниже кандидата наук, естественно, член партии. Ваня говорит, есть такой! Как раз незадолго до того случайно встретил в Москве своего закадычного друга по

Балтийскому флоту, который в гражданской жизни стал психологом и защитил не только кандидатскую, но и докторскую диссертацию. Только вот не может найти работу. Всё ищет.

Ваня притащил его к себе в институт, сияя, как именинник. Велел заполнить анкеты, и сам отнес их в отдел кадров. А там глянули в анкеты и развели руками:

— Не можем принять.

— Почему? Кто тут директор — вы или я?

— Директор, — отвечают, — вы, а кадрами ведаем мы. Нельзя засорять кадры.

— Да кто же это мусор? — вскипел Ваня. — Он? Отличный морской офицер. Коммунист. Блестящий ученый. Чего вам еще надо!

— А фамилия?

— Что фамилия?

— Рапорт его фамилия. И этого достаточно, чтобы мы ему показали от ворот поворот.

Ваня захлебнулся от бешенства. Честный и прямой человек, он им выпалил публично, при свидетелях:

— Если бы к вам завтра пришел наниматься на работу Владимир Ильич Ленин, вы и его бы не взяли. Потому что его дедушка по материнской линии — Израиль Бланк!

Ваню Косых убрали из института, и он долго ходил без работы, пока я его не подобрал и устроил у себя на незаметную должность.

Вот так-то. В нашей национальной политике сам черт ногу сломит, а я попал в самый ее водоворот, в кипящий котел. В Среднюю Азию, где пять республик и десятки национальностей, и кто там кто — чужому не под силу определить. А уж не любят они друг друга похлеще, чем кошка собаку, а все вместе с удовольствием бы зажарили на вертеле «старшего брата» — нас, русских. Я представлял на этой конференции республик Средней Азии и Казахстана великий русский народ, которого в теории младшие братья — остальные народы нашей страны любят и обожают.

Нет, на этой конференции не произошло резни. Целый

день с трибуны, бия себя в грудь, и казахи, и киргизы, и таджики, и узбеки, и туркмены пели хвалу дружбе народов, клялись в вечной любви к многонациональному советскому народу, а вечером, изрядно набравшись коньяку, шатались по гостинице отдельными, строго национальными группами и, завалившись ко мне в номер, пьяно настаивали на том, что узбеки — собаки, казахи — воры и поливали помоями все остальные народы, кроме себя, и требовали от меня, чтобы я с ними согласился. Я не был пьян и выгонял их из номера. Кого выгонял? Коммунистов-интернационалистов, чей долг и обязанность — крепить дружбу народов, а на самом деле они — махровые националисты.

В нашей русской делегации был представитель министерства культуры СССР по фамилии Сулькин. Азиаты его за еврея посчитали и, ввалившись к нему пьяной ватагой, стали изливать душу, как они, мол, русских ненавидят и была бы их воля — всех до одного пустили бы под нож.

Сулькина нетрудно было принять за еврея. Из-за длинного вислого носа и вечной мировой скорби в очах. Скорбь имела не еврейское происхождение, а, пожалуй, больше бухгалтерское. Он неизмеримо страдал при виде массового воровства и растрат вокруг. Бедный Сулькин, хлипкий мужичок и чистокровный русак, до того испугался, что и его прирежут, что у него ночью подскочила температура и пришлось вызывать врача.

А с утра, протрезвившись, ночные головорезы дружно аплодировали в зале заседаний каждому оратору, непременно завершавшему свою речь здравицей в честь нерушимой дружбы народов первого в мире социалистического государства.

Хозяева этой конференции — казахи, мы ведь собрались в их столице Алма-Ате, проявляли традиционное гостеприимство: вино лилось рекой, столы ломились от изобилия национальных кушаний, острых, пряных и пахучих. Русская делегация, непривыкшая к такой еде, дружно

испортила себе желудки и больше просиживала в туалете, чем на заседаниях.

Туземный министр культуры, у которого была жена красавица Зейнаб, дал банкет у себя дома для ограниченного круга лиц, состоявшего исключительно из известных представителей местной культурной элиты и только двух инородцев: Сулькина и меня. Лишь позднее я понял, что все это пиршество было затеяно ради невзрачного Сулькина, по настоянию Зейнаб, а меня пригласили лишь потому, что мы с Сулькиным жили в гостинице в соседних номерах и требовался хотя бы еще один русский, чтобы как-нибудь закамуфлировать, прикрыть затею жены министра культуры.

Я должен сказать несколько слов о том, как живут высокие сановники в национальных республиках. Их дореволюционные феодалы такого и во сне не видели, а мы у себя в России, занимая не меньшее положение, никогда бы себе подобного не посмели позволить.

Они буквально купаются в богатстве и роскоши, ни за что не платя, ни о чем не тревожась. За исключением одного: как бы не полететь со своего теплого местечка из-за недостаточной лъстивости к более высокому начальству. Но уж что-что, а льстить и стоять на задних лапках они умеют превосходно и поэтому прочно сидят в своих феодальных гнездах, прикрывшись красной книжечкой коммуниста. Возьмем для примера министра культуры, мужа Зейнаб. У него огромная, прекрасно обставленная заграничной мебелью, квартира — бесплатная, персональный автомобиль с шофером — бесплатно, загородные дачи, одна — в горах, другая — в степи, и обе, как помещичьи усадьбы, с большим штатом обслуживающего персонала — бесплатно. И при этом он еще получает много денег в виде зарплаты и подарки, подарки, подарки от людей, ищущих его благосклонности.

На этом домашнем банкете, где за столами расселось человек тридцать, я увидел размах в давние времена доступный, пожалуй, эмиру бухарскому. Столы обслуживали не официанты, а красивые, как куколки, юноши в

черных костюмах и белоснежных рубашках, элегантные и расторопные — студенты актерского факультета, конечно, бесплатно явившиеся обслужить гостей своего хозяина.

В дальнем конце зала тихо играл оркестр национальных инструментов, и музыканты в парчевых расшитых халатах и островерхих, оттороченных мехом, шапках кочевников, старались вовсю — и тоже бесплатно.

Ящики коньяка, ящики шампанского, горы, буквально, горы, оползавшие с больших фарфоровых тарелок, черной и красной икры. Все это ни за какие деньги не купить в магазинах, все давно исчезло из продажи, доставлено сюда со складов и за это не было заплачено ни копейки. Я уж не говорю о фруктах и плодах, самых невообразимых, произрастающих на казахской земле. Тут уж глаза разбежались.

Студенты-официанты внесли из кухни две целиком жаренные на вертеле бараньи туши, окутанные облакамипряного пара, щекотавшего ноздри и вызывавшего обильное слюнотечение.

И баранов и фрукты доставили к министерскому столу жители одного из районов степного Казахстана, где лет шестьдесят назад в бедной юрте пастуха родился будущий министр, и этот район, гордящийся своим славным земляком, стал чем-то вроде его личной вотчины, аккуратно платящей оброк.

Мы с Сулькиным удостоились самых почетных мест на этом пиршестве — между хозяином и хозяйкой. И Сулкин, честный и очень дотошный малый, ведавший финансами в Министерстве культуры, шепнул мне на ухо, подозрительно шурясь на все это изобилие:

— Будь это в моей власти, я бы сделал ревизию на месте и упек голубчика на десять лет строгого режима за явное злоупотребление служебным положением и незаконное присвоение казенного добра. Но — увы, руки коротки! Тут у них своя мафия, свои законы, рука руку моет, каждый второй — кум, сват и брат, и все косоглазые — поди, разберись.

Сулькин при своем невзрачном виде и внешне неприметной должности был весьма важной персоной, от которой многое зависело в финансировании различных культурных мероприятий. Театры, киностудии, народные ансамбли, фестивали — огромные суммы денег ассигновались на это, и каждый раз размер суммы определял товарищ Сулькин. А уж начальство повыше утверждало, полностью доверяя ему. Вот почему с ним заигрывали, как могли, и угождали, стараясь заручиться его благосклонностью. Несколько предшественников Сулькина, не устоявшие перед напором соблазнов, завершили свои дни в Сибири. Сулькин же слыл неподкупным педантом, таким дотошным буквоедом, для которого главное — чтобы цифры сошлись, и желательно с экономией в пользу государства.

Жена министра Зейнаб все время подливала Сулькину, откровенно спаивая его. А министр занимал разговорами меня, представляя сидящих за столом гостей, лунообразных, скуластых мужчин и женщин, усердно жевавших баранину, громко чавкая и облизывая жирные пальцы.

— А вот это наш знаменитый поэт, можно сказать, казахский Пушкин. А эта женщина — прима-балерина, после моей жены — лучшая танцовщица в республике. Можно сказать, наша казахская Майя Плисецкая. А это...

Я слушал вполуха, зато ел с удовольствием. Казахские манты, вроде наших русских пельменей, но большего размера, плавали в золотистом бульоне. Ломтики румяного, поджаренного на углях шашлыка, чередующиеся с дольками кроваво-красных помидоров и крепкого забористого репчатого лука, сами просились в рот. Коньяк был армянский, лучшей марки, которую большой любитель крепких напитков Уинстон Черчилль предпочитал всем остальным коньякам. Кобылье молоко «кумыс» матово белело в хрустальных графинах.

Не обошлось и без древних национальных обычаев гостеприимства, от которых белого человека может бросить в холодный пот. Бараний глаз, вынутый пальцами из жаренной головы, подносится самому дорогому гостю,

как выражение наибольшего к нему уважения. Самым дорогим гостем, к моему счастью, сочли беднягу Сулькина, растерявшегося и лишившегося дара речи, узрев сквозь пьяную муть, что ему собственноручно сует в рот жирными, мокрыми пальцами сам хозяин, министр культуры Казахстана.

Сулькин, хоть и невзрачный с виду, но стойкости оказался богатырской. Он проглотил скользкую гадость — бараний глаз и не сблевал в широкоскулое лицо гостеприимного хозяина. Меня бы вывернуло наизнанку. Я проникся уважением к Сулькину.

Но у барана — два глаза и второй, вероятней всего, предназначался мне. Выручил из беды Сулькин. Он поднялся, словно заяц во хмелю раскачивая в нетвердой руке рюмку и расплескивая коньяк на скатерть, и заявил, что хочет сказать речь. Казахи стали аплодировать ему лоснящимися бараньим жиром ладонями и громче всех красавица Зейнаб, жена министра.

Сулькин качнулся вперед и изрек:

— Дорогие товарищи узбеки...

Стол онемел, скуластые лица окаменели. Бóльшего оскорбления Сулькин не мог нанести казахам, как назвав их узбеками, коих казахи почитали хуже собак. За это могли убить, растерзать.

Даже красавица Зейнаб изменилась в лице и стала бледной. Я поспешил на выручку бедолаге Сулькину:

— Товарищ Сулькин оговорился. Мы же находимся не в столице Узбекистана.

— Верно, — согласился Сулькин и, исправляя ошибку, повторил обращение к гостям:

— Дорогие товарищи киргизы...

Сдавленный стон прошел над столом, над обглоданными бараньими костями и кровавыми пятнами пролитого на скатерть коньяка.

Назвать казахов киргизами мог только злейший враг казахского народа. Тучи нависали над взъерошенной и потной головой Сулькина.

Умная Зейнаб спасла от расправы московского гостя.

— Товарищ Сулькин чересчур много выпил, — сказала она, поднявшись и обнимая за плечи незадачливого оратора. — И он не может нести ответственности за всякую чушь, которую несет язык, переставший ему подчиняться. Я думаю, товарищу Сулькину самое время прилечь, отдохнуть...

— Нет, нет, — заупрямился Сулькин, которого Зейнаб попыталась оттянуть от стола. — Я скажу речь... Дорогие товарищи...

Тут уж я бросился на помощь Зейнаб, зажал Сулькину ладонью рот, и вдвоем мы поволокли его, брыкающегося, в спальню и уложили на хозяйскую двухспальную кровать под бархатным балдахином. Сулькин в костюме, сбитом на бок галстук и модных туфлях-мокассинах тут же уснул праведным сном младенца.

Дальше я тоже упился до чертей, но речей благозвучно не пытался произносить. Помню, мы с хозяином-министром очутились в его кабинете под портретами Ленина и какого-то казаха и я, хоть убей, не мог угадать, кто это такой. Раскисший от коньяка, я обнимал министра и даже лобызал его широкие скулы и слезливо спрашивал:

— Почему... скажи на милость... азиаты друг друга разорвать готовы... а уж русских... съели бы живьем?.. Почему? Какая ж это дружба народов... извини за выражение... и... и... какой, спаси господи, Интернационал?..

И министр отвечал незаплетающимся языком, ибо был здоров, как бык, и пил, как лошадь, и — хоть бы в одном глазу:

— Мы вас, русских, будем ненавидеть еще десять поколений. Вы принесли к нам в степи советскую власть...

— Постой, постой, — перебил я его. — А что тебе плохого советская власть сделала? Кем бы ты был без советской власти? Грязным пастухом и крутил бы баранам хвосты.

— А кто я теперь? — уставил на меня косые щелки министр. — Не пастух? Ваш русский пастух, который крутит казахскому народу, как баранам, хвосты и забивает им мозги глупостями, продиктованными из Москвы.

Тут уж я спьяну не нашелся, что ответить. Что ему ответишь, косоглазому? Режет под самый корень.

— Вы, русские, — продолжает, — нам в тридцатые годы принесли колхозы, отобрали у казахов-кочевников весь скот, овец и лошадей, и бросили на голодную смерть в степи. Ибо казах хлеба не сеял, а питался исключительно мясом и молоком. Не стало мяса и молока, скот угнали в колхоз, и вся степь покрылась трупами. Казахи целыми семьями умирали с голоду, и некому было хоронить умерших. Юрты стояли пустыми. Орлы-стервятники кружили над степью.

Это был геноцид (даже и такое словечко знал этот казах, все-таки министр культуры!). Шесть миллионов мужчин, женщин и детей за один год умерли от голода, и народ наш уменьшился наполовину.

Меня, хмельного, прошибла слеза от этих слов и у него из глаз-щелок покатались слезы. Я, как наяву, увидел степь, усеянную трупами. Усохших младенцев на руках у мертвых матерей. И орла-стервятника, описывающего круги над младенцем, норовя ему выклевывать глаз. И похож этот орел в профиль на товарища Сулькина.

Проснулся я в гостинице в своей постели с похмелья с чугунной головой. Под утро казахи завезли меня сюда почти беспамятного от армянского коньяка.

Проснулся я от того, что кто-то грубыми шершавыми пальцами сдавил мое горло. Я открыл глаза и задохнулся от страха: надо мной близко, так что в нос шибануло несвежим дыханием, склонилась разбойничья широкоскулая маска, застывшая, с захмуренными щелочками глаз, плоским раздавленным носом и оскаленным в жуткой улыбке ртом с редкими и гнилыми зубами.

Я напугался до смерти и с трудом пришел в себя, когда маска, гортанно смеясь, представилась личным шофером министра культуры, которого товарищ министр послал разбудить меня и доставить в его машину внизу, в которой министр дожидается меня. Мы едем в горы на охоту. Я облегченно перевел дух. Шершавые пальцы на моем

горле показались мне бредом моего мутного от алкоголя воображения.

Когда я брился в ванной, а шофер, скаля в улыбке редкие зубы, почтительно дожидался меня в комнате, я увидел в зеркале под своей опухшей гнусной физиономией... темные следы подкожных кровоподтеков на шее, неумолимо подтвердившие, что меня действительно душили в постели. Но я тут же отогнал эту мысль. Мало ли где я мог удариться шеей, если был до того пьян, что не помню, как меня доставили домой. Припудрив синяки на шее, я спустился с шофером вниз.

У подъезда гостиницы дожидалась черная «Волга» с белыми занавесками на окнах — верный знак принадлежности машины важному руководящему лицу. Мы не любим, чтобы руководимый нами народ мог заглядывать во внутрь наших персональных автомобилей и встречаться с нами глазами.

На переднем сиденье, рядом с шоферским местом, сидел министр, аккуратно выбритый, со свежим отдохнувшим лицом, без какого-нибудь следа вчерашней пьянки. Его узкие глазки пытливо и цепко осмотрели меня, когда я садился на пустое заднее сиденье:

— Ну, и здоровы вы пить, — сказал он, не оборачиваясь ко мне, а глядя на меня в шоферское зеркальце, когда «Волга» отъехала от гостиницы. — Даже меня перепили. А я редко пьянею. Вчера сорвался...

— Да нет, что вы... — запротестовал я. — Это я упился, свинья-свиньей, а вы были свежи, как огурчик.

— Неужели? А вот я даже не помню, о чем мы с вами болтали, удрал от гостей в мой кабинет. А вам память не отказала?

Из зеркальца на меня был устремлен острый, как нож, взгляд косых прижатых скулами глаз.

— Я абсолютно ничего не помню... — поспешил ответить я. — Последнее, что помнится, это глупая речь Сулькина за столом... Дальше — мрак... Кстати, как он, Сулкин? Я даже не успел заглянуть к нему в номер.

Узкие настороженные глазки в шоферском зеркальце

немного оттаяли, видать, удовлетворенные моим ответом, и даже нечто вроде улыбки мелькнуло в них.

— Товарищ Сулькин? Да, не умеет пить товарищ Сулькин. Хоть и прекрасный работник и заслуживает всяческого уважения, но пить — это не его сфера деятельности. Я не стал его тревожить. Пусть поспит у меня дома, отлежится. Подальше от любопытных глаз. А то ведь недолго нарваться на любителя анонимок... Этой публики у нас хватает, и — готов донос в Москву...

Я понял, что это предостережение и мне.

— А где ваша супруга? — как можно любезнее осведомился я, понимая, что мне надлежит быть поосторожней.

— Мы за ней заедем?

— Что вы? Зейнаб умрет при виде крови. Охота — не дамское занятие.

Машина выехала из города, и по асфальтовому шоссе с необычно большим числом регулировщиков мы нагнали длинный караван черных «Волг» с белыми занавесками, пристроились к колонне под рев сирен милицейских машин, понеслись на недозволенной скорости в горы, белевшие снежными вершинами далеко впереди.

Я откинулся на мягкое сиденье. Передо мной маячили два затылка, оба плоские, с короткими жесткими волосами, затылки министра и его личного шофера с разбойничьей физиономией. Эти затылки были враждебны мне. В шоферское зеркальце я старался не заглядывать, чтобы не напороться на колючий холодный взгляд.

Моя память заработала, как часовой механизм на mine замедленного действия. Из туманных закоулков мозга выплывали, принимая все более четкие очертания, обрывки фраз и обстановка домашнего кабинета министра культуры, где он вчера ночью, изрядно перепив, изливал мне душу. Теперь я начинал все явственней понимать, почему он так обеспокоен и старается узнать, застряло ли в моей памяти что-нибудь из сказанного им спяну... Я за собой часто наблюдал это свойство: восстанавливать по памяти услышанное, хоть сквозь сон, хоть по пьянке, словно разматывая магнитофонную ленту.

Вчерашняя ночная запись стала проворачиваться в моей голове.

— Знаете, за что мы вас, русских, ненавидим? — шурысь на меня из-за клубов табачного дыма говорил министр. — И даже не за то, что вы голодом уморили половину нашего народа в тридцатые годы. И даже не за то, что в двадцатые годы, когда вы у нас устанавливали советскую власть, красная кавалерия Буденного сжигала кишлаки и аулы, и под предлогом охоты на басмачей, которые были партизанами и отстаивали свои горы и степь от русских, рубили любую голову, если у нее были скулы и узкие глаза.

Мы вас ненавидим даже не за это. Мы вам не можем простить, что вы захватили богатейший кусок планеты, размером больше половины Европы и намного богаче ее. У нас есть все. И золото, и медь, и цинк, и свинец. И железная руда, лучше шведской, и каменный уголь лучше немецкого. И нефти — подземные моря. Наши степи могут накормить хлебом мир посытней, чем Австралия и Аргентина. Я уж не говорю о мясе — нашем главном богатстве.

Все это вы прибрали к своим рукам. Заселили наши города русскими, ссылаете сюда, как в ссылку, чеченцев и ингушей, немцев Поволжья, украинцев и всех других, от кого хотите избавиться. Так что коренное население — казахи совсем растворились в этом Вавилоне. И как в награду, за терпение, в компенсацию за грабежи, таких, как я, назначили на почетные и сытые посты, сделав из нас марионеток и ширму для вашего колониализма. Казах-министр — это пустой звук, попугай, повторяющий чужие слова, раскормленный азиат, которого балуют персональным автомобилем и дают бесконтрольно обжираться, а правит, руководит за его спиной заместитель, обязательно русский. И он-то является здесь хозяином. Я же нужен лишь для того, чтобы подписать составленные им бумаги.

Теперь мы — никто в своем доме. Мы — декоративное украшение. Поэтому столько лицемерного внимания уделяется национальным ансамблям песни и пляски с парче-

выми халатами и меховыми шапками. Поэтому по радио с утра до ночи исполняются казахские песни, которые никто не слушает. Большинство населения ведь чужие и наша музыка, наши песни вызывают у них лишь ухмылки. Мол, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.

А костяк нашего народа — не горсточка, которую вы посадили на водевильный трон министров и академиков, кому вы сунули в руки музыкальные инструменты и деньги, и велели играть и плясать под вашу дудку, а те коренные степняки, пастухи, кому эта земля принадлежала веками, остались темными невежественными кочевниками и крутят хвосты баранам, мясо которых вы поедаете. Вот этого мы вам никогда не простим. И настанет час — потребуем счет.

Ведь не всегда мы были под вашей пятой. Наша история богаче вашей. Про Чингис-хана слышали, небось? Перед этим завоевателем трепетала не только ваша Русь, но и вся Европа становилась на колени. А кто был авангардом в его орде? Лихие джигиты-казахи. Нас тогда называли кипчаки. Краса монгольского войска. Наши кони топтали ваши нивы. Вы раболепно платили нам дань. Наши сабли рубили ваши покорные шеи. Наши молодцы угоняли в плен ваших сестер и дочерей и те, не ломаясь, услаждали их любовью и ласками. По всей России до сих пор в каждом втором славянине проступает наша азиатская кровь, которую мы вам накачали во все щели, когда вы триста лет лежали ниц перед нами.

Вот это выложил мне вчера казах-министр, разгоряченный коньяком и взбешенный речью московского гостя Сулькина, который даже не удосужился запомнить, куда он приехал и для которого, что казах, что киргиз, что туркмен — все на одно лицо — азиаты.

Видать, так его припекло, что не удержался, сорвался с цепи и все выпалил мне. Русскому. Завоевателю. Благо, видел, что я в стельку пьян и ничего не запомню. А сейчас жалел. И боялся меня. А вдруг в моей памяти что-нибудь застряло? Тогда ему грозят большие неприятности.

Я столкнулся в зеркальце с его взглядом. Вернее, он

поймал мой и вонзил в меня свои колючие зрачки, сиюсья угадать мои мысли. В его взгляде я уловил ненависть и... страх. Мне стало не по себе. Захотелось домой. Увидеть свои, русские лица.

Этот казах вчера преподавал мне урок национальных взаимоотношений в нашей стране, кичащейся монолитной дружбой народов. Лучше пусть думает, что я ничего не помню, твердо решил я, чтобы не испытывать судьбу. Кто знает, что замышляет эта скуластая косоглазая голова, охваченная страхом за свое откровение и болтливость?

Он меня боится и подозревает. Поэтому сам заехал за мной в гостиницу и везет на охоту в своей машине, хотя среди участников совещания были лица рангом повыше меня и к ним, а не ко мне, должен был в первую очередь проявить внимание казахский министр. Он взял меня под свою опеку, и не упустит, пока не убедится, что я безопасен. Я стал насвистывать, изображая полную беспечность, даже пытался рассказать анекдот. В ответ из зеркала я не увидел улыбки.

Между тем караван черных «Волг» вползал в горы по серпантину шоссе и азиатская жара сменилась холодом. Мне сделалось зябко, руки покрылись гусиной кожей.

Что такое правительственная охота для меня было открытием. Я тоже имел охотничье хозяйство, подчиненное непосредственно Москве, и туда изредка наезжали важные особы со своими иностранными гостями и многочисленной охраной. Этим горе-охотникам наши егеря подставляют под пули красавцев-олений, с двух сторон держа их на тонких веревках, зацепленных за рога. Олень стоит, как распятый, как мишень в тире, а егеря прячутся за стволами сосен, выбирая ствол потолще, чтобы в них самих не угодила картечь или пуля незадачливого высокопоставленного стрелка.

И здесь в казахских горах хозяева не отличались выдумкой. Круторогих горных козлов — сильных и красивых животных, обычно пребывающих на недоступных скалах, местные егеря загнали в ущелье с совершенно отвесными стенами, упирившееся в тупик. Козлы оказа-

лись в западне, откуда не было выхода и, сделав несколько бессмысленных отчаянных прыжков и сорвавшись с каменных круч вниз, покорились и стояли кучкой, выставив рогатые головы и нервно подрагивая густой шерстью.

Это был расстрел, экзекуция. И я до сих пор не могу понять, какую радость находят в этом люди, чье положение обязывает их быть более разборчивыми в развлечениях.

Гостей, которых здесь, в горах, переодели в теплые куртки и шапки, вооружили тульскими ружьями с уже загнанными в магазины патронами, расположили наверху по обеим сторонам узкого ущелья, настолько узкого, что мы могли видеть друг друга отчетливо.

Охота должна была начаться по команде. Я сидел на камне у края ущелья, прислонившись спиной к стволу сосны, и грелся на солнце, положив ружье на колени. Я и не собирался стрелять. Думал просто пересидеть этот обязательный водевиль с кровью.

Раздалась громкая команда и торопливо захлопали выстрелы. Внизу послышалось жалобное блеянье. Я уж было хотел подняться, чтобы уйти, но какая-то сила бросила меня плашмя на камень, и я растянулся, уронив ружье и втянув голову в плечи. Мое ружье, ударяясь о выступы скалы, упало вниз, на дно ущелья, где бились в последних судорогах черные козлы, задрав к небу копыта.

У самой моей головы просвистела пуля. Я опытен в этих делах, четыре года на фронте провел и могу угадать свист предназначенной мне пули. В стволе дерева образовалась рваная дыра и куски коры запорошили мою спину.

Мог последовать второй выстрел. Благо, звуковое прикрытие продолжалось: некоторые, не в меру ретивые стрелки, сажали пулю за пулей в свалившихся и испустивших дух козлов. Не поднимая головы, попластунски, я отполз за ствол сосны и оттуда огляделся. На другой стороне ущелья, как раз против меня, стояли с ружьями в руках министр и его шофер. Они, должно быть, уже отстрелялись и теперь, прикрываясь от солнца ладонями, шурились в мою сторону — искали мой труп. Так думалось

мне. Но когда я, чтобы испортить им радость, показался из-за сосны живым и невредимым, они не только не огорчились, а наоборот, стали громко смеяться:

— Ай-яй-яй, какой охотник! Уронил ружье в ущелье. За такую неудачу мы вам преподнесем самый лучший кусок шашлыка, который сейчас будут жарить.

Я не мог ничего сообразить. Мне ведь ничего не показалось. Да и след от пули на сосне. Но и министр, и его шофер никак не выглядели убийцами.

За шашлыком, у жаркого костра, на котором, потрескивая в жиру, плавилась на шампурах куски козлятины, министр сидел со мной, подливал в мой стакан коньяку и был приветлив и внимателен, как с хорошим знакомым, и смотрел в глаза искренне и дружелюбно. Сделав несколько глотков, я отставил стакан. Коньяк не шел. Застывал в глотке. Я был совершенно подавлен, и со стороны выглядел нелепо и смешно. Окружающие приписали это неудаче с ружьем и незлобно подтрунивали надо мной. Понемногу мне стало казаться, что после вчерашнего перепоя у меня что-то не в порядке с головой и начинаются галлюцинации.

Я вернулся в гостиницу с мучительным желанием никого не видеть, а наглухо запереть двери, зарыться в постель и уснуть. Но стоило мне повернуть ключ в замке, как снаружи, из коридора раздался стук в дверь и голос Сулькина:

— Я весь день ждал вас. Откройте, пожалуйста. Мне необходимо с вами поговорить.

Сулькин вошел ко мне, подергивая плечами, словно от холода, хотя было очень жарко и в комнате стояла духота. Он напоминал вьерошенного воробья, и лицо его приобрело нездоровый землистый цвет.

— Вам нельзя пить, — посочувствовал я, запирая дверь на замок.

— Мне нельзя пить, — согласился он, тяжело опустившись в кресло и сухими костлявыми пальцами стал протирать глаза с такой силой, словно хотел вдавить их под

череп. — Со мной случилась беда. Я влип в гадкую историю.

Сердце мое учащенно забилось. Я сразу догадался, что с Сулькиным проделали нечто гнусное в доме министра, где он оставался ночевать.

— Я могу вам доверять? — спросил Сулькин, уставившись на меня опустошенным и отчаянным взглядом. — Вы мне кажетесь порядочным человеком. Я нуждаюсь в совете и рассчитываю на вас.

— Говорите, — сказал я. — Со мной можете быть откровенны. Мы — друзья по несчастью. Я тоже оказался под ударом.

— Хорошо, вы мне расскажете потом. Сперва я вам изложу, что со мной приключилось. Я буквально схожу с ума.

Вот, что Сулькин мне рассказал.

— Вы, должно быть, видели, как меня в одежде уложили на кровать в спальне министра. Я мельком запомнил, что был одет... и балдахин над кроватью. Это была супружеская кровать и ничего удивительного в том, что меня оттуда перенесли в другую комнату. Я этого не помню, был, буквально, без памяти. А проснулся раздетым, укрытым чистой простыней, голова покоится на мягкой подушке. Одним словом, я провел ночь в другой комнате на диване.

Проснулся я от того, что чья-то рука шарила под простыней и, добравшись до моего, извините за выражение, члена, стала ласково и нежно поглаживать его. Я открыл глаза и увидел... вы, конечно, догадываетесь... Зейнаб... то есть Зою... жену нашего уважаемого министра. Она стояла, склонившись надо мной, абсолютно нагая... голая... потому что прозрачная, как кисея, розовая накидка ровным счетом ничего не прикрывала. Она была красива какой-то дьявольской соблазнительной красотой. Волосы, как вороново крыло, черные с синим отливом, распущены по плечам, как грива дикого и прекрасного коня. Эти зеленые и... тоже дикие глаза. Две груди висели надо мной. Я

видел ее круглый как восточная чаша живот и соблазнительный уголок волос чуть пониже живота.

Я обомлел и буквально потерял дар речи. Смею доложить вам, я никогда не был дамским угодником и всю жизнь, не считая войны, когда у меня, как и у всех офицеров, случались интимные и быстро проходящие связи с малознакомыми женщинами, я прожил со своей женой и был ей верен. Я неопытен с женщинами, да еще с красивыми и, откровенно говоря, всегда их побаивался и старался держаться подальше. В такой ситуации я был впервые.

Она бестия, соблазнительная до невозможности, смотрит мне в глаза и будто привораживает... как удав кролика. А ручкой все поглаживает и я чувствую, как под ее теплой ладошкой возбуждился до предела. Мне ее захотелось мучительно... как будто от этого зависела моя дальнейшая жизнь. Такой вспышки желания я за собой не припомню, пожалуй, со студенческой скамьи.

Не соображая, что я делаю, я протянул к ней, как за милостыней, руки, и на мои ладони легли обе ее груди. От наслаждения у меня волосы зашевелились на голове. Буквально. Клянусь честью. Вот такое, понимаете, дьявольское наваждение. И тогда она раскрыла свои прелестные губки, а они у нее, сознайтесь, какое-то чудо природы, венец творения... Пышут жаром, словно обугливаются на ваших глазах.

— Товарищ Сулькин, — говорит она, и голос ее чуть с акцентом прозвучал, как степной колокольчик... Вы видите, как я о ней говорю?.. Словно поэтом стал... до сих пор не могу выйти из-под ее чар.

— Товарищ Сулькин — вы мой друг?

Ну, что вы на это ответите?

— Конечно! — не своим голосом воскликнул я.

— Я так и знала, — удовлетворенно улыбнулась она и, клянусь честью, даже облизнулась, как кошка на сметану.

— Я вам нравлюсь?

Что за вопрос?

— Конечно! — повторил я, как попугай.

— Тогда я — ваша! Можете мной обладать, — и, развязав что-то у прелестной шейки, она вышла из своей прозрачной накидки, которая, соскользнув с плеч, розовой пеной легла у ее ног. — Мы с вами одни в доме. Нам никто не помешает.

Я был на грани обморока.

— Только услуга за услугу... — она облизнула свои губки и снова показалась мне кошкой с зелеными глазами. Это сходство усиливалось тем, что у нее на верхней губке очаровательные усики.

— Чем я могу быть полезен? — пролепетал я.

— А вот чем. В Москве на киностудии «Мосфильм» скоро начнут снимать фильм с женской ролью, о которой я мечтала всю жизнь. Фильм будет ставить режиссер... — и она назвала имя одного из самых известных наших режиссеров, прогремевшее на весь мир. Только он может вывести меня из провинциальной глуши на мировую арену. Это мой последний шанс. Но для Москвы я — ноль, никто... Лишь вы... если захотите... можете...

— Голубушка! — взмолился я. — Да что я могу? Я не директор студии и не в художественном совете! Я в этом, честно говоря, мало понимаю... Мое дело... финансы.

— Вот, вот, — сказала она. — Именно финансы. Поэтому вы можете все. От вас зависят бюджеты картин и целых студий! Они в ваших руках! Неужели вы этого не понимаете? И если вы лично попросите о такой безделице, как назначение на роль актрисы, директор студии да и режиссер будут счастливы хоть чем-то завоевать ваше расположение. Вы меня поняли?

— Но я подобного... никогда не позволял себе... это... неэтично... по крайней мере...

— А обладать чужой женой... этично?

Это был веский аргумент, и я был сражен. При этом она, чтобы не дать мне остыть, склонила свой ротик к моему члену, и так уж до предела воспаленному, и взяла губками головку... Клянусь честью! Не верите? Я о подобном слышал от моих сослуживцев и... считал это... высшей формой разврата. И вот сам этого удостоился... Знаете

ли, должен признать, небесное блаженство... ни с чем несравнимое.

— Я напишу письмо на студию... я буду настаивать, чтобы вам дали эту роль...

Я обещал ей, как в бреду, не отдавая себе отчета в том, что делаю.

— Не нужно писать, — сказала она, выпустив из губок головку. — Письмо готово, его нужно лишь подписать.

— Но я не могу подписать письмо... в таком состоянии... Я его даже прочесть не смогу.

— В таком случае я тоже не смогу, — распрямилась она, красивая, как восточная богиня, и сурово сдвинула соболиные бровки. — Прощайте, неблагодарный.

— Не уходите... Я согласен!

— Я не уйду, глупенький, — улыбнулась она. — Я лишь принесу письмо.

И, знаете, такого не бывало в моей жизни. Я подписал письмо, не читая. Дрожащей от возбуждения рукой. Она тут же спрятала письмо. И легла ко мне.

А дальше... дальше... я простоволосился... Стоило мне лишь лечь на нее, как я мгновенно сгорел... осквернив ее божественное тело и даже не достигнув цели...

Она убежала в ванную, потом вернулась... одетой и тонком милой хозяйки, словно между нами ничего не произошло, пригласила завтракать. Вот и все... Затем по телефону вызвала машину и избавилась от меня окончательно. А письмо, подписанное мною, и содержание которого я не удосужился прочесть, у нее. И скоро пойдет в Москву.

Он умолк и остался сидеть в кресле, сжав сплетенные руки между колен и глядя в пол.

Какая страшная баба! — сказал я.

— Вы можете мне помочь? — поднял он глаза и в них стояли слезы. — Советом... Я сам себе противен...

— Я подумаю, — пообещал я. — А вам нужно отдохнуть. Вы на себя не похожи. Подите к себе и... постарайтесь уснуть.

До вечера я не выходил из своей комнаты, сказавшись

больным, и поесть мне приносили из ресторана два молодых официанта-казаха, чем-то очень похожих на тех мальчиков-студентов, что обслуживали нас в доме у министра. Я не притронулся к еде и спустил все содержимое тарелок и даже чай в унитаз туалета, а сам довольствовался бутылкой кефира, перехваченной в буфете на моем этаже.

Дважды звонил министр и осведомлялся о моем здоровье, и я просил его не беспокоиться, сказав, что это лишь расстройство желудка от непривычно жирной и острой местной пищи. Министр посмеялся над нестойкостью русских желудков и обещал прислать казахское народное средство, проверенное веками кочевой жизни, — настой из степных трав, который как рукой снимет недомогание через час после приема первой дозы. Он также передал привет от жены, которая очень огорчена моим недомоганием.

Лекарство привез шофер министра. Он вошел ко мне мягко, по-кошачьи ступая в сапогах ручной работы, облежавших ноги, как чулки, и, ощерясь редкими и гнилыми зубами, тоже посетовал на мое недомогание и поставил на стол бутылку из темного стекла с куском кукурузного початка вместо пробки, воткнутого в горлышко.

— Хлебните стакан перед сном, — сказал он, уходя. — Немножко горчит, но запивать не надо. Будете спать, как убитый.

И при этом хитро прищурил глаза.

Я запер за ним дверь, тотчас же опорожнил всю бутылку в унитаз и спустил воду. Бутылку швырнул в мусорный ящик и тщательно с мылом помыл руки горячей водой. Полотенце, которым я вытер руки, тоже выбросил в мусор.

Всю ночь я ворочался с боку на бок, засыпал тревожно на час-другой и снова просыпался, преследуемый мыслью, что я что-то должен предпринять. А что конкретно? К утру в моей голове созрел план. Коварный и жестокий. Какой-то не русский, а восточный по своей злой мстительности.

Мой звонок застал Сулькина в постели и я, не раскрывая ему плана, сказал, что если он хочет благополучно выскочить из западни, в которую попал, то должен, не задавая лишних вопросов, отныне подчиниться моей воле и выполнять беспрекословно все, что я велю.

Сулькин, не раздумывая, согласился, назвав меня авансом «спасителем» и «голубчиком». Я охладил его пыл, сказав, что цыплят по осени считают, но тем не менее на девяносто процентов уверен в успехе. Поэтому слушайте мою команду и выполняйте ее по армейскому принципу, благо, оба мы — бывшие офицеры. Приказ командира — закон для подчиненного.

— Товарищ Сулькин, конференция кончается завтра, а мы с вами улетим сегодня в Москву.

— Но позвольте... — возразил он, — ведь есть порядок...

— Молчать, — оборвал я его. — Действуйте. Все оформление нашего отъезда и объяснение причин возьмете на себя. Можете сослаться на мое нездоровье. Билеты на вечерний рейс Алма-Ата — Москва должны быть у меня после обеда. Все! Приступайте!

Утреннее заседание совещания начиналось в девять часов. Следовательно, министр выедет из дома в половине девятого, и в этот ранний час Зейнаб еще можно будет застать дома. Я сбегал в буфет на этаже и наспех позавтракал бутылкой кефира, отпивая из горлышка, так как даже в буфете не доверял стаканам. За стойкой пялилась на меня щелками глаз дочь степей в белом халате буфетчицы и, должно быть, удивлялась некультурности высокого гостя из Москвы.

Без четверти девять я набрал домашний номер телефона министра культуры. Трубку, как я и полагал, сняла Зейнаб. Приятным и даже дружественным голосом она осведомилась о моем здоровье и я поблагодарил ее, сказав, что чувствую себя, как новорожденный после казахского народного снадобья, которое мне любезно прислал ее супруг. Зейнаб ничем не выдала своего удивления, а, на-

оборот, еще дружественней, и даже кокетливо, поздравила меня с выздоровлением.

Я для себя отметил, что она совершенно не в курсе моих отношений с ее мужем, — даже ей он не доверил своих опасений после ночных откровений со мной. Они действовали порознь. Как два матерых хищника, доверяющих только себе. И, возможно, во всей авантюре с Сулькиным министр не был замешан и, конечно, не мог даже предполагать, какой ценой жена выбила из него рекомендательное письмо на киностудию «Мосфильм».

Я спросил Зейнаб, есть ли в доме кто-нибудь еще, кроме нее.

— Никого. А что такое? — насторожилась она.

— Да, видите ли, мне бы хотелось с вами поговорить с глазу на глаз. Надеюсь, наш телефонный разговор никто не подслушивает.

— Я надеюсь, — согласилась она, и в ее голосе промелькнули тревожные нотки. — О чем вы хотите со мной говорить?

— Скоро узнаете, Зоя, — назвал я ее русским именем, каким она представилась мне, когда я приехал в их дом позавчера. — Дело касается вашего благополучия. Семейного. Над вами нависла страшная опасность, и я совершенно случайно об этом узнал.

— Что случилось? Говорите! — на другом конце провода улетучилось кокетство, уступив место неразмышляющему страху. — Я надеюсь, вы — мой друг? Вы меня предупредите?

— Зоя, я не хочу по телефону сообщать подробности, заботясь исключительно о вашей безопасности.

— Это что, связано с товарищем Сулькиным? — злая ирония прозвучала в ее голосе. — Он вам наболтал?

— Нет, дорогая Зоя, тучи, стущающиеся над вашей головой, никакого отношения к товарищу Сулькину не имеют. Все значительно сложнее. Могу лишь сказать, что кое-какие люди здесь, в Алма-Ате, собрали против вас неопровержимые улики и попросили меня передать их письменное заявление в Москву. Я ознакомился с этим доку-

ментом и могу вам определенно сказать, что если он предстанет пред светлые очи начальства в Москве, ни вам, ни вашему супругу не уйти от серьезной ответственности. В том, что у нее рыльце в пуху, и она замешана во множестве деяний, наказуемых уголовным кодексом, я не сомневался и на этом построил свой план атаки.

— Это письмо... у вас? — после затянувшейся паузы спросила она.

— Да. И поэтому я вам позвонил. Я ваш друг, Зоя. И мне бы хотелось уберечь вас от беды.

— Вы хотите, чтобы я к вам подъехала?

— Как вам угодно. Я всегда буду рад видеть такую очаровательную женщину.

В ее голосе снова зазвучали кокетливые уверенные нотки:

— Послушайте, дорогой, я и не подозревала, что вы такой джентльмен. Подобные мужчины нынче не часто встречаются. Я к вам еду. Ждите, дорогой.

— Только, Зоя, не пользуйтесь автомобилем мужа, а возьмите такси. И еще одна просьба...

Я нарочно умолк, испытывая ее.

— Что? — нотки тревоги снова пробились в ее голосе.

— Захватите, Зюсечка, письмо, которое вам Сулькин подписал. Я его ликвидирую. Так сказать, услуга за услугу.

— Хорошо. Я еду.

Она вошла ко мне в номер без стука — я оставил дверь приоткрытой, одетая в строгий костюм, без лишней косметики и украшений. Волосы были гладко зачесаны и стянуты тяжелым узлом на затылке. Без единого слова она вынула из сумочки вчетверо сложенный лист бумаги, протянула мне и села в то же кресло, в котором вчера исповедовался мне Сулькин.

Я развернул лист и пробежал глазами. Хитрая бестия! Как все заранее было заготовлено! Рекомендательное письмо Сулькина было отпечатано на машинке, и просьба была изложена в сдержанной, и в то же время не допускающей отказа, форме. Внизу был указан точный титул

Сулькина и оставлено место для подписи, которое бедняга заполнил нетвердой рукой.

У нее на глазах я медленно разорвал письмо на множество мелких клочков, которые сложил ворохом в стеклянную пепельницу и поджег спичкой. В пепельнице заплясал маленький костер.

— А теперь я жду ответного шага, — деловито сказала Зоя, испытующе и тревожно глядя на меня. — Это письмо у вас?

— У меня.

Я вынул из ящика письменного стола большой казенный конверт и с улыбкой помахал им в воздухе.

— Надеюсь, его постигнет та же участь? — она скосила свои зеленые кошачьи глаза на догоравшие в пепельнице клочки бумаги.

— Возможно. Это зависит от вас.

— Чего еще вам нужно?

— Того же, что вы предложили Сулькину. Вашего божественного тела.

— Ах, так? — Зоя заломила бровки над зелеными раскосыми глазами и встала с кресла, стройная, с крепкими бедрами, плотно стянутыми юбкой. — А в другой, менее оскорбительной форме этого нельзя было предложить?

— Нет, Зоя. Я ведь вам не предлагаю себя в любовники. Я моложе Сулькина и покрепче его. Я получу с вас то, что он по слабости не смог взять. Только и всего. Если вы не возражаете, то прошу занять удобную позицию.

— Какую? — от ненависти ко мне ее глаза настолько сузились, что утонули под припухлостями век, а ноздри тонкого носика затрепетали, как у породистой лошади.

— Так как мы не будем играть в любовь, то лучше всего вам не раздеваться, а только снять штанишки, задраить сзади юбку повыше и ладонями упереться в кресло.

Ноздри ее затрепетали еще сильнее. Она до боли прикусила нижнюю пухлую губу. Грудь высоко вздымалась и опадала.

— Жакет вы мне позволите снять?

— Зачем? Это лишнее. Сделайте, как я просил.

Зоя бросила на стол свою лакированную сумочку, нагнулась, обеими руками ухватилась за край юбки и подняла ее до поясницы вместе с черной шелковой комбинацией. Рывком руки стряхнула с бедер полупрозрачные с кружевной строчкой по краю трусики и, когда они легли на пол, переступила через них черными открытыми лодочками на тонких высоких каблукках.

— Прошу занять позицию, — жестом пригласил я ее.

С поднятой над бедрами юбкой она подошла к креслу сбоку, положила обе руки на поручень и, согнувшись, развернула передо мной гитарной формы мраморный зад.

Я рассматривал этот прелестный зад с медлительностью гурмана и она, не выдержав, скосила назад свой зеленый и узкий глаз.

— Долго еще ждать?

— У меня не стоит, — сказал я.

— Вы еще хуже Сулькина, — злорадно усмехнулась она, пребывая в той же позе.

— Вот-вот, я и хочу, чтобы вы, как и Сулькину, и мой взяли в рот и довели до нужной кондиции. Вы в этом деле мастерица, не правда ли?

Бог ты мой, как она меня ненавидела. Ее глаза сверкали такой лютой ненавистью, что когда она, опустившись на колени и расстегнув ширинку моих брюк, извлекла оттуда член и взяла его в рот, я не на шутку трухнул, как бы не откусила напрочь.

Но жена министра была слишком практичной и разум возобладал над чувствами. Она умело, мастерски, облизала, поняньчила губами, языком и небом мой член, пока он не окреп и не вырос в размере и тогда, выпустив его из губ, снова стала раком, и я лег на ее зад и продвинул возбужденный и влажный член между ее ягодиц глубоко-глубоко, от чего она издала стонущий звук, а затем ухватившись рукой за тяжелый узел волос на ее затылке, больно потянул на себя и стал гонять свой член, как поршень, взад и вперед, проникая в самое ее нутро.

Когда я разрядился, наконец, извергнув, как плевок, в ее тело, она, повернув ко мне голову, деловито спросила:

— Все?

И, прихватив с полу трусики, побежала в ванную.

Я застегнул брюки и уселся в кресло, слегка оглушенный, но с чувством большого удовлетворения. Это был и секс высочайшего класса и в то же время глумление, откровенная месть, наказание плотоядной и расчетливой хищницы, которая этого вполне заслуживала.

Она вернулась из ванной снова причесанная, костюмчик без единой складки красиво облегал это тело, которым я только что обладал, и протянула руку:

— Письмо.

Я отдал ей конверт и, сдерживая улыбку, наблюдал, как она торопливыми движениями пальцев разорвала его верх и извлекла лист бумаги. Абсолютно чистый лист бумаги.

Она подняла на меня недоумевающие глаза. И тогда я захохотал. Громко. С наслаждением. Упиваясь ее растерянностью и беззащитностью передо мной.

— Подлец! Какая низость!

Из глаз ее брызнули горькие слезы обиды.

— Долг платежом красен, Зоя. За подлость рассчитываются подлостью. Я тебя проучил. Думаю, урок пойдет впрок.

— А... как насчет опасности... которая нависла над моей семьей? — она смотрела на меня остекленевшим взглядом и сразу стала жалкой и даже некрасивой. — Это... тоже неправда?

— Все — неправда, — успокоил я ее. — Я тебя разыграл. А теперь езжай домой. И впредь будь осторожней и... порядочней. Если сможешь.

— Я бы вас убила, — простонала она, сжимая кулачки и тряся ими перед моим лицом.

— Все! — Я открыл ей двери. — Марш отсюда!

Я стал укладывать вещи в чемодан.

Не прошло и получаса, как раздался телефонный звонок. Очевидно, Сулькин, подумал я, доложит о билетах. Но вместо Сулькина в трубке послышался истеричный голос Зои:

— Послушай, негодяй! Ты ловко все сделал! Но теперь тебе не отвертеться!

— Что такое? — не понял я. — Вы о чем?

— Не понимаешь, сволочь? Еще прикидываешься? Так слушай! Ты меня нарочно выманил из дому. И ты действительно знал, что над моим домом нависла опасность. Потому что сам все спланировал.

— Что за чушь? — пытался понять я.

— Пока я была у тебя, подонок, в мой дом пробрались воры и очистили его. Две каракулевые шубы, серую и черную, норковое манто, бобровую шубу мужа... И все драгоценности... кольца... колье... браслеты... серьги... Это — все, что я имела. Все до копейки! Ты, ты... это сделал! И можешь не отпираться... Милиция выяснит... Я сейчас же звоню туда.

Я сидел как оглушенный. Какая-то мистика. Невероятное до жути совпадение. Я, хоть и в шутку, но действительно предрек, что над ее домом нависла опасность. В самом деле получается так, что выманил ее из дому, продержал у себя ровно столько времени, сколько понадобилось ворами, чтобы сделать свое дело. Если Зоя все это изложит милиционеру следователю, мне будет очень трудно, почти невозможно доказать свое алиби. А кроме всего, тогда непременно всплывет моя неприглядная авантюра, когда я шантажом вынудил женщину против ее воли отдаваться мне.

Я влип по самые уши и не видел никакого спасения. Долго просидел я в кресле, пытаюсь хоть что-нибудь сообразить. Ага! Зоя слишком расчетлива, чтобы даже при таком нервном расстройстве подорвать мину под собственными ногами. Ну, хорошо, меня она с кашей съест, упечет в тюрьму, в Сибирь, на каторгу. Но и сама-то не сможет выйти целехонькой, рассказав всю правду. Муж-министр оставит ее. Да и сам он после такого скандала не удержится в министерском кресле.

Я бросился к телефону и торопливо набрал Зоин номер. Она не сразу сняла трубку. Голос ее был неузнаваем. Сла-

бый, еле слышный. Будто из нее выпили все жизненные соки.

Мое предположение оказалось верным.

— Я не тебя пощадила, — сказала она, — а себя и своего мужа. Сейчас прибудет милиция с собаками и будет искать воров. Может быть и найдут. Уезжай отсюда. Чтоб я тебя больше не видела.

И положила трубку.

Тут уж я заметался. Скорей! Скорей бежать отсюда. Забыть, как ночной кошмар. К счастью, скоро явился Сулькин с билетами. Я велел ему быстро собраться и, схватив чемодан, бросился к лифту.

У подъезда ждала черная «Волга» с белыми занавесками на окнах. Личный шофер министра, улыбаясь и открывая редкие и гнилые зубы, церемонно расшаркался передо мной и распахнул дверцы автомобиля.

— Нет! — закричал я. — Не хочу! Уезжайте! Я поеду на такси!

К величайшему недоумению шофера и подоспевшего Сулькина я категорически отказался от услуг министерского шофера и успокоился лишь тогда, когда черная «Волга» отъехала, обдав нас с Сулькиным едким облаком выхлопных газов.

В аэропорт мы приехали на такси. Сулькин молчал и ни о чем не расспрашивал. Он был полностью погружен в собственные переживания: я уже сообщил ему, что рекомендательное письмо отнято у Зейнаб и ликвидировано.

Я все время тревожно оглядывался, словно ожидая погони, и являл полнейший контраст умиленно-счастливому Сулькину.

Наконец, мы сели в самолет. Взрели реактивные двигатели и мимо с убыстряющейся скоростью понеслись постройки аэропорта, серебристые фюзеляжи самолетов на соседних бетонных дорожках. Мы взмыли в небо. Тогда я перевел дух и уже без страха огляделся вокруг.

— Все приходит на память Шурик Колоссовский, — сказал Лунин, ложась на диван и запахивая полы халата.

— Действительно, как эмблема нашей молодости. Роюсь в прошлом и все на него натываюсь.

Помню, ехали мы с ним в электричке за город. Шурик донашивал военную форму и в тот раз все боевые награды висели на кителе. Народ газеет на него. Герой! И красавец! У женщин слюнки текут.

Шурик мне кивает:

— Пойдем в другой вагон. Я — слепой, ты — мой проводной. Снимай шапку, будет полна денег.

Мы прошли в следующий вагон. Я держу в руке шапку, а другой веду Шурика. Он, дьявол, мастерски закатил глаза, одни белки остались, и своим баритоном так жалостно рвет душу, что весь вагон, и мужики и бабы, залились слезами, хоть к нищим слепцам тут привыкли с войны.

Он лежит, не дышит,

И как-будто спит,

Золотые кудри

Ветер шевелит, — пел Шурик.

Деньги посыпались в мою шапку дождем. И ни одного медяка. Все бумажками. Рубль. Даже пять рублей. Шурик потряс пассажиров. Такого красивого слепца они отроду не видали.

Мы прошли до конца вагона и шапка была полна доверху. Шурик нащупал добычу, удовлетворенно улыбнулся и рассовал по карманам. Потом обернулся к глотавшему слезы вагону и, вернув свои глаза в нормальное состояние, глянул на пассажиров синими зрачками. Вагон ахнул и загудел. Я подумал, что нас непременно станут бить.

Но Шурик своим громовым голосом пригвоздил пассажиров к местам:

— Вы! — рявкнул он. — Жалостливые! Милостыней отделались от инвалида, защитника отечества. А никто из вас не возмутился, почему человек, проливший кровь за вас, должен просить подавание? Даже мысль такая не родилась в вашем курином мозгу. Потому что вы, как были веками, так и остались рабами. И нравственность ваша подлая, рабская.

Должен признаться, что от таких речей пахло Сибирью. Но поезд подошел к станции, двери раскрылись, и я вытащил Шурика на платформу. Никто в вагоне не успел опомниться, как двери захлопнулись и поезд помчался дальше.

Я, чего греха таить, еле отклеил свои штаны от ягодиц. А Шурик стоит и этак грустно улыбается:

— Каждый народ имеет правительство, какое он заслуживает. Не помню, какой умный человек это сказал, но сказал он точно. Словно вырос в России. Пойдем, Саша, пиво пить. Денег мы с тобой собрали достаточно.

— Да уж точно, не уцелеть бы Шурику, не повесься он сам, — вздохнул Зуев.

— А мы-то как сохранились? — Лунин обвел приятелей испытующим взглядом. — Подличали? Душу продавали?

— Кто как? — пожал плечами Астахов.

— Хочешь сказать, что ты прошел чистеньким? — спросил Зуев, ехидно щурясь.

— За нашу сохранность, — задумчиво сказал Астахов, — мы, если и не платили откровенной подлостью, то все равно отдавали часть своей души. Подторговывали ею. А это тот вид торговли, при которой не богатеешь, а беднееешь, оскудеваешь. Надуваешь сам себя. Хотите послушать? Не устали?

— Валяй, — принял удобную позу Зуев.

РАССКАЗ АСТАХОВА

В этой истории, последствия которой заметно отразились на жизни каждого, кто оказался в ней замешан, был классический треугольник — двое мужчин и она. Для начала я вам представлю мужчин. Ваш покорный слуга и Вольф Гольдберг — талантливый молодой врач, еврей, как вы можете судить по имени, но с обликом типичного

немца. Этот немецкий облик во многом определил его судьбу.

Мы были с ним приятелями, и это началось после того, как он меня выходил из почти безнадежного состояния. И еще сближало нас сходство жизненных путей. Оба воевали, а потом были инструментами нашей экспансионистской политики, он — в Германии, а я — в Литве, и оба, как и водится в таких случаях, стали жертвами этой политики, попав на одном из поворотов под ее тяжелые, не знающие сентиментов, колеса.

Вольф был, действительно, вылитый немец. Даже, я бы сказал, баварец. Полный, чуть одутловатый, с постоянным румянцем на пухлых щеках, который бывает от чрезмерного потребления пива, светловолосый, с серыми пуговками глаз. И немецким языком владел в таком совершенстве, что по-русски разговаривал медленно, слово за словом, будто каждое переводя в уме. А владел он немецким как родным, потому что долго был советским тайным агентом в Германии. В середине войны его отозвали из морской пехоты, где он немало хлебнул в боях на Северном Кавказе, привезли в Москву в Военный институт иностранных языков на немецкое отделение, где он прошел ускоренный курс обучения и, проявив недюжинные способности, за год блистательно овладел языком, и после короткой подготовки в специальном лагере был брошен в Германию, уже издыхавшую в последних конвульсиях. Война близилась к концу. Союзники с двух сторон сжимали пресс, и нацистский режим вот-вот должен был лопнуть.

Сталин, по Ялтинскому договору отторговавший под свой контроль большую часть Германии, предпринимал заранее шаги, чтобы круто повернуть симпатии дисциплинированного немецкого населения от фашизма к коммунизму. Вольфу Гольдбергу и его коллегам в этой операции была отведена роль ускорителей химической реакции в процессе промывки мозгов. По легенде и состряпанным в Москве документам он был немецким коммунистом, чудом уцелевшим в лагере уничтожения. Из таких людей со-

ветские оккупационные власти в Германии формировали первые органы немецкого самоуправления, которые потом и взяли власть в свои руки, приведя страну под контроль коммунистов. Среди первых функционеров было множество липовых немцев, таких, как Вольф Гольдберг, и они свое дело сделали, заложив фундамент нынешнего верного союзника Советского Союза — Германской Демократической республики.

Этими липовыми немцами — костяком новой власти управлял из Берлина штаб, называвшийся в ту пору группой полковника Тюльпанова. Все инструкции Вольф Гольдберг получал оттуда.

Он пришел в толпе беженцев в город Дрезден, разрушенный до основания американскими бомбежками, здесь обосновался и, как немец-коммунист, был взят на учет советской военной комендатурой, не ведавшей — так глубока была конспирация — подлинной биографии этого «немца». Вольф стал строить новую Германию. Драл глотку на митингах, вербовал бывших нацистов, готовых ради спасения шкуры служить любому дьяволу, проникал все глубже в немецкие круги, где в нем видели своего человека, берущего реванш за свои прежние страдания и нынче быстро делающего карьеру при новом режиме. Он мог помочь, мог отстоять человека перед властями, и его дружбой дорожили, ее домогались самые различные люди, и круг его связей ширился и рос.

Группа полковника Тюльпанова была удовлетворена успешной деятельностью Вольфа Гольдберга и предложила ему для полного камуфляжа совершить еще один шаг — жениться на немке. Жениться легально, официально, зажить своим домом и чтоб жена ни в коем случае не могла усомниться в подлинности брака. Он же должен понимать, что для советского старшего лейтенанта Вольфа Гольдберга этот брак фиктивный и по завершении задания будет аннулирован без всяких юридических последствий для него. Так сказать, для пользы дела спи с этой немочкой, сколько тебе заблагорассудится, пусть она строит радужные планы семейной жизни, а будет приказ —

и ты испаришься, даже не сказав ей традиционного «прости, дорогая». Все хлопоты по улаживанию этого дела возьмет на себя всемогущая группа полковника Тюльпанова.

Чтобы добиться наибольшего эффекта, ему было велено жениться на немке из кругов, враждебных новой власти, и таким образом проникнуть в эти круги и постараться подчинить их, заставить служить новому режиму. Ему указали и невесту. Молодую и весьма привлекательную особу из старинного саксонского рода, вдову эссовского офицера, казненного в России за совершенные там преступления в период фашистской оккупации.

Эрна — так звали молодую вдову — была в нелегком положении. Тень покойного мужа, как клеймо, преследовала ее, а ее аристократическая родословная была не лучшей рекомендацией в новой Германии, объявленной коммунистами отечеством рабочих и крестьян.

Быстро идущий в гору коммунист Вольф Гольдберг, пострадавший за свои убеждения при Гитлере, был для Эрны подарком судьбы, счастливым лотерейным билетом, по которому она снова выходила в сливки общества, и из бездны, куда ее швырнуло поражение Германии в войне, снова возвращалась в ряды власть имущих. К тому же этот коммунист был симпатичным малым, хорошо воспитан, и в постели оказался прекрасным самцом, намного превосходившим ее прежнего мужа, отчего Эрна с чистой совестью могла признать, что никто другой, а только он, краснощекий Вольф, пробудил в ней настоящую женщину.

У них была свадьба со множеством гостей. Брак был зарегистрирован честь по чести в городском магистрате. Но это не все. Эрна убедилась, что он действительно ее любит и готов ради нее даже поставить под удар свою карьеру. Чтобы доставить ей радость, он согласился на очень рискованный шаг — они тайно обвенчались в сельской кирхе, и об этом знали лишь они двое и старый священник. И... вся группа полковника Тюльпанова, санкционировавшая этот тонкий трюк своего агента.

Супруги Эрна и Вольф Гольдберги счастливо зажили в отличной квартире, конфискованной у бывшего нациста, обставились дорогой мебелью и стали заметной и уважаемой парой в быстро складывавшемся эстаблишменте.

Она полюбила его страстно, вложив в свое чувство и женский и материнский инстинкты. Он стал для нее и мужем, и ребенком. Она захлебывалась от страсти по ночам, чуть не молилась на него, а днем баловала его как сына.

И он растаял. После жутких лет в морской пехоте, голодной жизни в военной Москве, лишений и опасностей, пережитых после ночного прыжка с парашютом в чужую и таинственную Германию, он впервые зажил как человек, впервые был согрет такой заботой и лаской. И, пожалуй, впервые после множества пустых и довольно грязных связей стал объектом горячей и искренней любви.

Он не заметил, как тоже влюбился. Он уже не мог спокойно уезжать по делам на несколько дней из Дрездена. Он стал скучать и рвался домой. Нелепо. Но квартира в Дрездене, уютное гнездышко, где его ждет Эрна, стало домом для этого бродяги, который прежде мог довольствоваться ночлегом под любым кустом и не очень страдал от отсутствия комфорта. Его очерствевшая душа отогрелась и оттаяла. Он познал любовь и почувствовал себя счастливым.

Одно омрачало счастье этой четы. Эрна страстно хотела иметь ребенка — плод их любви, но такой вариант не входил в сценарий, разработанный группой полковника Тюльпанова, и Вольфу, тоже ощутившему тягу к отцовству, приходилось идти на всяческие уловки, чтобы избежать появления дитяти, и тяжело страдать при виде слез в глазах Эрны.

Ни его шефы в Берлине, ни он сам не предполагали, что этот, в сущности, фиктивный брак — всего лишь нужное мероприятие в многосторонней деятельности агента полковника Тюльпанова, превратится в пылкую, горячую любовь, которая не так уж часто посещает бывалых людей. Наблюдая счастливую супружескую пару, в Берлине отдавали должное актерскому мастерству своего человека, и

в документах, посылаемых в Москву, отмечали его высокие профессиональные качества. Он был дважды удостоен правительственных наград, разумеется, без оповещения об этом в прессе, и ордена хранились в сейфе Центрального Управления в Москве.

Когда советская оккупационная зона по воле Сталина была объявлена суверенным государством и, невзирая на протесты союзников в войне с Гитлером, превратилась в Германскую Демократическую республику, группа полковника Тюльпанова была расформирована.

Вольфа Гольдберга, уважаемого гражданина Дрездена, важную персону в городском партийном аппарате, вызвали в Берлин и там, поблагодарив за успешную службу, объявили, что его миссия закончена и через два часа самолетом он отбывает.

— А как же Эрна?

— Какая Эрна? Ах, эта... так называемая жена? Ей мы сообщим, что вы погибли в автомобильной катастрофе, и пришлем ей подходящий труп в цинковом гробу, чтобы безутешная вдова могла в слезах утопить свое горе.

Вольф был раздавлен. Когда он попытался спорить, просить, доказывать, с ним перешли на официальный тон, холодно объяснили, что он дал подписку, нарушение которой влечет за собой тяжкие последствия и, наконец, обязан подчиниться приказу как офицер Советской армии, завершивший свою миссию за границей и возвращающийся на родину.

Эрну он даже не сможет повидать в последний раз. У него ничего не оказалось при себе, что могло бы хоть напомнить о ней, кроме крохотной фотокарточки для удостоверения личности, непонятно как затерявшейся в кармане его пиджака.

С этим он отбыл в Москву. Там ему торжественно, но в закрытой обстановке, вручили ордена, уплатили большую сумму в советской валюте, скопившуюся за годы безупречной службы за рубежом, и демобилизовали.

Первое время он чуть не свихнулся от тоски по Эрне и спасло его беспробудное пьянство, в котором он искал за-

бвения. Он спал со случайными женщинами, и пьяный, целуя их, называл каждую Эрной и пугал своих московских наложниц пылкими речами на немецком языке.

Потом образумился, взял себя в руки. Сказался живучий еврейский характер. От пьянства переметнулся в другую крайность — в науку. Как ураган ворвался в университет, стал штурмом брать медицину. Человек удивительно способный, он за год сдал два курса и с самыми лучшими аттестациями получил диплом врача и направление в Вильнюс в самое привилегированное лечебное заведение — спецполиклинику Центрального Комитета партии, где пациенты — партийная элита и члены семей, и где в одной из палат он столкнулся с полутрупом, спасти и оживить который отказались другие врачи, считая, что в данном случае медицина бессильна. Он из упрямства с ними не согласился и совершил чудо — поставил на ноги покойника, которым был ваш покорный слуга.

Таким образом пересеклись наши жизненные пути, и я полагаю, что обстоятельства, приведшие меня на больничную койку, а затем и в спасительные руки доктора Гольдберга, тоже представляют некоторый интерес.

Я уже говорил, что Вольф Гольдберг был хорошим инструментом, а потом и жертвой нашей имперской политики. С ним это случилось в Германии, так сказать, за границей, а со мной дома — в родном отечестве, в недавно присоединенной к Советскому Союзу Литве, вернее, поглощенной, и в короткий срок приведенной сталинскими методами в божеский вид, то есть, к общему знаменателю — нормальная советская республика в дружной семье братских народов СССР.

И тут инструментами сталинской политики были такие ребята, как я, и многие из нас за это поплатились. В том числе и я. Я еще счастливо отделался, как видите, сижу с вами и болтаю. А другие зарыты в литовской земле. С пулей в затылке, ножом между ребер или топором в черепе.

Литовцы — упрямейший народ. Сколько их? Горстка

по сравнению с такой махиной, как Россия. Но дрались, как черти. Пока совсем не обескровели. Их было легче убить, чем согнуть, поставить на колени.

Должен сразу оговориться, что я не имел прямого отношения к карательным экспедициям, к облавам и засадам. Это функция соответствующих органов. А я занимался партийной работой: подбирал и готовил кадры из местных людей, готовых служить советской власти, создавал колхозы. Тоже, доложу вам, веселенькое занятие. С запахом крови.

У меня сохранились два снимка, сделанные газетным репортером, который сопровождал меня в поездке по деревням. Я эти снимки храню для памяти о тех временах, но прячу от детей. Не хочу отвечать на их наивные вопросы, а еще больше, не желаю врать им.

Эти два снимка очень характерны для той поры. Нам надо было показать в газете, как литовские крестьяне, объединенные в колхоз, впервые сеют на общем поле. И такой снимок появился. Восемь зачуханных мужичков с плетеными лукошками, подвешенными через плечо, размашистыми движениями рук разбрасывают семена на черном вспаханном поле. Все восемь вытянулись в ряд и одновременно взмахнули правой рукой.

Получился впечатляющий снимок. Наглядный пример советской колхозной политики, раскрепощенный коллективный труд вчерашних мелких собственников и батраков. На лицах у всех восьмерых счастливые улыбки, удачно исполненные после дюжины репетиций под моим руководством.

Но тот же репортер сделал другой снимок, который в газете, естественно, не появился, а был мне подарен на память. Репортер чуть-чуть сдвинул камеру, и в кадр прямо за спинами улыбающихся сеяльчиков попали восемь угрюмых фигур с автоматами наперевес. Охрана. От «лесных братьев», чтобы не помешали фотографировать. А кроме того, дула автоматов удерживали новообращенных колхозников от соблазна улизнуть с поля.

Вот таким был этот край в пору событий, приведших

меня в руки доктора Гольдберга. А тут наступают выборы в Верховный Совет и нам спускают директиву: обеспечить максимальное участие литовского населения в этом мероприятии. Попробуй обеспечить! Литовцы — народ ушлый. Советскую власть вкусили лишь недавно, а до того жили в буржуазной республике, и что такое выборы знали хорошо, по крайней мере, то, что выборы предполагают выбор, а выбор можно сделать, когда предложено из чего выбирать. На советских выборах надо было выбирать одного депутата из одного кандидата. Литовцы считали участие в такой комедии унижительным для своего достоинства, и в день выборов исчезали из своих домов до глубокой ночи, чтоб их никакие агитаторы не могли разыскать.

Мне еще с одним таким же бедолагой, как я, поручили одну волость — раскиданные в лесу хутора, дали две переносных урны для голосования и пачки бюллетеней точно по количеству избирателей в этой местности. Даже пару бюллетеней лишних, на случай порчи или потери.

Сунулись мы с ним на хутора как коробейники — урны висят на животах, ремнями одеты на шею. Куда ни идем, на дверях — замок. Полдня таскались с хутора на хутор — пачки бюллетеней остались нетронутыми. Тогда мой напарник — он был из местных и опытной меня, говорит:

— Ты — свидетель, мы сделали все, что в наших силах. Они саботируют выборы и думают, что этим нас огорчат. Дудки, голубчики! Проголосуете, как миленькие, и завтра в газетах будет результат 99 и 98 сотых процента участия в выборах. Сто процентов — это уж чересчур, а так — достоверно.

Он взял пачку бюллетеней и один за другим просунул листки в щель своей урны. То же самое повторил я с другой пачкой. Даже перестарался — сунул лишние бюллетени, выданные на случай порчи отдельных экземпляров. И двинули искать телефон, чтобы рапортовать в центр: у нас, мол, выборы успешно завершены до срока. Начальство нас поблагодарило и сообщило, что мы не самые

первые, из других местностей еще раньше пришли подобные рапорты. Меня даже смех разобрал: не мы одни такие умники.

Потом мы с ним обедали в сельской закуской, крепко выпили и уж совсем пьяные обнаружили, что мы окружены крестьянами. Теми, кого мы тщетно искали весь день, и за кого сами проголосовали. Короче говоря, моего напарника убили, меня же стукнули по спине тупым предметом, как потом определила медицинская экспертиза, и бросили бездыханным на полу, полагая, что я тоже мертв. Но жизнь во мне теплилась — сердце досталось по наследству крепчайшее. Доставили мое тело в Вильнюс, покопались в нем врачи, развели руками: не жилец. И тогда на мое счастье вернулся из командировки доктор Гольдберг, осмотрел меня и не согласился со своими коллегами.

Через месяц меня выписали из госпиталя вполне здоровым, но очень бледным и худым. В остаточном диагнозе написали: острое расстройство центральной нервной системы. Проявлялось это расстройство в том, что я, взрослый мужчина, демобилизованный офицер, прошедший войну, беспричинно плакал, даже не стеснясь присутствия посторонних, и очень быстро уставал от любых движений.

Работать я не мог. Мне был нужен длительный отдых, абсолютный покой, и руководство постановило направить меня в санаторий. Не одного, а в сопровождении врача, который будет жить со мной в одной комнате и опекать. Две дорогие путевки были куплены за казенный счет: мне и доктору Гольдбергу, с которым мы за это время очень сблизились и подружились. Он был на несколько лет старше меня, больше повидал в жизни, слыл хорошим рассказчиком, и я полностью признавал его превосходство, не умаляя своего самолюбия, и добровольно довольствовался положением младшего и опекаемого. А если к этому присовокупить переполнявшее меня чувство благодарности спасенного к своему спасителю, то картина наших с ним взаимоотношений будет предельно яс-

на: я был даже немножечко влюблен в него и был счастлив, что он удостоил меня своей дружбой.

Отправились в Палангу — прелестный литовский курорт на Балтийском побережье. Соленое прохладное море с вечно пенным прибоем на мелководье, бесконечная полоса мягкого сыпучего пляжа, переходящего в высокие песчаные дюны, а за ним стеной — вековой сосновый лес, тенистый, с упругим мшистым ковром и зарослями кисло-сладкой малины.

Это был на удивление тихий, спокойный оазис в бурлящей кровавой пеной непокорной Литве. Здесь не было ни ночных выстрелов, ни засад на дорогах, ни облав. У береговой кромки проходила государственная граница СССР и вся местность контролировалась войсками МВД: «лесные братья» сюда и носа не показывали, паспортная система и пограничный режим отпугивали их глубже в Литву. Поэтому здесь стояла непривычная тишина, и те, кто сюда попадали, хмелели и шалели от свалившейся на них благодати и жадно урывали у жизни быстротечные радости.

Любовь, распутство, ненасытная похоть властвовали здесь, в этом заповеднике, огражденном штыками советских солдат от грубой и жестокой прозы обыденной жизни. Пир во время чумы.

Должен оговориться, что одним из главных запретов в длинном перечне иных, к которым я надолго был приговорен врачами, был абсолютный запрет на половую жизнь, обязательное воздержание до той поры, пока лечащие меня эскулапы не смилостивятся и не снимут этот запрет. Одной из обязанностей доктора Гольдберга, посланного со мной на курорт за казенный счет, был неусыпный контроль за моей нравственностью. Сексуальное наслаждение, минутная радость могут стоить мне жизни, привести к параличу сердца, — объявил мне мой друг и добавил, что не станет ходить за мной по пятам, как за ребенком, а рассчитывает на мой трезвый разум.

— Вы не похожи на самоубийцу, — улыбался мне румяными щечками доктор Гольдберг. — У вас высокая

коммунистическая сознательность. Вам представляется возможность со стороны наблюдать всю эту гадость, которая творится под каждым кустом и надолго приобрести устойчивый иммунитет.

И, должно быть, чтобы излишне не утруждать меня, доктор Гольдберг на собственном примере самоотверженно демонстрировал образцы порока, затопившего курорт. Это был удивительный покоритель дамских сердец. Хладнокровный, спокойный, циничный. С располагающей внешностью хорошо воспитанного интеллигентного человека. Ореол доктора особенно привлекал к нему женщин. Доктор женщинами воспринимается не совсем как мужчина, в нем они меньше всего предполагают угрозу своему целомудрию. С ним, не задумываясь, остаются наедине, забредают, беспечно болтая, далеко в лес. И вот, когда доверие завоевано и ему глядят в рот, он выпускает клыки самца-хищника и ошеломленной жертве даже не приходит в голову мысль о сопротивлении. Его безошибочная мужская хватка была отработана годами конспиративной деятельности в Германии.

Мы занимали с доктором чистенькую комнатку с двумя железными кроватями, разделенными ночным столиком со старомодным зеркалом — трельяжем. Дверь выходила на галлерею, опоясывавшую жилой корпус санатория.

После завтрака в большой столовой санатория доктор Гольдберг отправлялся со мной на пляж и, если море не было слишком холодным, мы плавали с полчаса, а потом нежились в дюнах на теплом песке. На этом доктор Гольдберг считал свои обязательства по отношению ко мне исчерпанными и покидал меня.

Я оставался один в окружении женщин, большей частью молодых и вполне привлекательных. Они загорали, обнажаясь до предела, охотно флиртовали с мужчинами, которых на пляже было значительно меньше, чем женщин, и бросали в мою сторону вопросительные и недоуменные взгляды.

Мое поведение казалось загадочным. Молодой, креп-

кого сложения мужчина, не урод, а, наоборот, весьма привлекательный, лежит в одиночестве на байковом одеяле, под широкополой соломенной шляпой, курит и читает, а если поднимет глаза от книги, то взгляд его равнодушно скользит по бронзовым женским телам, усеявшим золотистый песок в ленивой истоме и самых заманчивых позах.

Я разжег любопытство, и самые смелые стали по утрам располагаться возле моего излюбленного места, первыми заговаривали со мной, рассматривали на моих лопатках свежий розовый шрам, а мои вежливые, но односложные, ответы и то, что я не проявлял никакого интереса к женщинам, как они ни пытались его вызвать, только подливало масла в огонь. Я был загадочен, окружен тайной, и тем привлекал к себе еще больше внимания. Они не мешали мне, не были слишком назойливы, и у нас установились ровные приятельские отношения. Уже через неделю в дюнах сложилась постоянная группа из женщин и меня.

Доктор Гольдберг появлялся и исчезал. И каждый раз с ним уходила новая женщина, с которой на следующий день он лишь учтиво здоровался и больше не замечал. Мой лейб-медик бил рекорды: каждый день спал с двумя женщинами. С одной — до обеда, с другой — после. На следующий день выбирал очередную пару. Совершалось это им в нашей комнатке, когда я загорал на пляже, или же в лесу, куда доктор уносил для подстилки снятые с кровати одеяло и подушку.

Число соблазненных и брошенных доктором аккуратно росло с каждым днем, о нем уже шептались на пляже, в парке и в ресторане «Юра» — большом дощатом павильоне под вековыми соснами с джаз-оркестром, танцевальной площадкой посреди столиков, вежливыми и расторопными официантами, вкусной и недорогой пищей. Как это бывает в местах, где на ограниченном пространстве собирается много народа, праздного, сытого и с охотничьей страстью гонящегося за приключениями, фигура доктора-сердцеда оказалась в центре внимания. И моя тоже. Потому что я являл ему полный контраст своим каменным равнодушием к прекрасному полу.

Женщины начали охоту за мной. В море подплывали под меня и внезапно выныривали, хватаясь руками и прижимаясь скользкими телами. На аллеях в парке подсаживались на скамью, где я в одиночестве курил, заводили разговоры, как бы случайно клали ладонь на мое колено, делали комплименты моей нравственной чистоте, особенно заметной на фоне повального курортного разврата.

Я оставался непроницаем. И не только потому, что надо мной довели строжайшие предписания доктора Гольдберга. После того, что я пережил, побывав буквально на том свете, женщины перестали меня интересовать, и я не испытывал никаких чувств к ним. Доктор Гольдберг объяснил мое состояние разумной самозащитной реакцией организма, который порой бывает мудрее меня самого. А сам продолжал свою опустошительную деятельность, кружа как лев вокруг стада газелей и дважды в день вырывая оттуда по одной жертве, словно он хотел утолить гложущий его голод и никак не мог. Я бы даже не назвал это развратом. Опустошенный собственной драмой, разыгравшейся в Германии, он теперь отводил душу и глушил свое горе, нещадно растапывая чужие чувства, а свои отношения с женщинами подчеркнуто сводя лишь к голому сексу.

Болен был он, а не я, и я предвидел подсознательно, что эти его бесчувственные прыжки с одного женского тела на другое, как рывки от бутылки к бутылке впавшего в состояние запоя алкоголика, должны разразиться взрывом.

А тем временем одна из моих пляжных собеседниц предприняла неожиданный маневр и застала меня врасплох. Это была миловидная молодая литовка, но не больше, — жена быстро сделавшего карьеру туземного коммуниста, отдохавшая в санатории одна и довольно сносно болтавшая по-русски. Звали ее Марите. В море, подплыв ко мне, она сказала, что обнаружила в лесу, недалеко от пляжа, малинник, никем не тронутый. Там полно сладких зрелых ягод. Она никому об этом не сказала. Я — первый. И если я согласен, то мы можем быстро сбегать наесться малины.

Не чуя подвоха, я согласился и поплыл за ней вдоль берега, отдаляясь все дальше и дальше от галдящего пляжа и дюн, где осталась наша одежда.

Мы плыли долго и вышли на песок в безлюдном месте, пересекли дюны и углубились в лес. День был жаркий, и мы, не вытираясь, быстро подсохли на солнце. В лесу под соснами мягко пружинил мох, кружевная тень перемежалась с яркими солнечными пятнами. На кустах рдела сочная малина, и мы стали рвать горстями и с наслаждением заталкивать в рот ягоды, перемазав губы и подбородки красным как кровь соком. Насытившись, мы прилегли на полянке отдохнуть, и Марите стала гладить ладонью мои ноги, живот, затем просунула пальцы под резинку трусов. Я не шевелился. Меня разморило от сытости и тепла, мне было даже лень остановить ее. А она свое дело знала и очень быстро умелыми, точными движениями пальцев и ладони возбудила меня.

Она отдалась мне дважды на этой полянке. И ничего со мной не случилось. Сердце даже не дало перебоев. Не лопнуло. Напротив, я испытал наслаждение, как это бывало прежде, до того, как я попал в госпиталь.

Моему надсмотрщику доктору Гольдбергу я не рассказал о своем постыдном грехопадении, но про себя решил, что повторять прогулки за малиной с Марите не стану, — надо выполнять предписания врача.

Как и мы с доктором, Марите делила санаторную комнату с соседкой — совсем юным созданием, лет семнадцати, не больше. Звали ее Ниной. Приехала из Ленинграда. Была студенткой. На Нине стоит подробней остановиться, потому что в последующих событиях именно она стала центральной фигурой.

Как ее описать? Назвать красавицей? Это будет неточно, хотя она была восхитительно хороша. Но это была прелесть не женщины, а подростка, оформляющегося в девушку, без ярких кричащих красок, на одних полутонах, как влажный от росы бутон цветка, только приоткрывающий лепестки навстречу солнечным лучам и по еле улови-

мым признакам обещающей распусться ошеломительно яркой и сочной розой.

В ее красоте, в тоненькой фигурке уже был магнит, приковывавший взгляды мужчин, но взгляды эти были не похотливыми, а удивленно-восхищенными. В ней не было ни грамма вульгарности. Она светилась целомудрием, не показным, а естественным, как и ее движения, мягкие, пластичные, манера разговаривать без кокетства и скованности. Такими в кино изображают юных красоток-монашек, и я, когда в первый раз увидел ее с белым цветком в пышных волнистых волосах и модной в ту пору юбке колоколом, подумал, что ей еще больше было бы к лицу темное и строгое одеяние послушницы.

Мужчины — нагловатые, развязные курортные кобели, обалдевшие от постоянной охоты за новыми дамами, почему-то и не пытались ухаживать за ней, а лишь издали любовались Ниной, словно делая передышку, хватая глоток кислорода в удушливой атмосфере отпускного разгула.

Женщины, по обыкновению не терпящие чужой привлекательности, делали Нине исключение и любовались ею без зависти и без иронично прищуренных глаз. Так смотрят на дочь, намного превзошедшую красотой мать. А дамы постарше, которым ничего другого не оставалось, как посплетничать на скамеечках в аллеях парка, обласкивали ее взглядами, когда она проходила, шурша юбкой, открыто улыбаясь всем вокруг, и всласть упивались рассуждениями о том, что еще не весь женский пол так низко опустился, а еще сохранились редкие экземпляры непорочной чистоты и нравственности, как в их молодые годы.

У меня Нина тоже не вызывала иных чувств, кроме как желания долго не отводить от нее взгляда, словно увидел в музее вазу удивительной работы. Со своей соседкой по комнате Марите она приходила по утрам на пляж и стелила коврик в дюнах недалеко от меня, не участвовала в общем разговоре, а лишь умно слушала и наблюдала, улыбаясь глазами как раз тогда, когда и я улыбался или

чуть заметно закатывая их, когда и я не знал, куда девать свои от неловкости за кого-то, сморозившего глупость. У нас установился молчаливый контакт двух единомышленников. И я, грешным делом, подумал, что будь она старше на несколько лет, я бы плюнул на все предостережения врачей и полез бы из кожи вон, чтобы добиться ее благосклонности, и в не очень густой цепи моих мужских побед это был бы алмаз первой величины.

Повторяю, такие греховные мысли, даже если и приходили мне в голову, то тут же мгновенно испарялись из-за своей абсолютной абсурдности и нереальности. При самом смелом воображении я никак не мог представить себе это хрупкое воздушное создание, сотканное, казалось, из грез, а не из плоти, отдающимся мужчине, уступающим его грубым домоганиям, стонущим под его потным горячим телом. Мне казалось, что если бы это и случилось, она бы, как растоптанный цветок, завяла и умерла, не поднявшись с ложа.

Мои отношения с Ниной принимали все более дружеский характер, нам было легко и свободно друг с другом. Меня, все еще слабого, немножко потустороннего после случившегося со мной, пьянила и приятно возбуждала ее недосыгаемая близость, ее же, как мне казалось, привлекало во мне откровенное безразличие к женщинам, и поэтому она себя чувствовала в щекочущей безопасности со мной, даже когда мы оставались одни, почти обнаженные на горячем песке, закрытые от посторонних глаз золотыми гребнями дюн.

Нину знали все мужчины на пляже, но не смели к ней приблизиться, и любовались издали, не скрывая зависти ко мне. Один только человек нарушил добровольно принятое всеми табу — мой лейб-медик Вольф Гольдберг.

Уволакивая ежедневно по две новые жертвы на заклание и никак не насыщаясь женской уступчивостью и быстрыми, не запоминающимися ласками, доктор остановил свой воспаленный чувственным голодом взор на Нине. Вперился в нее и замер. Окаменел. Сразу растерял весь набор хорошо отработанных приемов по овладению

женским сердцем и превратился в обалдевшего упитанного мальчика с раскрытым ртом и удивленными пуговицами глаз, сраженного наповал первой стрелой Амура. Он трогательно немел, завидев Нину, и из остролова и светского балагура превращался в косноязычного провинциала, когда пытался заговорить с ней.

Бабник и опытный соблазнитель, бивший почти всегда без промаха и овладевавший женщиной с холодной рассудочностью и сноровкой мясника-хирурга, потрошашего безвольное тело, он влюбился весь, без остатка, и, как громом пораженный, превратился в беззащитное растерявшееся существо.

Мне он доверительно сообщил, смущаясь и краснея, что если Нина даст согласие, он хоть сейчас, в этот же день готов зарегистрировать с ней брак.

— Послушай, — сказал он, глядя на меня с тоской во взоре, — ты же у нас евнух, тебе слабый пол противопоказан. И Нина для тебя — нуль. Правда?

Я неопределенно пожал плечами, но потом все-таки кивнул.

— Так, вот, намекни, да потоньше, чтоб не вспугнуть... о моих намерениях. Сам я не решаюсь с ней заговорить. А потом мне скажешь.

Я не стал намекать Нине, а просто принялся нахваливать ей моего друга и покровителя, когда мы снова остались вдвоем в дюнах и лежали рядышком на горячем песке, каждый положив свою голову на сгиб локтя, но так, чтобы одним глазом видеть друг друга.

Нина, обычно слушавшая меня с интересом, на сей раз была невнимательна и даже закрывала глаза, словно дремала. Я обиделся и сказал ей об этом.

— Ну, не обижайтесь, — трогательно вытянув губки сказала она и дружески мне улыбнулась. — Неинтересно слушать о вашем друге. У вас он вызывает восторг, а у меня — отвращение. Потому что я — женщина и никак не могу заставить себя умиляться при виде розовощекого упитанного поросенка, готового вот-вот захрюкать.

Я прикусил язык и понял, что дальнейшие разговоры

бесполезны. Если доктор желает объясниться в любви, то для этого не пользуются посредниками, и пусть делает это сам, как умеет. Я сказал ему об этом, сославшись на то, что из меня сват никудышный, могу еще ненароком испортить все дело.

— Ладно, — засопел доктор, надувшись, и его голубые глазки-пуговки утонули в розовых щечках. — У тебя нет чувства локтя. Я б с тобой в разведку не пошел.

Как затравленный, нахохлившись, набычившись, ходил он большими кругами вокруг тех мест, где обнаруживал Нину, не смея приблизиться и заговорить. Однажды он осмелел и подошел ближе. Возможно потому, что увидел меня рядом с ней. Нина сидела на скамье в парковой аллее, и целая ватага молодых парней, как мотыльки на огонь, окружили скамью и наперебой болтали, выкобениваясь друг перед другом с одной лишь очевидной целью — обратить на себя хоть сколько-нибудь внимания этой чудо-девочки. Я в разговоре участия не принимал. Сидел рядом с Ниной на скамье на правах доверенного лица и, переглядываясь с ней мельком, мы оба забавлялись, наблюдая трогательные наивные потуги юных петушков.

Доктор неслышно подошел сзади к скамье и облокотился на спинку между мной и Ниной. Он был так взволнован и так напряжен, что густо сопел, заливаясь краской до ушей.

Нина передернула плечиками и демонстративно отвернулась. Я взглянул на доктора и мне стало жаль его. У него было лицо обиженного ребенка, вот-вот готового заплакать.

— Нина, — сказал я, стараясь спасти положение. — Это — мой друг. Талантливейший доктор. По крайней мере, все сулят ему блестящую карьеру. Я бы хотел, чтобы вы подружились с ним, как со мной.

— Дружите с вашим доктором на здоровье, — сказала Нина, вставая, — а меня увольте. Я не могу больше оставаться здесь, потому что ваш друг сопит как паровоз.

И пошла по аллее, шурша модной в те годы юбкой колоколом. Петушки, сгрудившиеся у скамьи, проводили ее

глазами, а потом глянули на онемевшего доктора. И дружно заржали.

Мой друг был уничтожен публично. И кем? Предметом своей всепожирающей страсти, богиней, на которую он, циник и безжалостный дамский потрошитель, молился благоговеино, с чистейшими намерениями. Для такой натуры, самолюбивой и жестокой, удар, бездумно нанесенный Ниной, был слишком сильным и разрушительным, чтобы не вызвать в ответ самых неожиданных действий со стороны сокрушенного доктора, бывшего солдата морской пехоты и советского разведчика в немецком тылу. Мы остались одни на скамье. Я сидел, а он стоял позади в той же позе, облокотившись на спинку скамьи.

Юные петушки, все еще смеясь, удалялись в глубину аллеи, порой оглядываясь на нас и смеясь еще громче.

Я нутром ощущал, что назревают события, планы которых сейчас созревают в воспаленном мозгу доктора. Он жаждал реванша, и это чувство убило в нем и рассудочность и даже страсть к Нине. Правда, страсть не совсем была убита, а лишь болезненно корчилась, словно пораженная едкой кислотой и наполняя его жгучей жаждой отмщения.

Аллея опустела. Вдали, за парком зажглись огни в корпусах санатория, в ресторане «Юра» заиграл оркестр.

Доктор даже не сопел за моим ухом и, казалось, не дышал. Я сидел, не оборачиваясь, и тоже молчал.

— Так, — наконец произнес он. — С нами так не обращаются. Мы этого до сих пор не позволяли. И не допустим впредь. Ты со мной согласен?

Я кивнул.

— Следовательно, этой сучке не останется безнаказанной.

Я напрягся, ожидая, какую казнь он уготовил предмету своей любви.

— Как ты понимаешь, я безоружен перед ней, — горячо дышал мне в ухо доктор, произнося каждое слово отдельно, с паузами, словно переводил с немецкого на русский. — У меня рука не поднимается на нее. Но не отве-

тить на такой вызов я не могу. Это будет против моей натуры. Это будет слишком разрушительно для меня. Коротко говоря, если она не будет унижена и оскорблена, я должен уехать отсюда. Мне здесь больше делать нечего. А ты оставайся до конца.

Я возразил ему, сказав, что его послали со мной, за это уплачены деньги, и, вообще, будет нечестным поступком бросить больного без медицинского наблюдения, да еще закадычного друга, каким он меня до сих пор считал.

— А бросать меня в беде можно?

— Я не бросаю тебя. Я переживаю за тебя.

— Переживания оставь дамам. Меня сбили с ног. Понял? И оружием непривычным для меня, неожиданным. Я оказался беззащитным. А ты был рядом и видел, как я извиваюсь от унижения. И позорно молчал.

— Что я мог сделать?

— Мог... Да, ладно, забудем твой предательский нейтралитет. У тебя еще осталась возможность реабилитироваться, доказать мне, что ты подлинный друг и чувство локтя в тебе еще окончательно не испарилось. Ты отмстишь за меня. Потому что я этого сделать не могу. Я безоружен.

— Как я отомщу?

— Ты должен ее оскорбить. Да так, чтобы она света белого не увидела. И при этом поняла, за что понесла наказание. Пусть убирается отсюда на все четыре стороны. А мы с тобой останемся. И все будет как прежде. Ничто между нами не будет стоять.

Я был очень привязан к моему другу и был готов драться до крови вместе с ним против любого количества мужчин, посягнувших на него. Но мужчин — а не женщин. И даже не женщин. А этого, еще не совсем оформившегося в женщину, хрупкого и беззащитного существа.

— Это будет аморально, — сказал я. — Оскорбить женщину, которая мне не дала для этого абсолютно никакого повода.

— А раздавленный друг, опозоренный публично, — не-

достаточный повод? Потом, учти, подлинная дружба выше любой морали.

Доктор был старше и опытней меня. Я находился под его влиянием и признавал его авторитет. Но последнее заявление относительно морали и дружбы не совсем меня убедило. Я мучительно соображал, как бы убедительней возразить ему, но он не дал мне заговорить.

— Короче! — отрубил он. — Теперь не время рассусоливать! Ты стоишь над телом поверженного друга. Ты готов защитить его? Молчишь? Колеблешься? Тогда — прощай!

— Нет, нет, — закричал я, вскочив со скамьи и догоняя его. — Я сделаю все, как ты хочешь... но... научи как?..

Доктор вернулся ко мне, смерил меня недоверчивым взглядом исподлобья и молча обнял. Мы стояли одни в темной аллее и случайно вышедшая с боковой дорожки женщина немало удивилась при виде двух обнимающихся мужчин и поспешила назад, приняв нас за пьяных.

В моей голове носились обрывки мыслей, подленьких, утешающих и оправдывающих.

— Ведь в самом деле... что мне Нина?.. Никто... Я к ней не испытываю ровным счетом ничего... А доктор? Мой друг... и, можно сказать, спаситель моей жизни... Нина оскорбила моего лучшего друга... Неужели промолчу?.. Тем более, он не в состоянии за себя постоять... потому что все еще влюблен... Нет, действительно, настоящая мужская дружба превышает всего на свете... Всего ли?..

Доктор не дал мне времени покопаться в моей душе и, взяв под руку, повел в конец аллеи, где уже вовсю гремел джаз на открытой площадке ресторана.

— Значит, операция абсолютно простая... — горячо дышал он мне в ухо. — Ты войдешь к ней в комнату... она ведь теперь одна... соседка по комнате сегодня уехала... Возможно, ты застанешь ее, готовящейся ко сну... полуодетой. Тем лучше и чувствительней. И скажешь ей все гадости, какие только наскребешь в своем воображении. А тебе за словом в карман лезть не приходится. Ты — солдат. Найдешь, что сказать. Такая неженка, как она, сучка,

от твоих слов заикаться начнет... И утречком завтра пораньше сбежит, собрав монетки, с первым автобусом.

Мы с доктором подошли к ресторану, где на площадке колыхалось под джаз месиво голов и плеч, пробились к стойке буфета, и доктор заказал пива и водки. Водку он налил в бокал с пивом и поднес мне.

— Пей. Для храбрости.

— Но мне запрещен алкоголь... — пытался отбиться я.

— Ничего. С одного бокала не умрешь. Да ты уже и так идешь на поправку... под моим чутким руководством.

Я мог легко уличить его в лицемерии, в отсутствии врачебной этики и в нарушении клятвы Гиппократата. А ведь мой друг очень серьезно относился к своей профессии и такой проступок мог быть оправдан лишь крайним душевным потрясением, испытанным доктором на скамейке в парке.

Отхлебнув из пенного бокала, я поперхнулся и стал кашлять. Он вырвал у меня бокал и с жадностью, не переводя дыхания, опустошил его до дна. Это была сильная доза «ерша». Такая смесь пива и водки вызывала быстрое и сильное опьянение, и пользовались этим способом обычно те, у кого не доставало денег на нормальную выпивку: студенты и солдаты.

Доктор не опьянел, хотя и хотел этого. Слишком сильным было возбуждение. Взглянув на меня абсолютно трезвыми глазами, он распорядился:

— Пойдем! Ты поднимешься, а я покараулю внизу. На случай, если от твоих слов она захочет выброситься из окна. Окажу первую помощь.

Он рассмеялся нервным напряженным смешком. Выпитый «ерш» вернул его щекам привычный румянец.

— Не дрейфишь? Тогда — с богом!

Мы вошли во двор центрального корпуса, замкнутый двумя жилыми флигелями. Я отыскал глазами на втором этаже освещенные окна ее комнаты. Доктор остался под окнами, а я, еще не сообразив, что все-таки скажу обидного и унижительного Нине, затопал по деревянной лестнице на второй этаж.

У двери комнаты остановился, перевел дух и постучал.

— Войдите, — сразу же, без паузы, послышался в ответ голос Нины.

Я открыл дверь и, переступив порог, несмело остановился. Это была комната на двоих и сразу бросалось в глаза, что обитают в ней женщины: и по свежести занавесок на окнах, и по скатерти на столе, и букетику увядающих цветов в горлышке графина. Одна кровать выглядела сиротливо обнаженным матрасом и подушкой без наволочки. Белье с нее было снято, а новое не постелено. Это была кровать соседки Нины — литовки Марите, соблазнившей меня в малиннике и сегодня уехавшей, даже не попросившись со мной.

Нина была одна в комнате. Она поднялась мне навстречу со стула в длинном халате и с распущенными по плечам пушистыми волосами. На ногах ее были ночные туфли. Она явно укладывалась спать, и мой приход помешал ей.

Взгляд ее, устремленный на меня, был беспокойным. Ее, видать, сразу насторожило недоброе выражение моего лица.

— Нина, — произнес я ломким, не своим голосом и тут же подумал о том, что я не имею никакого морального права оскорблять ее, не сделавшую мне никакого зла, а, наоборот, так дружественно ко мне расположенную и, несомненно, доверявшую мне. Но я уже не мог подчинить разуму свой голос и медленно с хулиганской расстановкой цедя отдельные слова сквозь зубы, обрушил в ее заметно бледневшее лицо:

— Ваша соседка по комнате сегодня уехала. Знаете ли вы о том, что она была моей любовницей и отдавалась мне в лесу всякий раз, когда мне это вздумается?

— Знаю, — тихо, почти шепотом сказала Нина, не отводя от меня взгляда и бледнея еще больше, от чего стали заметней трогательные мелкие веснушки на ее щеках. — Она секретов не хранила.

— Так вот, — набрав полную грудь воздуха, как плевок, как пощечину, выдохнул я. — Не желаете ли вы заме-

нить мне ее, и на том же месте в лесу раздвинуть передо мной свои прелестные ножки?

Сказав эту длинную, гнусную фанфаронскую фразу, я замер, ожидая, если не гневных и оскорбительных криков, то по крайней мере тихого падения на пол в глубоком обмороке.

Я не дождался ни того, ни другого. Нина продолжала стоять передо мной, рукой придерживая на груди ворот халата и с обезоруживающей улыбкой произнесла ровным, без волнения, голосом:

— Я согласна.

Меня как громом поразило. Я ожидал чего угодно, но не такого ответа. Постояв с минуту, как истукан, и бессмысленно ворочая глазами, я круто повернулся и, ни слова не говоря, выбежал из комнаты.

Какой характер! Какая сила! Какой ум! Какое владение собой! — восхищался я, сбегая вниз по деревянным ступеням. — Отбрила как бритвой. Проучила как младенца. Вот и оскорбил! Сам еле ноги унес! Да с каким достоинством это было сделано! Ай, молодец! Королева!

Во дворе я, как слепой, налетел на доктора, и он обхватил меня руками, словно обнимая, нетерпеливо спросил:

— Ну, как? Там слишком тихо.

— В истерике валяется, — выдохнул я и чуть не захохотал ему в лицо.

— Спасибо, друг, — сказал доктор. — Я эту услугу не забуду. Она нелегко тебе далась, тем дороже мне то, что ты сделал. Я перед тобой в долгу. Для начала идем в ресторан. Надо вспрыснуть это дело. Заказывай, что хочешь. Я плачу!

Утром я еле растормошил доктора после крепкого загула в ресторане. Мы опаздывали на завтрак, и я потратил немало усилий, пока он, наконец, оторвал голову от подушки.

Он проснулся в отличнейшем настроении, снова такой, каким был до Нининого удара. Радость реванша притупила, рассосала боль потери. Он ожив и смотрел на меня дружелюбно голубыми пуговками глаз.

Мы помчались завтракать в своих полосатых пижамах и тапочках, как каторжники в заграничных фильмах. Это было то, незабвенное по своей простоте нравов, послевоенное время, когда на курортах мужчины разгуливали в пижамах под руку с дамами, накинувшими на голое тело длинный, до земли ситцевый халат. Мы и в столовой сидели в пижамах и халатах, и в таком же виде, с одеялом на руке для подстилки, не смущаясь, шествовали через весь город на пляж.

В столовой мы сидели с доктором за одним столом. Он ел с аппетитом выздоровевшего человека и все время водил головой по сторонам. Я тоже бросал тревожные взгляды. Мы оба пытались найти Нину в этом огромном зале, где одновременно ели человек триста, и полюбопытствовать, как она выглядит после вчерашнего. Нины в зале не было.

— Натощак укатила, — сделал вывод доктор и удовлетворенно потрепал меня по щеке как младенца. — Хвалю! Чистая работа! Я — в неоплатном долгу.

В отличие от доктора я-то знал, что Нина никуда не уехала, а, должно быть, проспала завтрак. Бежать отсюда было впору мне. После вчерашнего конфуза. При одной мысли о том, что Нина в любой момент может войти в столовую, и мы столкнемся глазами, мне становилось не по себе, и я торопливо дожевывал завтрак, чтобы как можно быстрее убраться отсюда.

Меня удивляло поведение доктора. Позавчера это был застенчиво-влюбленный, трогательно-косноязычный от волнения юноша, вчера я увидел беспощадного мстителя, неумолимого в своем порыве уничтожить, раздавить обидчика, а сегодня передо мной сидел удовлетворенный содеянным и снова безмятежно наслаждающийся отдыхом человек. Я диву давался: неужели все чувства в нем столь поверхностны и быстротечны? Да и вся его любовь к Нине была лишь вспышкой уязвленного самолюбия, расшибившего лоб о непреодолимое препятствие.

Дальнейшие события показали, что психолог я был никудышный. Позавтракав раньше доктора, я, сославшись

на неотложные дела, постарался быстрее исчезнуть из столовой, пока сюда не пришла Нина.

Столовую покидал пестрый поток пижам и халатов, и в этом потоке меня вынесло наружу, на веранду. Ободренный удачей я сбежал по ступеням и внизу столкнулся с Ниной.

Она стояла лицом ко мне, опершись локтями на перила лестницы, в своем пляжном халатике и со сложенным одеялом на плече. Глаз я ее не увидел, они были скрыты за темными стеклами солнечных очков.

— Доброе утро, — растерянно проблеял я и хотел было проскользнуть мимо, но она протянула руку и властно положила ладонь мне на плечо.

— Я жду вас, — сказала она с улыбкой. — Мы вчера условились? Не так ли?

Я покрылся испариной. Это очаровательное нежное существо неожиданно оказалось крепким и опасным орешком, на котором мне предстояло сломать зубы. Она решила поиграть мной, хорошенько проучить за вчерашнюю нелепую наглость. У меня было два выхода: или извиниться и рассказать ей, как на духу, о влюбленном докторе, об унижении, которому она его подвергла, о товарищеском чувстве локтя или же, окончательно утвердив за собой репутацию хама, послать ее к чертовой матери публично, чтобы она в дальнейшем убегала от меня за версту.

Ни того, ни другого я не сделал. И хоть превосходно понимал, что она решила меня крепко разыграть и всласть поиздеваться, тем не менее принял предложенную ею игру и, как можно более беспечно, сказал:

— Что ж, пошли.

На виду у обтекающих нас по лестнице пижам и халатов, вызывая их немалое удивление, она с улыбкой взяла меня под руку и мы зашагали по дорожке в парк: я напряженный, как струна, готовый в любой момент, как заяц, дать стрекоча, а она спокойная, улыбающаяся, словно вот так, интимно, под руку, она ходит со мною всю жизнь.

Спиной я чуял, что халаты и пижамы во множестве

сгрудились на веранде, пожирая нас глазами и предвкушая сладостный и всесторонний обмен мнениями. На повороте в аллею я все же обернулся и первого, кого увидел, был доктор. Толстый и круглый, нелепый в своей полосатой пижаме, он семенил вслед за нами с выпученными от удивления глазами. Нина тоже обернулась и кокетливо помахала доктору ручкой. Я подумал, что его хватит инфаркт. Он, действительно, остановился с растерянным и жалким видом и потер ладонью грудь, в том месте, где сердце. Бросить Нину и бежать к нему назад, чтоб объяснить, что все это, мол, игра, затеянная этой плутоватой и не такой уж наивной девчонкой, игра, которую я принял, и доведу до такого конца, при котором ей, уж будьте уверены, не поздоровится, я не решился, ибо действительно с азартом включился в предложенную Ниной игру и был весь на чеку, чтоб не подставить себя под удар. А с доктором мы объяснимся потом, когда я хорошенько ее проучу.

В глубине парка, на поляне, перед закопченными стенами сгоревшего в войну дворца графа Тышкевича, стояла на черном постаменте массивная, отлитая из чугуна статуя Христа, молитвенно сложившего ладони у груди.

До этого места Нина не проронила ни слова, хотя сохраняла вид беспечный и шаловливый. Но, подойдя к черной статуе, посерьезнела, лицо ее стало очаровательно грустным и, выпустив мою руку, она грациозно опустилась на колени и так же, как чугунный Христос, сложила ладони у груди.

Я напряженно следил за нею, ожидая какой еще номер выкинет она, прежде чем выставит меня на посмешище. У меня и сомнения не было, что где-то рядом, в кустах хоронятся ее подружки, которых она позвала полюбоваться, как она проучит наглеца. Мои глаза шарили по кустам.

— Дева Мария, — с чувством произнесла Нина, устремив глаза вверх, в чугунное лицо Христа, — ты зачала без греха, помоги мне согрешить без зачатия.

Мне показалось это жутко циничным, оскорбительным даже из уст неверующей, какой несомненно была Нина. И еще более вызывающим, потому что произнесла это за-

клинание невинная девчонка, которой все наши санаторные дамы любовались, как редким экземпляром девичьей чистоты и наивности.

Она поднялась с колен, снова взяла меня за руку.

— Теперь — я готова.

Мы углубились в лес. Нина привела меня в то место, где разрослась малина, и я сразу вспомнил, что именно здесь меня соблазнила ее соседка по комнате. Значит, Марите ей даже описала и место моего грехопадения, и Нина сознательно привела меня сюда. Это было, вне всякого сомнения, частью задуманного ею плана мести. Кругом были заросли малины и там могли удобно укрыться приглашенные ею зрители.

— Ладно, — решил я, то и дело оглядываясь по сторонам. — Пусть считает, что я попался на крючок. Я — опытный воробей, меня на мякине не проведешь. В последний момент мы эту игру нарушим и посраим ее жестоко за одну лишь мысль разыграть меня.

Так я подбадривал себя, вздрагивая всякий раз, заслышав треск в кустах, а Нина тем временем постелила на мягком мху санаторное серое одеяло, расстегнула ситцевый халатик и стряхнула его с плеч, оставшись в крохотном лифчике и в такого же цвета трусиках с тремя кнопками на боку. Испытующе глядя мне в глаза, она пальцами нащупала верхнюю кнопку и с легким треском оторвала ее. Еще два раза треснули кнопки и трусики, распахнувшись на бедре, съехали вниз на одеяло. Затем она одним рывком сорвала лифчик.

С минуту Нина стояла нагая, удивительно напоминая точеную статуэтку, с двумя белыми полосками — там, где трусики и лифчик уберегли кожу от загара. Я ошеломленно уставился на нее, начиная соображать, что это совсем не игра.

Нина сняла с глаз солнечные очки и улыбнулась мне грустно и трогательно:

— Ну, иди же, глупый. Чего ждешь?

— Нина! — ахнул я. — Ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь?

— Я люблю тебя, — прошептала она. — Разве этого мало? С первого дня, как увидела тебя...

Я возвращался из лесу, распираемый ликованием. Такой девчонки у меня еще не было! Мне не верилось, что я только что обладал ею, и не я, а она объяснилась мне в любви. Голова моя кружилась от радости и гордости. Нина шла, обняв меня за талию и положив кудрявую голову мне на плечо.

Встречные пижамы и халаты каменели, завидев нас. Ни у кого не было сомнения, что их Ниночка, их божество, образец чистоты и непорочности отдалась мужчине и не хочет скрывать а, наоборот, открыто демонстрирует это.

Разинутые рты и перекошенные лица обитателей санатория нисколько не занимали меня, так я был поглощен своим счастьем. Погруженный в сладкие переживания я забыл даже о докторе. И зря. Вместе с другими видел наше с Ниной шествие в обнимку по аллеям санаторного парка мой доктор. И глазам своим не верил.

Проводив Нину, я с глупейшей счастливой улыбкой от уха до уха, насвистывая, поплелся домой, потому что порядком устал и намеревался прилечь отдохнуть.

В нашей узкой крохотной комнатке меня ждал мрачный, как туча, доктор. Он сидел на своей кровати, привычавшись и сверля меня исподлобья своими голубыми пуговицами, светившимися недобрыми огоньками.

Я сел на свою кровать и наши колени стукнулись. Он с брезгливостью отодвинул свои. И тогда я улыбнулся ему беспомощной улыбкой: повинную голову, мол, меч не сечет.

— Предатель! — выдохнул он, и мне показалось, что его скрутил приступ удушья. Лицо покраснело, налилось кровью. Он дышал тяжело и часто.

— Так получилось, — пожал я плечами. — Честное слово, я не хотел.

— Ты что, хочешь убедить меня, что ты с нею переспал?

— Так получилось... Она сама захотела и повела меня... в лес.

— Врешь, скотина! — он вскочил и заметался в тесном квадрате между дверью и кроватями. — Так я тебе и поверил! Нос не дорос! Она тебя на версту до себя не допустит!

— Правильно, — охотно согласился я, надеясь, что он успокоится. — Конечно, она чиста, как слеза. У нее в помыслах такого не было.

Доктор замер и недоверчиво уставился на меня.

— Тогда почему она так обнимала тебя, когда вы возвращались из леса? Я не мальчик, такое бывает только после интимной близости. Говори правду, негодяй!

— Виноват, — согласился я. — Так получилось. Да, она отдалась мне.

— Не верю! — закричал истерически, как баба, доктор, зажав уши кулаками и топая ногами. — Она не могла позволить этого! Она не такая. Я не мог ошибиться.

— Конечно, — снова подхватил я. — Я пошутил. Ну, глупая, дрянная шутка.

— Шутка ли? — зарычал доктор. — Не верю тебе! Господи, я с ума сойду. Мое сердце вот-вот разлетится в куски!

— Уж не знаю, что тебе отвечать, — устало сказал я. — Говоришь — да, не веришь, говоришь — нет, тоже не веришь. Какой вариант тебя больше устраивает?

— Меня устраивает единственный вариант — лечь и умереть, — он плюхнулся на свою кровать и зарылся лицом в подушку. Я сидел, не смея шевельнуться и даже затаив дыхание. Вдруг он вскочил и сел, на сей раз не отдернув своих колен от моих.

— Слушай, подонок. У тебя остается последний шанс сохранить меня в числе своих друзей. Если не согласишься, я не переживу эту ночь. А если и не подохну, то утром меня здесь уже не будет. И никогда, слышишь, никогда ты меня не увидишь.

— Говори, — внутренне сжался я, предчувствуя что-то очень нехорошее.

— Ты можешь меня спасти. И все будет забыто. Мы останемся друзьями, какими были до сих пор. Понима-

ешь, я не излечился, отправив тебя вчера к ней наверх оскорбить ее. Хорош, гусь! Тебя только и посылай... Но, ладно. Я по-прежнему люблю ее. Даже еще больше. Это безнадежная любовь, которая не сулит мне ничего, кроме унижений и абсолютного саморазрушения. Ты можешь помочь мне выйти из беды, избавиться от этого чувства, которое меня доконает. Клин вышибают клином. Есть такое варварское средство. Я забуду ее, вычеркну из памяти, она станет мне совершенно безразлична, при одном условии... Если она отдастся тебе в моем присутствии.

Тут уж я вскочил и в гневе сжал кулаки.

— Садись! Не играй в благородство. Мы оба одним миром мазаны и на нашей совести достаточно грехов. Не знаю, у кого больше. Мы проделаем все так, что она об этом даже не догадается. Будем знать только ты да я. Я укроюсь под кроватью, а ты приведешь ее, и пусть я буду свидетелем, как моя любовь, предмет моей страсти, отдастся другому. И я излечусь... Мое чувство к ней испепелится. И все будет прекрасно. Вы после этого любите друг друга, как хотите. Ваше дело. А я буду жить, как жил. Без треволнений и надрывов, а спокойно, размеренно, как рекомендует наша медицина олухам, мечтающим о долголетию.

— Нет! — замотал я головой. — Хватит! Ты уж раз меня спровоцировал во имя нашей дружбы пойти оскорбить человека, ни за что ни про что. И я это сделал... Хоть неожиданно все обернулось совершенно иным образом... и теперь она, моя любовница, самая прекрасная женщина, подобно которой я еще в жизни не обладал. На что ты меня толкаешь... пользуясь тем, что ты старше и я тебе доверяю как... брату?

— Садись. Остынь, — он надавил ладонями на мои плечи. — Тебе действительно отчаянно повезло. Таких женщин, возможно, одну и встретишь за всю жизнь. А может быть и не встретишь вовсе. Тебе подвалила удача. Тебе улыбнулась фортуна. А мне фортуна показала свой зад... и в самом неприглядном виде. Так будь же великодушен! Не топчи упавшего! Помоги ему подняться! Я

прошу тебя... Последний раз прошу... Больше никогда не попрошу... Мне это нужно, как... кислород умирающему от удушья.

Мне было искренне жаль его. На лице его было написано такое неподдельное страдание, что я не выдержал и тихо, не своим голосом спросил:

— Как это сделать?

— Очень просто, — взволнованно заговорил он, ободренный моим вопросом. — Я — под кроватью, а вы с ней на... Я буду нем, как могила. Ты же знаешь меня. Я — разведчик. Не в таких переплетах бывал. Могила.

— А если выдашь себя? Что тогда?

— Тогда? — задумался доктор и вдруг ринулся к шкафу, распахнул и стал рыться в одежде. — Тогда ты сожжешь мой партийный билет! Я тебе его дам и если что — жги его!

Он протянул мне обернутую в переплет книжечку члена коммунистической партии, и я сунул ее в карман.

— Вот на какую жертву я иду? Понял? — склонился он надо мной, и лицо его пылало. — Ты и сам знаешь, чем мне грозит потеря партбилета. Без этой книжки мне — конец. Вся карьера и вся жизнь полетит кувырком. И я иду на это! Потому что иначе мне все равно не жить!

Конечно, то, что я уступил, это гнусно по отношению к Нине, откровенное предательство человека, только что доставившего мне такую радость, — лихорадочно думал я, направляясь к женскому корпусу и мучительно подыскивая оправдательные аргументы. — А что ей? Она же останется в полном неведении... А вот друга я, возможно, действительно спасу или от инфаркта, или от умопомешательства... Кто знает, возможно, мой поступок,... если рассмотреть его под определенным углом... даже окажется благородным...

Когда я покидал нашу комнату, доктор уже лежал под моей кроватью, ногами к изголовью, опустив край одеяла до самого полу. Я просунул туда его подушку, чтоб ему не мозолить затылок на досках. Никто не мог предугадать, сколько ему предстояло пролежать там.

Нина встретила меня радостной сияющей улыбкой и повисла на моей шее, болтая в воздухе ногами и роняя на пол тапочки.

— Чуяло мое сердце, ты быстро соскучишься и вернешься. Я уж тут соскучилась по тебе... ты представить себе не можешь.

Моя совесть заняла при виде ее наивной доверчивости. Она ничуть не удивилась, что я позвал ее к нам в мужской корпус, хотя она была одна в своей комнате и нам бы здесь никто не помешал.

Нина бурно и откровенно ликовала, что я так быстро соскучился по ней и не обратила внимания на то, что весь обратный путь я прошел угрюмый и замкнутый, лишь изредка рассеянно и односложно отвечая ей.

Я отпер нашу комнату и прошел первым, бегло оглядевшись и убедившись, что все осталось, как и было, и ничто не может вызвать подозрений. Затем впустил ее.

— Спорим, это твоя кровать, — звонким, как колокольчик, голосом угадала Нина и села на мою кровать, под которой, я мог себе представить, замер, затаив дыхание, доктор.

— А как ты угадала? — просто так, чтоб хоть что-то сказать, спросил я.

— Твой толстый друг любит комфорт. Я несколько раз замечала его в лесу с подушкой под мышкой.

Мне захотелось сделать приятное моему бедному другу, томившемуся под кроватью, на которой беспечно сидела Нина.

— Знаешь, почему на его кровати подушки нет? Он сейчас тоже в лесу. И не один, а с дамой. Доктор пользуется у женщин огромным успехом.

— И ты ему веришь? — со смехом воскликнула Нина. — Да это типичная мужская похвальба... Господи, он же абсолютно не мужчина. Тюфяк, полный жира.

— Замолчи! — не своим голосом закричал я, ужаснувшись, что доктор, характер которого я уже немного знал, не выдержит такого глумления и, выскочив из-под кровати, задушит ее.

— Почему? — все еще смеясь, втянула голову в плечи Нина. — Во-первых, это правда... а во-вторых, нас никто не слышит... Мы тут одни. Ты дверь-то запер?

Я действительно, впопыхах, забыл запереть дверь и сделала это сейчас. Нина сбросила халат, затем разделась до гола и вытянулась на моей кровати, заложив руки под затылок. Она была удивительно хороша. Какая-то неуловимая грация и женственность сквозили в каждой линии ее тела, а лицо было такое чистое и непорочное, ангельское, как определили наши санаторные дамы. Пресыщенный недавней близостью с ней, подавленный тем, что под кроватью лежит свидетель, я тем не менее легко возбудился от одного лишь взгляда на Нину.

У меня к тому времени был весьма небогатый опыт в делах любовных и тем не менее я сразу угадал в Нине необыкновенное совершенство не только во внешнем облике. Отдаваясь, она не делала никаких движений, а замирала, закрыв глаза. Зато внутри ее творилось что-то невероятное. Мой член, протиснувшись с трудом в ее эластичное и влажное, как теплая губка, нутро, обхватывался, обжимался мышцами, которые начинали играть, танцевать, вышибая у меня искры из глаз.

Сама же Нина лишь глубоко дышала, то и дело напрягаясь всем телом, когда доходила до оргазма, и снова расслабляясь, чтоб через минуту замереть опять. Пожиривший ее пламень выражался в глубоких темных кругах под глазами, возникавших с первого мгновения близости, и все более густевших по мере продолжения. Нина вставала с глубокими провалами вокруг глаз и это несомненно привлекло внимание всех встречных, когда мы с ней утром возвращались из леса.

Теперь она лежала, как в обмороке, подо мной, безвольно раскинув руки и ноги, и тени густели под ее закрытыми глазами. Тело же, то напрягалось в сладкой истоме, то расслаблялось, и я был бы на вершине блаженства, если б не постоянная мысль о докторе, сверлившая мозг.

Мне показалось, что запахло дымом и я, ритмично двигаясь на распластанном теле Нины, повернул голову на-

зад и чуть не ошалел от ужаса. Из-под кровати, у наших ног ползли струйки сигаретного дыма. Доктор закурил. Нарушив уговор. И теперь поплатится своим партийным билетом, который я сожгу, не дрогнув. Такие поступки должны быть наказаны.

А пока я одной ногой стал помахивать в воздухе, силась разогнать дым. Какое счастье, что Нина, отдаваясь, почти теряла сознание и ничего не заметила. Дым рассеялся и больше не появлялся из-под кровати. Доктор, констатировал я, накурился и погасил сигарету. Дорого тебе, мой друг, обойдутся эти несколько затяжек. Считай, что у тебя нет партийного билета, и ты уже в этой жизни полный нуль. Меня сейчас ничем не смягчить и разжалобить. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Каким-то чудом я смог довести до должного финала мою роль мужчины в постели, и сразу же заторопился, ссылаясь на неотложные дела. Нина послушно оделась и вышла со мной. Я запер дверь снаружи, чтоб доктор никуда не мог улизнуть, и пошел ее проводить.

Она была безмятежно счастлива, не ведая, в какую гнусную игру я ее вовлек, и шла, прижавшись ко мне и доверчиво положив головку с глубокими темными провалами вокруг глаз на мое предательское плечо.

Вернувшись и отперев дверь, я застал все в том же состоянии, в каком покинул. Доктор все еще был под кроватью. Я приподнял край одеяла:

— Вылезай, собака! А то ты пропустишь исторический момент сожжения твоего партийного билета.

Он вылез с серым лицом, сел на свою кровать и на разжатой ладони я увидел сигаретный пепел, который он по своей немецкой аккуратности стряхивал за отсутствием пепельницы в свою руку. Глаза его были безжизненные, угасшие. Он выглядел человеком, перенесшим жесточайшее потрясение, и был жалок и беззащитен.

У меня в тумбочке хранились таблетки валидола на случай сердечной слабости, и теперь они понадобились не мне, а доктору. Я молча протянул их ему, и он равнодушно положил себе под язык одну.

— Скажи мне, — спросил я, когда увидел, что он понемногу приходит в себя и уже в состоянии ответить. — Почему ты закурил? Неужели не мог подождать, пока я ее уведу? Объясни, прежде, чем я сделаю следующий шаг.

Доктор усталился на меня пустым равнодушным взглядом, и я понял, что ему все безразлично и он не собирается оправдываться.

— Я попал в положение, — медленно, словно разговаривая сам с собой, заговорил он, — которое злейшему врагу своему не пожелаю. Очевидно, я проживу сто лет, если уцелел и не подох сейчас. Ты можешь сжечь мой партбилет и будешь прав. Я нарушил уговор. Не знаю, лучшим ли образом поступил бы ты, поменяйся мы местами. Нина, отдаваясь тебе, впала в беспамятство. Какой темперамент! Какое сокровище! Ты, негодник, выиграл в лотерее по трамвайному билету. Однако, я не о том... Видишь щель между стеной и кроватью? Вот туда провалилась рука Нины и ладонь ее легла на мое колено. Возможно, она приняла колено за угол чемодана или вообще не соображала в этот момент, но все время, пока она изнемогала от наслаждения под тобой, ее рука судорожно сжимала мое колено и ее дрожь передавалась мне, и я, как сейсмограф, регистрировал своей кровью и соком своих нервов каждый подъем и спад. Теперь ты понимаешь, что я пережил. Как я закурил, я даже и не помню. Возможно, это была лучшая разрядка моей пытки, потому что иначе я бы взревел в голос.

Я вернул ему партийный билет. Он даже не поблагодарил и равнодушно сунул в нагрудный карман.

Вот и все. Дальше все пошло ровно, без потрясений. Доктор, как и предсказывал, вышиб из себя таким варварским способом страсть к Нине. Стал таким, каким был прежде. Снова увлекся охотой за дамами и весьма успешно. К моей радости у него с Ниной установились нормальные приятельские отношения. Он снова стал привлекательным, многоопытным собеседником, и Нина болтала с ним охотно и увлеченно. Большую часть времени мы теперь

проводили втроем, и доктор иногда, чутьем угадывая наше желание, запросто говорил нам, как дядюшка:

— А теперь, детки, вам нужно отдохнуть от меня. Идите и предавайтесь любви. Я подожду. Вы ведь вернетесь?

Две недели, оставшиеся до конца срока нашего пребывания в санатории, пролетели, как один день. Мы с Ниной не расставались, ходили, держась за руки, как дети, и пользовались каждой возможностью, чтоб улизнуть от доктора и предаться любви. А все ночи я проводил в ее комнате, куда по счастливому совпадению никого не поселили после отъезда Марите, и мы с Ниной спали, не разжимая объятий, на двух сдвинутых железных кроватях.

Мы были неутомимы. Оба осунулись, похудели и глаза у Нины были все время глубоко запавшими, делая ее еще красивей и обворожительней. Обитатели санатория смирились с ее грехопадением и теперь уж и на меня смотрели с теплотой, любуясь нами обоими.

А день отъезда приближался неумолимо, и санаторная администрация вручила нам железнодорожные билеты. Мы ни разу не заговорили о женитьбе, но в мои ближайшие планы, как само собой разумеющееся, входила поездка в Ленинград, чтоб познакомиться с Нининой мамой, и там уже все решить наилучшим образом.

Отца Нина ни разу не помянула в разговорах со мной и когда я высказал предположение, что он погиб на войне, Нина покачала головой и, опустив глаза, произнесла:

— Его нет в живых. Он был известным инженером в Ленинграде и в 1938 году его взяли... Как врага народа. И расстреляли. А нас с мамой сослали в Казахстан. Мы вернулись в Ленинград после войны, но, как семье врага народа, нам запрещено жить в городе и мы снимаем комнату за чертой, на станции Сиверской.

Сердце мое упало. Это был неожиданный и страшный удар. Жениться на дочери врага народа коммунисту, делающему карьеру в партии, было безумием, самоубийством. Это было при жизни Сталина. До его смерти оставалось еще несколько лет.

Я ничего не ответил ей, но от нее не ускользнуло мое состояние, и она сочувственно спросила:

— Твои родители тоже репрессированы?

— Нет, — ответил я. — Живы и здоровы.

И перевел разговор на другую тему, постарался уйти от оглушающей новости.

Потом был отъезд. Мы с Ниной выползли из постели за полчаса до отхода автобуса, который должен был доставить нас на железнодорожную станцию. Там мы с доктором посадили ее в ленинградский поезд, и доктор впервые удостоился ее поцелуя. Она бросилась ему на шею, горячо расцеловала в обе щеки, а потом в лоб. Доктор стоял, как пингвин, с румяными щечками и бессмысленно и глупо улыбался.

Я же чуть не плакал. На людях целоваться и проявлять нежность я не умею и поэтому лишь чмокнул ее в губы и пожал руку. Она держалась молодцом и лишь беспокойный взгляд, который она бросала на меня порой, выдавал ее волнение.

Поезд ушел. Нина нам махала из окна. Мы — ей в ответ, пока последний вагон не скрылся за поворотом.

По румяным щекам доктора текли слезы. Он их не вытирал и, как ребенок, оправдываясь, бормотал:

— Старею, черт возьми... раскисаю... Сентимент, понимаешь, одолевает... А это уж излишняя роскошь.

Через час к платформе подали наш поезд и мы отбыли домой, оставив позади бесконечную полосу пляжа, дюны с пучками жесткого камыша и неумолкаемый гул прибоя на Балтийском соленом мелководье. Медицинская комиссия констатировала мое полное выздоровление и разрешила вернуться на работу.

От Нины я вскоре получил письмо, потом второе, третье. Я все откладывал ответ. Мой партийный босс, старый умудренный жизнью человек, член партии еще с незапамятных времен, когда жив был Ленин, и непонятно как уцелевший в годы сталинских чисток человек, к которому я испытывал доверие, категорически запретил мне отвечать на Нинины письма, если я дорожу своим будущим. Я

откровенно рассказал ему все. Как священнику на исповеди, зная, что он не понесет дальше и не продаст меня. Его приговор был кратким: о женитьбе на дочери врага народа не может быть и речи. И никакой переписки. Забыть, вычеркнуть из памяти. Потому что я достаточно взрослый, чтобы знать, что письма перлюстрируюся, и там, где надо, содержание и адресат моей почты будут известны. А затем недолго ждать организационных выводов, которые будут не в мою пользу.

С доктором я не видался со дня возвращения. Как-то он позвонил мне и назначил встречу в кафе. Оказывается, он тоже обменялся с Ниной адресами и получил от нее тревожное письмо, умоляющее немедленно сообщить, что со мной и где я, ибо она не получила ответа на все свои письма. Я кратко изложил доктору содержание беседы с моим партийным боссом. Он только понимающе и сочувственно кивал головой.

Через неделю он снова позвонил и снова пригласил меня в кафе. Он успел съездить в Ленинград и побывал у Нининой мамы, а также видался с Ниной.

— Она беременна, от тебя, — сказал доктор, не глядя мне в глаза. — Еще там, накануне отъезда у нее были подозрения и она спрашивала совета у меня, как у врача. Я тебе говорить не стал, она просила об этом. Надеюсь, что это случайность и все обойдется. Но дома, в Ленинграде, по прошествии полутора месяцев никаких сомнений не оставалось. Ее мама врач и позаботится о том, чтобы аборт был сделан квалифицированно, без опасности для здоровья Нины.

А в конце ужина доктор, отводя глаза и сконфуженно посапывая коротким носиком, сообщил мне следующее. Он предложил Нине выйти за него замуж и записать будущего ребенка на свое имя. Нина была растрогана благородством доктора и все же вежливо отказала, мотивируя тем, что она к нему испытывает только дружеские чувства. А для брака этого недостаточно.

Прямо из кафе я помчался на почтамт и, словно в угаре, послал телеграмму следующего содержания: «Не де-

лай аборта, сохрани ребенка. Немедленно выезжаю. Твой муж».

Назавтра я опомнился, поостыл и... не поехал в Ленинград. Нина мне больше не написала. А через какое-то время я узнал от доктора, ему написала мать Нины, что она вышла замуж за выпускника Ленинградского военно-морского училища В. И. Сорокина и после его аттестации лейтенантом уехала с ним в портовый город на Севере, где он служит штурманом на подводной лодке.

Эту новость я воспринял без особой горечи. Время — лучший лекарь, и мое чувство к Нине понемногу гасло, рассосалось. Осталась какая-то сладкая грусть и горделивое мужское удовлетворение от того, что мне удалось обладать этим божественным созданием. Скребло на душе от другого. И доктор, предложивший Нине руку и сердце, и этот неизвестный мне морячок Сорокин В.И., ставший ее мужем, оба были коммунистами и оба не боялись рискнуть карьерой. А я струсил.

Вскоре после Нового года в местной газете появился в черной рамке некролог, извещавший о преждевременной смерти талантливого доктора Вольфа Гольдберга.

Холостой доктор жил с отцом и матерью, прелестными стариками, уважаемыми в городе врачами. Они делали трогательные попытки женить сына. Знакомили его с дочерьми своих сослуживцев, устраивали званые вечера и — все бесполезно. Мой друг был рассеян и невнимателен к кандидаткам в жены, подобранным родителями, и если среди девиц попадались хорошенькие, он не отказывал себе в удовольствии переспать с ними, заранее предупредив, чтобы на большее не рассчитывали.

Новый год он встречал дома. С мамой и папой. И их сослуживцами. Среди гостей была довольно юная особа, приглашенная все еще не потерявшими надежды родителями на предмет представления сыну.

Я знаю, как все произошло со слов его матери.

Ровно в полночь, выслушав по радио новогоднее поздравление из Москвы, гости встали из-за стола с бокалами шампанского, и доктор, оглядев всех серьезными и пе-

чальными глазами, повторил вслух последние слова казенного радиоприветствия: «Вперед, к сияющим вершинам коммунизма» и от себя добавил:

— Вы давайте, валяйте, к этим самым вершинам. А я, признаться, устал и выхожу из игры.

Он покинул новогодний стол, быстрым шагом прошел в свою комнату и очень скоро оттуда прозвучал выстрел. Родители и не подозревали, что в чемодане у сына хранится привезенный из Германии «парабеллум». Стрелял он умело. Не зря был в морской пехоте и разведчиком. Аккуратная дырочка в виске и выходное отверстие на макушке. Так что он совершенно не был обезображен и лежал в гробу такой же, каким я его знал, только без рюмьянца на пепельных щеках.

Я хоронил его. Шел между стариками, совсем убитыми горем, и поддерживал их под руки, чтоб не рухнули, не отдали богу душу по дороге на кладбище. Мне казалось, что я веду моих собственных родителей и мы хороним меня. И поэтому плакал взахлеб, навзрыд, но шедший впереди духовой оркестр заглушал все звуки ревушей душу мелодией похоронного марша и на меня никто не обращал внимания.

Потом умер Сталин, и все в стране стало меняться. Меня перевели на новое место службы. Я сменил еще несколько городов, быстро и успешно строя карьеру.

Однажды в командировке в портовом городе на Севере я вспомнил, что именно сюда уехала когда-то Нина со своим мужем и, полистав телефонную книгу, нашел фамилию В. И. Сорокина и номер домашнего телефона. Я позвонил и трубку сняла она. Этому невозможно поверить, но она узнала меня по голосу с первого слова. И тут же предложила встретиться, сказав, что муж находится в дальнем плавании и ей не составит никакого труда прийти на свидание.

Я узнал ее сразу. Она нисколько не изменилась. Хотя была в норковой шубке и в меховой шапочке. На юге еще была золотая осень, а здесь стояла зима и скверик, где мы встретились, был завален сугробами снега. Нина сидела

на скамье у обросшего ледяными наростами бездействующего фонтана, и я, счистив перчаткой снег, сел рядом с ней. Глаза ее сияли, когда она смотрела на меня, и была она настолько прелестной, что я почувствовал горечь огромной и невосполнимой потери и с грустью слушал ее рассказ. Сорокин, ее муж, был замечательным человеком и до сих пор любит ее без ума. Он уже капитан первого ранга и командует атомной подводной лодкой. Она окончила медицинский и работает врачом-психиатром. Мама жива, в Ленинграде. А папу реабилитировали посмертно, и теперь в институте, где он преподавал до ареста, установлена мемориальная доска из мрамора с его барельефом. У нее сын. Вот он там с детьми лепит снежную бабу.

— Миша, Мишенька! — позвала она и к нам подкатил в белых валенках и в меховой шубке раскрасневшийся мальчуган лет десяти. — Поздоровайся с дядей.

Мальчик зубами снял варезку и протянул мне горячую влажную ладонь. Что-то в его лице кольнуло меня, приковало мое внимание.

— Иди, Мишенька, играй, — торопливо спровадила мальчика Нина и посмотрела на меня долгим и печальным взглядом. — Что, узнал? Твоя копия.

— Значит, ты...

— Да, я не сделала аборта и когда родился Миша мой муж знал, что это не его сын.

— Постой, это так неожиданно... — задохнулся я. — У меня есть сын?

— У тебя нет сына, — мягко возразила Нина. — Миша — сын капитана первого ранга Сорокина и он носит его фамилию. Это его единственный сын. Больше я рожать не захотела.

— Нина, — захрипел я, хватая ее за руки. — Уйди от этого капитана! Мы поженимся и я усыновлю своего собственного сына! Я ведь еще холост. И согласен хоть сейчас...

— Нет, — улыбнулась Нина горькой улыбкой. — Поздно, дорогой. Я тебя любила и может быть до сих пор люблю. Но мой муж такой прекрасный человек и я ему на-

столько многим обязана, что никогда, ни под каким предлогом не оставлю его. Вот так, милый. Расскажи лучше о себе, как поживает наш общий друг доктор.

Я рассказал ей о смерти доктора, и Нина неожиданно для меня так опечалилась, что слезы заструились по ее щекам, и она закрыла лицо руками. А потом, успокоившись, предложила:

— Доктор — свидетель нашей любви и моего, хоть короткого, но счастья. Он — часть нашей судьбы. Я бы хотела навестить его могилу. У меня теперь свободная от дежурств неделя и, если ты можешь выкроить время, давай слетаем туда.

Мы прилетели втроем, Нина, я и Миша, с которым я подружился в самолете, и он не слезал с моих колен. Остановились в гостинице, в двух отдельных номерах и на такси отправились на кладбище.

Было непривычно тепло после Севера. Серебристые нити паутины плавали в воздухе и над кладбищем тянуло едким дымком. Служители в синих халатах сносили со свежих могил увядшие венки из еловых лап и цветов и жгли их в больших взъерошенных кучах. Этот острый запах дыма и потрескивающие костры из венков навевали горькую печаль и хотелось беспричинно заплакать. Мы шли по усыпанной гравием дорожке к могиле доктора, и служитель привел нас к трем одинаковым из красного гранита надгробиям. Доктор покоился уже не один. Слева и справа от него лежали отец и мать, скончавшиеся вскоре после его похорон. Скамеечки у этих могил не было. Семья Гольдбергов кончилась. Некому прийти на кладбище. Мы с Ниной присели на скамейку у соседней могилы, обнялись и заплакали, не стесняясь своих слез. Миша удивленно уставился на нас. У доктора была семья. Мы. Я, Нина и маленький Миша. Разъединенные и, возможно, последний раз встретившиеся люди.

Над черным роялем на оклеенной обоями стене висела в аляповато позолоченной раме копия картины Васнецова

«Три богатыря». На неественно могучих конях восседали неестественно могучие былинные богатыри Илья Муромец и Добрыня Никитич в шлемах и кольчугах, с мечами и щитами. Только третий богатырь юный Алеша Попович был не так могуч, а похож на нормального человека. Это сходство ему придавали маленькие фатоватые усики. У его сотоварищей были бороды лопатой.

Астахов, Лунин и Зуев стояли посреди гостиной голые и переминались босыми ногами на ковре. Лунин и Зуев давно потеряли форму, были рыхлыми, со складками жира на боках и животах. А ноги оставались худыми и тонкими и только подчеркивали преклонный возраст. Один Астахов еще выглядел орлом. Выше обоих и подтянутый. Только складки на шее и синие вены на ногах выдавали, что он сверстник своих приятелей.

Астахов стоял посредине, положив руки на плечи Зуеву и Лунину, и Зуев не удержался, чтобы не съязвить:

— Тоже три богатыря. Да труба пониже и дым пожиже.

— Измельчал народ, — согласился Лунин, вглядываясь в богатырей на картине. — Нет уж таких русских. В основном, вроде нас с вами. Мелочь человеческая.

— А ты чего хотел? — спросил Астахов. — Чтоб наш современник имел богатырский вид? Я еще удивляюсь, что наш народ совсем не выродился. Не опустился снова на четвереньки и не покрылся шерстью. Да посудите, ребята, сами. Вот уж больше полувека с нашего народа регулярно снимают сливки и выливают прочь. Прошрое столетие. Россия крепостная на костях крестьян-рабов накопила немало интеллектуального жира и удивила мир. Золотой век русского искусства. В музыке — Чайковский, Глинка, Мусоргский. В литературе — Пушкин, Лермонтов, Достоевский и Толстой, Чехов.

В революцию мы сами сняли с себя сливки, уничтожили старую интеллигенцию, а потом вырастили свою, рабоче-крестьянскую, и Сталин в тридцать восьмом году пустил ее под нож.

Вторая мировая война унесла у нас двадцать миллионов жизней. Самых ярких. А в коллективизацию сгноили

в Сибири цвет русского крестьянства. Так какой же народ еще перенес бы столько кровопусканий и не захирел окончательно? А мы еще держимся. Спутники в космос запускаем. Ракеты на весь мир нацелили. Нет нам равного народа на земле. И хоть вид у нашего поколения далеко не богатырский, я горжусь, что принадлежу к этому народу.

— Оду пропел, — криво усмехнулся Зуев, а Лунин добавил: — Я тоже не стыжусь, что я русский, да как-то не нахожу чем кичиться.

— Могу объяснить, — заупрямился Астахов.

— Да брось ты, — примирительно сказал Зуев. — Послушай-ка лучше анекдот. Зачем спорить? Народная мудрость все на свои места ставит.

Значит, встретились, как часто водится в наших анекдотах, трое: англичанин, француз и русский. И заспорили, у кого женщины изящней и воздушней. Англичанин говорит:

— У нас встречаются такие тонкие и миниатюрные женщины, что сложи ее, в портфеле уместится.

А француз бьет своим козырем:

— Наши женщины в Париже такие изящные и воздушные, что случись сильный ветер, их может сдуть с площади имени Шарля де Голля и занести на самую макушку Эйфелевой башни.

А русский набычился, ворочает мозгами, чем бы их козыри побить, да и отвечает:

— А у нас такие женщины... вот, скажем, ухожу я утром на работу, хлопну жену на прощанье по жопе, возвращаюсь вечером, а жопа все колышется.

Англичанин да француз в полном конфузе:

— О чем ты, Иван? Мы же толкуем о том, у кого самая изящная женщина.

Русский поглядел на них с превосходством:

— А я к тому, что у нас в СССР самый короткий рабочий день.

— Советский патриот, — захохотал Астахов.

Рассмеялись все трое. А Лунин покачал головой:

— Вот так-то. В огороде — бузина, а в Киеве — дядь-

ка. Наш-то Иван, о чем бы ни зашла речь, все в одну точку бьет: мы хоть такие-сякие, лаптем щи хлебаем, а все же лучше всех. Это у нас с давних времен повелось. Недостаток ума хвастовством покрываем. Помните, до Второй мировой войны как мы трубили на весь мир: наша авиация летает дальше всех, быстрее всех и выше всех! А стукнули немцы, и что-то я в небе наших самолетов никак разыскать не мог. Немцы их на аэродромах пожгли, а тех, которые успели взлететь, как цыплят посшибали.

— Все это верно, — согласился Астахов, усаживаясь в кресло и раскуривая трубку. — Но выиграли войну мы. Вся Европа на колени пала, а наш русский мужичок такой-эдакий своими ножками до Берлина дотопал и водрузил знамя Победы над Рейхстагом.

Искры из раскуриваемой трубки попали на грудь в седые волосы, и он стал усердно дуть и рукой стряхнул их.

— Бог тебя наказывает за казенные формулировочки, которыми ты пользуешься в разговоре даже с друзьями, — усмехнулся Лунин, усаживаясь голым задом на ковер у ног Астахова.

— А что я неправ? Дело-то ведь не в формулировке, а в факте, положенном в основу.

— И факт-то хилый. Зависит с какой стороны на него посмотреть, — сказал Лунин. — Вот ты говоришь, наш русский солдат до Берлина дотопал своими ножками. Неправда! И сам это знаешь, на фронте был. Не своими ножками мы до Берлина дотопали, а на американских «Студебеккерах» да «Виллисах» доехали. И не одень нашу армию Америка, мы бы без порток да в лаптях ходили. И не ходили бы, а подошли с голоду. Вспомни, чем кормились: рузельтовыми яйцами — сухим яичным порошком и свиной тушонкой из Чикаго.

— Не спорю, — сдился Астахов. — В войну было так. Но тогда как объяснить такой факт? Уже после войны, когда мы остались разоренными дотла, потеряли лучшую часть мужского населения — главную производящую силу, а Америка к нам повернулась спиной и объявила холодную войну, как же так получилось, что мы сами, без

чьей-либо помощи, довели Россию до уровня самой сильной державы, первыми запустили спутники в космос и заставили весь мир трепетать перед нами? В том числе и Америку. А?

— Очень просто, — угрюмо ответил Лунин. — Мы тут все свои. Доносы строчить друг на друга не станем. Отвечу, что думаю. На рабском труде, мой друг. На принуждении. На том, что Россия животы подтянула, недоедала, недопивала и ходила в обносках. Вот и обогнали всех, кто жил, как люди, в производстве оружия. Таким же путем, на рабах, и древний Рим владел миром. Да мы знаем, чем это кончилось.

— У-у, ребятки, — замахал руками Зуев. — А вдруг тут в стенах микрофоны упрятаны? А вы такое несете. Мы же о бабах собрались поговорить. Душу порадовать. Все! Я запрещаю отклоняться от темы! И для зачина расскажу вам анекдот про наших русских баб.

Значит, так. Все люди рано или поздно помирают. И женщины тоже. И наши русские бабы в том числе.

Вот прибывает на тот свет свеженькая партия покойниц из России. Вернее, из СССР. Дело-то в наше время происходит. И предстали они пред испытующими очами Господа, который выстроил их в три ряда нагишом, и задает вопросы на предмет определения: кого — в рай, кого — в ад.

— Кто из вас согрешил до замужества — три шага вперед!

Все русские бабы дружно протопали три шага. Лишь одна осталась на месте.

Господь задает второй вопрос:

— Кто грешил после замужества — три шага вперед!

Все русские бабы, не раздумывая, еще три шага протопали. Лишь та, единственная, не стонулась с места.

— Добро, — поразмыслив, сказал Господь. — Всех — в ад! И эту глухую блядь тоже!

Лунин рассмеялся громче всех:

— Ну, Зуев, даешь! Неисчерпаем! Ты мне кое-что на-

помнил. Чтoб больше не спорить, дайте-ка я вам расскажу историю.

РАССКАЗ ЛУНИНА

Я, пожалуй, нарушу установившийся у нас порядок и поведаю вам историю, в которой я не был ни участником, ни свидетелем. И знаю ее со слов своего приятеля, которого назовем, скажем, Анатолием. Он эту историю излагал не только мне одному, а довольно большому кругу наших общих знакомых, и всякий раз завершал ее одним и тем же вопросом:

— Случайно ли, что в рассказанных событиях все люди оказались, как на подбор, безвольными трусливыми существами безо всякого понятия о мужской чести, или это правдивая до жути картина нравов нашего общества, которое, как известно, — самое передовое и прогрессивное и воспитало и взлелеяло неведомый доселе тип нового человека?

Этот вопрос занимает и меня, но в отличие от Анатолия я его не ставлю перед каждым встречным и поперечным, а то ведь недолго лишиться партийного билета и всех благ, причитающихся обладателю оногo.

Вот, что рассказал Анатолий, и я вам расскажу все, что запомнил, не привирая и не утаивая.

Произошло это в одном городе, где по решению свыше собрали кустовое совещание работников отделов пропаганды и агитации, а также работников культурно-просветительных учреждений. Из нескольких областей съехались, что называется, лучшие люди — краса и гордость коммунистической партии, пример и образец для всего остального трудящегося населения. Тут были и секретари райкомов, и заведующие лекторскими бюро, и сами лекторы тоже, преподаватели марксизма-ленинизма, школьные учителя, директора клубов, журналисты из всех

местных газет. Одним словом, партийно-культурная элита, самый идейный, самый просвещенный слой партии.

Я это подчеркиваю сознательно, потому что это очень важно для оценки последовавших за тем событий. И если бы участниками этих событий были простые люди, так называемый советский обыватель, я бы и не стал занимать ваше время. Но тут, как на подбор, собрались партийные сливки, опора партии и государства, ее морально-политический стержень. Ведь именно эти люди воспитывают все население, вколачивают в головы советского народа основы высокой коммунистической морали, и уж несомненно они сами, по идее, должны быть кристально чистыми носителями этой морали.

Совещание проходило в городском театре, а поселили делегатов в центральной гостинице, еще оставшейся с до-революционных времен и потому отличавшейся аляповатой, рассчитанной на купеческий вкус, архитектурой, с традиционным чучелом бурого медведя, застывшего на задних лапах возле пыльной пальмы в кадке на истертом ковре вестибюля. У массивных дубовых дверей с медными львиными головами на ручках стоял толстый швейцар с роскошной бородой лопатой в ливрейной униформе с серебряным шитьем наподобие цирковой или адмиральской. Швейцар был стар и алькогольно краснонос, видать, тоже сохранился как музейный экземпляр еще с царских времен. Хотя, пожалуй, вру. Ему в таком случае должно было бы за сто лет перевалить. А он — кровь с молоком, румянец во всю щеку, и пудовые кулаки. Значит, нашей, советской формации вышибала. Но льстив и подбострастен перед начальством и грозен и неприступен для простого люда, как в лучшие старорежимные времена. Лакейская традиция не претерпела изменений с переменной социального строя.

Как и положено в таких случаях, участников совещания кормили в гостиничном ресторане, выделив туда лучшие продукты и сняв сливки со всего городского снабжения. Город остался, как и водится в подобной ситуации, без мяса и масла. А сверх того, из неприкосновенного запаса

подкинули икры и французского коньяка. Конечно, простому люду в эти дни доступ в ресторан был наглухо закрыт, как и закрылись на полдня двери в универмаге. В эти полдня там могли покупать только участники совещания, и на прилавки выбросили весь дефицитный товар: заграничные кофточки и обувь, которые местным щеголихам могли лишь присниться в самом радужном сне.

Всё чин-чином, как это делается по всей необъятной Руси с той поры, как солнышко марксизма-ленинизма засияло русским людям, указав им светлый путь в будущее.

Но это все присказка, сказка впереди.

Мой друг Анатолий прибыл на это совещание из Москвы в качестве столичного гостя и наблюдателя и там повстречал своего приятеля, с которым давно не видался, Егорова — инспектора Центрального лекторского бюро, которого прислали для ценных руководящих указаний тамошним пропагандистам и лекторам.

А был этот Егоров шальным парнем. Выпивоха, бабник и драчун, но держали его за серебряный язык. С трибуны заливался соловьем. Таким обладал даром словесного внушения, что мог любого, даже самого ярого антикоммуниста, сделать сторонником советской власти. Так, по крайней мере, считал Анатолий.

Этот Егоров в свое время прославился. Ему предстояло читать лекцию для партийного актива о моральном облике советского человека, а накануне он нализался в ресторане, стал приставать к женщинам, за что был побит основательно. Назавтра вышел он на трибуну — весь зал ахнул. Хоть и старательно припудрил физиономию, но даже в заднем ряду публики могла различить багровый синяк под глазом, вздутую губу и рваную царапину через всю щеку до носа.

Лекция о моральном облике советского человека была коронным номером Егорова, читал он ее сотни раз и начинал всегда с цитаты из Антона Павловича Чехова. Вот и в этот раз Егоров, не уловив подвоха, взял старт с чеховской цитаты:

— В человеке все должно быть красиво, — проникновенно начал он. — И лицо, и одежда, и мысли...

Дальше продолжать ему не пришлось. Зал, лицезревший покаянную физиономию лектора, грохнул. Хохот сотрясал стены. Публику никак не удавалось успокоить. И лектора пришлось увести, а дело его передать на рассмотрение идеологической комиссии. Егоров отделался легким наказанием. Ему все сходило с рук.

Вот такого приятеля встретил Анатолий. Они глотнули изрядную долю французского коньяка после первого дня совещания, затем добавили «Столичной» водочки, раздавили пару бутылочек Пильзенского пива — этого всего по случаю совещания в ресторане было навалом — и душа Егорова возалкала действий. Ему захотелось дамского общества. А туземные дамы шарахались от Егорова, когда он пытался приставать к ним на улице. В провинциальном городе такое знакомство считается непристойным.

Наступила ночь. Анатолий и Егоров не нашли себе подруг и им предстояло одиноко и тоскливо ворочаться в скрипучих постелях до утра, потому что гомосексуалистами они не были. Отнюдь!

— Пойдем, хоть швейцару бороду пощипаем, — предложил Егоров, который сидел как на шпильках, и ему страсть как хотелось накуролесить.

— Не годится, — отмахнулся Анатолий, который был человеком осторожным и отличался кротким нравом, хотя и был непрочь пошалить, но тихо и без огласки.

— Ручаюсь головой, — сказал Егоров с печалью в голосе, — что во всей этой гостинице только мы с тобой проведем ночь, как монахи, а вот делегаты конференции, вся эта шушера провинциальная, борцы за мораль, сейчас в своих комнатах трахают баб.

— Ну, уж и трахают... — осторожно возразил Толя.

— Не веришь? — поднял на него воспаленные глаза Егоров и Толя увидел в них озорные, не предвещающие ничего хорошего огоньки.

— Слушай, Толя, — воспламенился Егоров. — Мы

сейчас отколем трюк — закачаешься. Такого в этой дыре еще не видали. Мы с тобой — комиссия по проверке морали. Неважно, что такой комиссии не существует в помине. Сунем в нос красные московские удостоверения — эти вахлаки онемеют от страха и все примут за чистую монету. Важно только напустить на себя строгий вид, как и подобает высокому начальству, в пререкания не вступать, обрывать на полуслове, быть неумолимыми. Они у меня наложат полные штаны. Пойдем, Толя!

— Погорим! — стал упираться осторожный Толя. — Быстро раскусят, что мы самозванцы.

— Кто раскусит? — взвился Егоров. — Эти трусливые жалкие душонки, готовые любому начальству, даже и мнимому, вылизать жопу, причмокивая, лишь бы сохранить свое хоть маленькое, но руководящее положение. Я тебе покажу, как они у меня запоят, пойманные с поличным на самом страшном партийном грехе — совокуплении с посторонней женщиной. Эти жрецы морали, эти так называемые партийные пуритане, похотливо потеют сейчас в своих постелях на чужих малознакомых бабах, которых завлекли, посулив чего-нибудь, то есть, используя свое служебное положение. Это же позор, Толя! Этому надо положить конец! А кто здесь подлинные жрецы партийной морали? Мы с тобой, Толя! Пойдем вниз и зарканим швейцара. Он-то, небось, знает, что где творится. Не один рублик в ладошку сунули, чтоб сделал вид, будто ничего не видит. А в советскую гостиницу, Толя, приводить женщину в поздний час категорически запрещается. Значит, у него, у швейцара, рыло в пуху. Он у нас на крючке и чтоб не лишиться такой доходной должности, выполнит все, что мы ему прикажем. Твоя задача, Толя, при сем присутствовать и иметь строгий целомудренный вид. Командую парадом я.

И они сыпанули по лестнице вниз, в вестибюль, где у пустой конторки с крючками для ключей дремала баба-дежурная, а адмирал-швейцар сидел возле медвежьего чучела в кресле, распустив бороду по обшитой серебром груди.

На последнем марше лестницы Анатолий и Егоров умили шаг и пошли вниз степенной начальственной походкой с суровыми замкнутыми лицами.

Результат был вернейший!

Баба-дежурная очнулась от дремоты и засуетилась в своей конторке, изображая начальству деловую активность. Швейцар вскочил с кресла, вытянул руки по швам и, как солдат, преданно гаркнул:

— Здравия желаем!

И взял под козырек своей фуражки с высокой тульей, увитой серебряным шитьем.

— Та-ак, — протянул Егоров, устремив на швейцара взгляд, ничего доброго ему не суливший.

Красный румянец на щеках швейцара стал быстро испаряться, уступая место бледности.

— Значит, несешь службу? — медленно выговаривая каждое слово, протянул Егоров.

— Стараемся... — жалобно улыбнулся швейцар, явно предвкушая недоброе.

— Хорошо стараешься. Скоро мы увидим, как ты стараешься. Дежурная! — повелительно повернулся он к бабе за конторкой. — Будьте любезны, уйти из вестибюля на минуточку. Нам необходимо побеседовать с этим гражданином без лишних свидетелей, так сказать, тет-а-тет.

Дежурная исчезла, как будто ее смыло. Егоров использовал точно рассчитанный психологический эффект: вечный страх подчиненного, у которого всегда отыщется грех за душой, перед начальством, да еще чужим, а, значит, и неподкупным.

Швейцар прирос к месту и без звука шевелил губами.

Егоров вынул свое удостоверение в ярко-красном переплете, не раскрывая, показал его швейцару и спрятал в карман.

— Мы, — кивнул он на Анатолия, — комиссия по проверке партийной морали. Ясно?

— Ясно, — проблеял швейцар.

— В этой гостинице подозревается явное нарушение

норм советской морали. Постояльцы в большом числе привели к себе на ночь женщин и теперь занимаются совокуплением, порочающим моральный облик советского человека. Так, что ли?

— Вам виднее, — пролепетал швейцар.

— Нам многое виднее. И то, что ты, пребывая на служебном посту, брал взятки, позволяя постояльцам провести дам в свой номер, что является грубейшим нарушением норм советского общежития.

Швейцар даже не возразил, потрясенный пронизательностью начальства, и поник с обреченным видом.

— Но ты еще можешь заслужить снисхождение... и даже сохранить свое место на службе, если честно и беспрекословно окажешь нам содействие в выполнении поставленной перед нами задачи.

Швейцар вскинул голову, выставив вперед бороду, и глаза его ожили.

— Только прикажите. Все сделаю! Для блага партии и нашего советского государства.

— Зачем так высокопарно? — поморщился Егоров. Он наслаждался разыгрываемой комедией. — Все очень просто. Ты укажешь нам, в каких комнатах теперь творятся шуры-муры, ведь не забыл, у кого взятки брал, вежливо постучишь и потребуешь открыть двери, а дальше уж наше дело. Твоя обязанность стоять в коридоре, ждать, когда мы выйдем и вести нас к следующей комнате. Задание ясно?

— Так точно! — радостно гаркнул холуй в адмиральской форме, уже было потерявший и снова обретший свою весьма доходную должность. — Пояснений не требуется.

— Тогда, марш вперед, — махнул рукой Егоров. — Приступим.

Швейцар услужливо запрыгал вверх по лестнице, невзирая на свой избыточный вес. Они стали подниматься следом.

Запыхавшийся швейцар прошел несколько шагов по коридору.

— Вернись, — велел Егоров. — Стучи в первую дверь.

Швейцар замялся, Егоров точно угадал. Жилец из этой комнаты сунул ему взятку. Глубоко вздохнув, швейцар робко постучал косточками пальцев.

— Кто там? — после долгой паузы отозвался недовольный мужской голос.

— Откройте, — хрипло сказал швейцар. — Комиссия.

— Какая комиссия? Кто дал право тревожить покой советского человека? — тон за дверью был самоуверенный, видать, обладатель его привык командовать. — А вот какая комиссия вы узнаете, когда мы взломаем дверь, — стальным голосом вмешался Егоров, — если не откроете сами добровольно. Женщина пусть не одевается, а останется в постели в таком виде, в каком она сейчас пребывает.

Егоров действовал безошибочно.

За дверью наступила испуганная тишина, затем раздался приглушенный шепот двух голосов, босые ноги зашлепали по полу, со скрипом повернулся ключ в замке, дверь приоткрылась и в узкой прорези показалась часть одутловатого мужского лица, увенчанного лысиной с редкими волосиками.

— Не стесняйтесь, открывайте, — плечом распахнул дверь Егоров. — Стесняться надо было раньше.

Егоров, а вслед за ним Анатолий и швейцар прошли в комнату, тускло освещенную настольной лампой. На стульях валялась мужская и женская одежда вперемежку, у задней спинки кровати стояли, отливая блеском, черные лакированные дамские туфли на высоких каблуках. В кровати под смятыми простынями бугрился силуэт человеческого тела, укрытого с головой.

Егоров велел швейцару выйти и стоять за дверью, пока не позовут, а затем, покосившись на дамские туфли, спросил хозяина комнаты, переминавшегося в своей фланелевой пижаме босыми ногами на холодном пластиковом полу:

— Ваша обувь?

Одутловатый хмыкнул, давая понять, что он оценил его чувство юмора.

— Все ясно, — Егоров сдвинул с кресла на пол охапку одежды и сел.

— Попрошу предъявить документы.

— А вы, собственно, кто такие?.. — неуверенно спросила пижама.

— Комиссия по проверке морали участников совещания. Вам нужны документы?

— Нет, нет... Я просто... полюбопытствовал... не знал, грешным делом,.. что такая комиссия существует,.. а я в партии двадцать пять лет.

— Круглая дата, — согласился Егоров. — Вот на ней и завершится ваше пребывание в партии. Документы!

Одутловатый метнулся к шкафу, порылся в его темной глубине и протянул Егорову удостоверение в вишневом переплете.

— Заведующий отделом пропаганды и агитации районного комитета партии, — прочитал нараспев Егоров, с особенным наслаждением произнося фамилию и имя-отчество обладателя удостоверения. — Разлагаемся. Развратничаем. Народу говорим одно, а сами что вытворяем? Она кто? — кивнул Егоров на бугор под простыней. — С улицы?

— Нет, нет, — запротестовал одутловатый. — Наша... делегат совещания... живет этажом выше.

Под простыней раздалось сдерживаемое всхлипывание.

— Коммунистам слезы не к лицу, — укоризненно сказал Егоров. — Умели гадости делать — умейте держать ответ. Попрошу партийные билеты.

— Ни за что! — встрепенулась пижама и стала в петушиную позу. — Только своему непосредственному руководителю, секретарю райкома партии я верну его. Больше никому!

— Не мельтеши, — поморщился Егоров. — Сядь! Устав знаешь. Не нужен мне твой партийный билет. Сдашь его, кому следует, когда выметут из партии как мусор, как сорную траву, чтоб освежить, очистить атмосферу в наших рядах. Мне нужен номер партийного билета. А вы, — Егоров устало кивнул Анатолию, — запиши-

те. Заодно велите швейцару принести их паспорта. Ее — тоже.

Одутловатый упавшим голосом пробормотал номер своего партийного билета и спрятал его дрожащими руками куда-то в недра шкафа. Анатолий для видимости черкнул что-то в своей записной книжке. Швейцар принес снизу два паспорта, передал их Анатолию и аккуратно закрыл за собой дверь, снова заняв свой пост в коридоре. Анатолий с каменным лицом протянул паспорта Егорову. Тот небрежно раскрыл один, перевел взгляд с одутловатого на фотографию в паспорте, раскрыл второй.

— Опустите простыню, — строго велел он. — Я хочу сверить лицо с паспортной фотографией. Не стесняйтесь. Стесняться надо было раньше, когда штаны снимала.

Простыня поползла с подушки, открыв кудрявую в искусственных завитках голову довольно молодой женщины со смятым, без косметики лицом и припухшими губами. В ухе поблескивала золотая сережка. Она щурилась на свет и вид у нее был загнанного, запуганного зверька.

— Ну, что ж, — вздохнул Егоров. — Все соответствует. Номер вашего партийного билета?

— Он... у меня в комнате... отвернитесь, я оденусь... и принесу...

— Не надо одеваться, лежите, как лежали. Как говорят юристы, на месте содеянного преступления. А в вашу комнату мы ходим потом. Какую должность занимаете?

— Диретор Дома культуры... — залепетала она, — занимаем первое место в области... за достижения...

— Знаем ваши достижения, — оборвал Егоров. — Вам не Домом культуры заведовать, а публичным домом. Но, к счастью, таких в нашей стране нет. А есть отдельные личности, позорящие высокое звание советского человека, да еще к тому же члена славной коммунистической партии.

Егоров вошел во вкус. Он получал истинное удовольствие, поучая этих испуганных и жалких людей.

— Судя по отметкам в паспортах, — продолжал он, — вы оба семейные люди. Вы имеете жену, а вы — мужа. И

они, бедняги, вам доверяют, даже не подозревают, чем вы тут в гостинице занимаетесь. Я думаю им будет весьма интересно узнать об этом.

— Господи! — запричитала в постели женщина. — Не губите! Пощадите! Ведь есть же у вас сердце?

— У меня есть сердце. Коммуниста. Я исполняю свой партийный долг.

— Дорогой товарищ, — вдруг перебил плаксивым голосом одутловатый. — Простите нас. Это случилось впервые... не знаю как... Я больше не буду... Даю честное партийное слово... Не верите? Могу на колени встать.

Он тяжело, с одышкой опустился на колени и пополз к Егорову, протягивая в мольбе руки.

— Встать! — брезгливо сказал Егоров. — Коммунисты не стоят на коленях. Мразь!

— Хорошо, хорошо... абсолютно согласен, — затараторил одутловатый, поднимаясь на ноги. — Но чем я могу заслужить прощение? Скажите, я сделаю.

— Все сделаешь? — прищурился на него Егоров.

— Все, что прикажете, — поспешно согласился одутловатый, уловив в вопросе нить надежды. — Все, все... Только прикажите.

— И ты? — глянул на женщину в кровати Егоров.

— И я... и я.

— Хорошо... — протянул Егоров. — Может быть для первого раза мы и проявим к вам снисхождение... Не знаю... Посмотрим. Это зависит от вашего поведения.

— Какого? — в один голос встрепенулись они оба, а он еще добавил заискивающе. — Говорите, мы готовы.

— Готовы ли? Посмотрим. Ну, ладно. Умели грешить, умеете каяться. Покажите нам, продемонстрируйте, как вы тут совокуплялись, нарушая свой семейный долг и позоря звание коммуниста. Может быть, вы это делаете так хорошо, с таким мастерством... что это достойно подражания?

Одутловатый сначала онемел, а потом, приняв за шутку, хихикнул:

— Что вы, дорогой товарищ... какое уж тут мастерст-

во... Обыкновенно... В нашем возрасте, как известно... не до жиру, быть бы живу...

— Что ж, в таком случае прощайте, — поднялся с кресла Егоров. — Нашу беседу мы продолжим в другом месте. Вас вызывают.

— Нет, нет, — замахал руками одутловатый. — Не уходите. Дайте хоть подумать.

— А вы не шутите? — спросила из кровати женщина, уже без страха, даже с некоторым кокетством во взоре. — Вы действительно хотите, чтоб мы вам продемонстрировали... это самое?

— Я два раза не люблю повторять, — сказал Егоров без тени улыбки и снова сел.

— О-кей, — вызывающе улыбнулась она Егорову и Анатолию, одним рывком сбросила на пол простыню, открыв белое довольно стройное тело, слегка начавшее полнеть, и встала на ноги, прикрыв обе груди скрещенными руками.

— Но как это я... смогу?.. — запротестовал одутловатый. — Я — не животное.

— Вы коммунист, — оборвал его Егоров. — Пока. А как известно, для коммуниста нет преград, нет крепостей, которые большевики бы не взяли... Ну, голубчик, приступайте.

Одутловатый конфузливо стал шарить в ширинке пиджамных штанов.

— Сбросьте пижаму, — велел Егоров. — В натуральном виде, как мать родила.

— А как... нам лучше? — спросила она Егорова, ухмыляясь греховно и с вызовом. — Лежа, на спине... или вы предпочитаете наоборот?

— Я полагаю, лучше — раком... — рассудительно сказал Егоров. — Оно наглядней.

Анатолий стоял как пригвожденный к месту, не смея шелохнуться. Ему все это казалось нереальным. Он ожидал, что вот-вот все рассмеются как после скверной шутки, Егоров извинится перед ними, а они его великодушно

простят, и все разойдутся, стараясь больше не встречаться, чтоб не смотреть друг другу в глаза.

Он никак не мог свыкнуться с мыслью, что два взрослых семейных человека, у которых, несомненно, имеются дети, как затравленные кролики, потеряв всякое чувство человеческого достоинства ради того, чтобы не нарушить свой устоявшийся и, видать, не так легко доставшийся образ жизни мелких районных чиновников, согласны унижаться до последней степени.

Неужели они не взбунтуются? Неужели не пошлют все к черту и набьют морду Егорову и ему, Анатолию, тоже хорошенько покарябают физиономию?

Одутловатый покорно снял пижаму, обнажив волосатую с сединой грудь и вислый, в жировых складках живот. Такие же редкие волосики, как и на лысине, проросли у него и на лопатках и на пояснице. Только на лобке под складкой живота густо курчавилась рыжинка и под ней совершенно исчезла даже видимость принадлежности к мужскому полу. Кроме волос там ничего не наблюдалось.

— От страха ушло внутрь, — подумал Анатолий.

Дама, тряхнув кудряшками, повернулась к ним спиной, нагнулась, уперлась ладонями в край кровати, выставила широкий, белый, в ямочках зад и, расставив бедра, уже не такие тугие, а с ложбинками в дряблой коже, открыла им мохнатый пучок неожиданно темных волос и влажно-розовую вертикальную щель посередине.

— Ну, идите же, — как конь повернула она голову из-за плеча и одутловатый, колыхаясь творожным животом и затравленно озираясь на Егорова и Анатолия, прошлепал по серому пластику.

Он неуверенно прижал брюхо к ее заду, руками и грудью навалился ей на спину и сделал несколько ерзающих движений молочными ягодицами.

— Не получается, товарищи, — не отлипая от ее зады обернулся он к своим палачам и, чуть не плача, сообщил: — Не стоит...

Дама распрямилась, оттолкнув одутловатого.

— Я не виновата, это он... Но можно попробовать по-другому.

— Как по другому? — заинтересовался Егоров.

— Я возьму... в рот, — потупилась она.

— Минет, что ли? — вскинул брови Егоров. — У французов это так называется.

— Да, — кивнула она, — с вашего разрешения...

Егоров помедлил с ответом, словно взвешивая, стоит ли позволять такую вольность, явно не нашего, а западного происхождения:

— Ладно. Валяйте.

Она с готовностью опустила на колени, обеими ладонями обхватила ягодицы своего незадачливого напарника и уткнулась лицом под нижнюю складку его живота. Светлые кудряшки на затылке дергались по мере того, как голова глубже зарывалась между безвольно расставленными волосатыми бедрами.

Одутловатый закатил свои поросячьи глазки и морщил розовый носик, посапывая.

— Отставить, — брезгливо скривился Егоров. — Стошнить может. Хреноватый мужик тебе, баба, достался. Одевайся.

Она вскочила с колен, вытерла ладонью губы и заглянула интимно и доверительно Егорову в глаза:

— Я могу считать, что вы меня простили?

— Это уж решать будем мы. В любом случае, основная вина на нем лежит. Соблазнил, а ничего сделать не может. Ты — жертва.

— Правильно, — горячо закивала она, торопливо натягивая на голый зад юбку. — Кобель слабосильный. Лишь раздражил. Твоим хером только сковороды мазать. И за такую радость мне ставить под удар свою карьеру и личную жизнь?

Она уже была в свитере, а бюстгальтер и трусики, не надев, смяла в кулаке и наотмашь хлестнула одутлова-того по носу.

— Без рукоприкладства, — остановил ее Егоров. — Он

свое наказание получит. А ты , давай, валяй отсюда. Вот он тебя проводит.

— Пойдемте, товарищ, — переложив бюстгальтер и трусики в другую руку, с готовностью схватила она Анатолия за локоть.

Они вышли в тускло освещенный коридор, обогнули заставшего тумбой швейцара, быстрым шагом отмахали три марша лестницы, вошли в ее маленький номер. Она включила свет, заперла дверь, швырнула на кровать смятые трусики и бюстгальтер и спросила Анатолия:

— Я вам нравлюсь... как женщина?

Анатолий что-то забормотал в ответ, а она не стала слушать.

— Дайте я вам отсосую. Идет? На память об этой ночи...

Она легко подтолкнула его к кровати, он сел, потеряв равновесие, завалился на спину, ткнувшись затылком в стену. Ее быстрые пальцы забегали по брюкам, расстегивая «молнию», она склонила лицо, зарылась носом, и Анатолий почувствовал, как теплые губы обхватили быстро возбужденный член, и она задвигала липким язычком, отчего блаженство растеклось по всему телу.

Уже провожая его из комнаты, она доверительно заглянула в глаза и облизывая языком губы, спросила:

— Значит, все в ажуре? Я могу быть спокойна?

— Более-менее, — он ободряюще хлопнул ее по заду и вышел в сонный пустой коридор.

Внизу он увидел швейцара у другой двери и понял, что Егоров чинит расправу над новой парой. Анатолий вошел без стука в маленький номер со следами раздавленных клопов на старых пожухлых обоях и единственным окном, выходившим во двор. Егоров сидел, развалившись, в кресле возле круглого столика под плюшевой скатертью, на котором темнела бутылка чуть-чуть отпитого портвейна, два стакана со следами вина на доньшках и раскрытая пачка дешевого печенья. Крошки от печенья были раскиданы по скатерти. Вино, стаканы и печенье имели виноватый вид вещественных доказательств совершенного преступления, а сами преступники сидели рядышком на

краешке кровати, полуодетые, и по возрасту да и по виду никак не похожие на развратников.

Ему было за пятьдесят. Ей не меньше. Оба невзрачные, жалкие и, видать, нагота двух пожилых и некрасивых людей покорила эстетическое чувство Егорова, и он позволил им накинуть на себя кое-что из одежды.

Они сидели на краю кровати, как два воробушка, и обреченно и безо всякой воли к протесту смотрели Егорову в рот. А тот, чуть ли не зевая от скуки, читал им мораль и сам тяготился своей ролью, настолько этот случай был неинтересным.

— Итак, — подвел он итог, когда Анатолий вернулся, — вы — старые пакостники понесете ответственность по всей строгости партийных норм. Ты, бабушка, собирай свои монатки и катись отсюда...

— А я? — вскинул головку на цыплячей шее ее любовник.

— Ты? — смерил его скучающим взглядом Егоров, прикидывая, чем бы его еще припугнуть. — Ты тут останешься. Комната твоя, куда тебе идти? Спи до утра, если сможешь уснуть...

Его взгляд остановился на бутылке портвейна. Хмель от прежде выпитого уже улетучился из головы, захотелось добавить и Егоров сказал деловито:

— Вино и закуску мы конфискуем...

— Пожалуйста, пожалуйста, — метнулся от кровати к столику полуодетый человек и дрожащими руками схватил портвейн и пачку печенья, просыпав несколько кусочков на пол. — Стаканы тоже возьмете?

— На хрен нам твои стаканы? — рассердился Егоров, забирая у него портвейн и печенье. — Это мы пришьем к делу, как вещественные улики.

В коридоре Егоров, не стесняясь швейцара, запрокинув голову, отхлебнул из горла несколько долгих глотков портвейна и отдал печенье и бутылку швейцару:

— Держи, борода. Но не смей пить. Это — улики. Понял? А теперь веди к следующим голубкам.

По коридору прошел запоздалый жилец, недоуменно

покосился на них, и швейцар, придерживавший рукой у груди бутылку портвейна и пачку печенья, помедлил перед дверью и постучал лишь тогда, когда фигура исчезла за поворотом коридора.

В этой комнате «контролеров» ожидал сюрприз, который мог бы привести к скандалу и самым плачевным последствиям для них. В этой комнате обитал не кто иной, как прокурор. Тоже делегат конференции. И при этом сравнительно молодой и рослый здоровый мужик. Способный набить морды и Егорову, и Анатолию и вышвырнуть их, как шкодливых котят в коридор. А утром возбудить против них уголовное дело по всей строгости закона, который уж кому-кому, а прокурору известен до последней запятой.

Белобрысый прокурор открыл дверь без спешки и успел натянуть на себя синие форменные галифе, а босые ноги сунуть в шлепанцы. Его ночная подруга, особа тоже молодая и крайне аппетитная, сидела на кровати в розовой рубашке с кружевами по краю, поджав колени к подбородку, и колени ее были круглыми, вкусными, а с красивого и нагловатого лица еще не сошли следы возбуждения от любовных утех, так неуместно прерванных этим вторжением.

Прокурора не убедили слова Егорова о том, что они — партийные контролеры и по указанию свыше проводят проверку облика делегатов, размещенных в гостинице, и потребовал предъявить документы. Егоров и Анатолий без большой охоты показали ему удостоверения. Они сразу поникли и даже побледнели, но прокурор к счастью этого не заметил. То, что они оба из Москвы, неожиданно произвело впечатление на прокурора и заметно сбilo с него спесь. И тогда Егоров, быстро совладав с собой и припомнив весь арсенал демагогических словечек и лозунгов, коршуном налетел на прокурора, не давая ему опомниться под потоком самых страшных обвинений, изреченных безапелляционным тоном и голосом, полным негодующего металла.

Бравый прокурор на глазах растерял остатки мужества

и позорно капитулировал. Воспользовавшись паузой в гневной филиппике Егорова, он смиренно вставил:

— Товарищи, да мы же все мужчины... Попробуйте понять... С каждым бывает...

— Не с каждым! — отсек Егоров. — А с нарушителями норм партийной морали.

— Ну, хорошо... согласен... каюсь... Бес попутал... А повинную голову меч не сечет... У меня семья, детишки... Десять лет в партии... ни одного взыскания... Безупречная репутация...

— Безупречная, — сказал Егоров. — А она кто? Тоже делегат совещания?

— Да. Из местных. Живет не в гостинице. Заглянула на огонек. Она — подруга моей жены. Вместе институт кончали...

— Так, подруга, — протянул Егоров, плотоядно оглядывая аппетитную фигурку в ночной рубашке, молча сидевшую в углу кровати, положив подбородок на колени.

— Документы с собой?

— А зачем мне их таскать? — криво усмехнулась она.

— Дома документы.

— И муж дома? — спросил Егоров. — Спит, небось, второй сон видит.

— Это вас не касается.

— Ой ли? — улыбнулся ей Егоров. — Ну, вот что, матушка, одевайся да побыстрей. Пойдешь с нами.

— Никуда не пойду.

— Нет, нет, тебе надо пойти, — вмешался прокурор. — Не надо сердить товарищей. Они при исполнении служебных обязанностей.

— Подонок! — сплюнула женщина, поднявшись на ноги на упругом матрасе. — Жалкий трус! Не может защитить женщину, с которой спит. Все равно этим своей шкуры не спасешь.

Она стала одеваться у них на глазах, демонстративно не отворачиваясь, и когда натягивала трусики на крепкие стройные бедра, вызывающе задрала рубашку.

Прокурор услужливо протянул ей юбку. Она вырвала ее из его руки и презрительно прищурилась:

— Не лакействуй, не поможет.

Одевшись, она через плечо бросила Егорову:

— Я — готова.

И направилась к двери.

Егоров и Анатолий пошли за ней. Прокурор остался посреди комнаты с подтяжками на голых мускулистых плечах, в синих галифе и шлепанцах:

— Значит, дело миром кончилось? Я вас так понял? Дальнейшего хода не будет?

Она в дверях резко обернулась, гневно сверкнула греховными глазами:

— Замолчи, мерзавец! А то меня стошнит!

В коридоре она не без презрения осмотрела Егорова с ног до головы:

— Куда поведете?

— Следуйте за нами, — дрогнувшим от возбуждения голосом сказал Егоров.

Они втроем пришли в комнату, которую занимал Егоров. Она швырнула свою сумку на кровать, оглядела комнату и спросила:

— Вдвоем будете? Или только ты?

— Это мы решим полюбовно, — запер дверь на ключ Егоров. — Таковую бабенку уступить другому — это себя не уважить.

— А он выйдет? Или будет присутствовать при сем?

— А уж это как вашей душеньке будет угодно.

— Мне безразлично. Я вас всех презираю. Выпить не найдется?

— Как не найдется? — Егоров поспешно стал отпирать дверь. — Это мы — мигом.

Он отнял у швейцара портвейн и печенье, и пока он отсутствовал, женщина стала лениво раздеваться, делая вид, что не замечает Анатолия. Вещи свои она аккуратно складывала на спинку стула и, дойдя до нижней рубашки с кружевной оторочкой, помедлила, раздумывая, и тоже

сняла через голову, представ перед Анатолием во всей обнаженной красе.

Когда вернулся Егоров, неся в охалке портвейн и пепельницу, она произнесла, ни к кому из них конкретно не обращаясь:

— Во всей этой истории мне мужа своего жаль. Уж больно худо ему будет, если прослышит. Ради него я вам в морды не плюнула.

— Да мы не понимаем, что ли? — от возбуждения теряя привычный начальственный тон, — сказал Егоров, разливая нетвердой рукой вино по стаканам. — Мы — джентльмены.

— Подонки вы все, — сказала она, принимая стакан и не прикрывая своей наготы.

Анатолию стало как-то не по себе, словно он присутствовал при публичной казни. Торопливо опрокинув в рот кислый портвейн, он вышел в коридор. За его спиной скрипнул поворачиваемый в замке ключ.

Почти до рассвета куражились в гостинице на всех ее этажах Егоров и Анатолий в сопровождении швейцара. Разбудили десятки людей, поднимали женщин из постели, издевались как могли над испуганными растерянными людьми, и ни разу не встретили сопротивления. Люди безропотно сносили унижения, канючили, вымаливая снисхождение, и все, как на подбор, даже не подумали защитить своих дам.

Егоров и Анатолий уgomонились лишь под утро, совсем выбившись из сил и засыпая на ходу.

Они проспали утреннее заседание межобластного совещания работников идеологического фронта и еле успели ко второй половине, где согласно повестке дня должен был выступить с докладом Егоров.

Он поднялся на трибуну, импозантный, холеный, столичный гость, привычным взглядом опытного докладчика оглядел переполненный зал городского театра с большой хрустальной люстрой, висевшей на высоком лепном потолке, а на него, затаив от страха дыхание, смотрели жертвы его ночных походов: прокурор в синих галифе

и форменном пиджаке, директор Дома культуры, с которой позабавился Анатолий, подруга жены прокурора, стройным крепким телом которой наслаждался сам Егоров, одутловатый заведующий отделом пропаганды и агитации райкома партии и еще много-много других трусливых и жалких людишек, чьих лиц Анатолий и не запомнил.

Егоров отпил минеральной воды из стакана, профессионально-гулко откашлялся, поправил узел галстука на шее и сочным лекторским баритоном одарил зал:

— Антон Павлович Чехов — великий русский писатель, человек необыкновенной тонкости и культуры, в письме к своему брату сказал слова, которые по сей день звучат для нас, советских людей, ценным заветом: «В человеке все должно быть прекрасно — и лицо, и одежда, и мысли...»

Анатолий потом клялся своими тремя детьми, которых он обожал больше всего на свете, что именно так начал свой доклад его друг Егоров.

А теперь давайте рассудим.

Все, что рассказал мне Анатолий, кажется таким фантастичным, что не зная я рассказчика много лет и не доверяя я ему, как себе самому, не поверил бы ни одному слову. Да если честно признать, при всем моем уважении к Анатолию весьма и весьма усомнился я в достоверности этой истории. То, что Егоров, проказник и прощальга, мог додуматься до такой тотальной ночной проверки всех комнат гостиницы, допускаю. И что швейцар-взяточник был у них наводчиком, верю. И что кое-кто из партийных чинуш районного масштаба, пойманный с поличным с бабой в постели, наложил со страху полные штаны и во всей красе показал свою подлую душонку, тоже могу представить.

Но чтобы все, все мужчины, и не простые забытые людишки, а знающие цену власти и привыкшие командовать, чтобы такие мужчины, коих подняли ночью со своих любовниц два авантюриста, не воспротивились и униженно капитулировали, да еще впридачу отдали своих еще теплых после любовных ласк подруг на глумление и

позор — такому я поверить категорически не мог и посчитал, что Анатолий, ради красного словца, перехватил, дал лишку и наболтал, чего не было и быть не могло.

Ибо если прав Анатолий и не соврал ничего, то все наше социалистическое общество — грязный свинарник, а новый тип человека, который мы так любовно выращивали со времен залпа «Авроры», — ничтожество и слизняк, какого еще человечество не знало.

Спорить с Анатолием я не стал, а в душе зачеркнул эту историю, как непристойный и неумный вымысел. И забыл об этом напрочь. Пока жизнь не ткнула меня носом в нечто подобное. И не где-нибудь на периферии, а в самой столице, где собран, как говорится, цвет нации.

Не помню, какое дело привело меня в Москву, но вернее всего служебная командировка. Потому что поместили меня в одном из первых московских небоскребов — гостинице «Украина», что высится своими тридцатью этажами в гибкой излучине Москва-реки, напротив моста, ведущего на Кутузовский проспект. Эта гостиница — не из обычных. Простой люд туда и сунуться не может. В ней живут важные заграничные гости, а из наших, советских, только те, кто ходит в высоких чинах или чем-то очень прославился. Все тридцать этажей, тысяча комнат, как соты, набиты отборной, исключительной публикой.

Я в те годы еще не был столь важной персоной, как сейчас, но уже взял старт и удачно отмахал первые ступени по известной лестнице, ведущей к власти. Я был очень озабочен созданием своей карьеры, знал почти все ходы и выходы в закоулках партийной машины, и перспектива передо мной открывалась самая прекрасная.

И вообще жизнь улыбалась мне необычайно. В Москве у меня была невеста Леночка — красавица и умница, блестяще заканчивавшая учебу в университете, дочь прославленного героя войны, влиятельнейшего человека, благоволившего ко мне и очень довольного выбором своей любимицы. Да и сам я был парень — хоть куда. Здоров как бык, недурен собой, и уже довольно прочно стоял на но-

гах. Как помнится мне, я эту командировку в Москву и выбил потому, что очень соскучился по Леночке.

Каждый вечер то я пропадал у Леночки в правительственном доме, то она — у меня. Отношения не в пример нынешним у нас были самые чистые, платонические. Если позволяли себе что, то самое большее — поцелуй в губы. Оба мы изнемогали от любви, но ждали, когда Лена получит диплом, и тогда — свадьба и рай.

Гостиница «Украина» гудела как улей, и шесть скоростных вместительных лифтов мчали вверх и вниз потоки людей. На самом верху был ночной ресторан, открытый до утра. Он был единственным такого рода в Москве. И внизу два нормальных огромных ресторана. Хрустальные люстры, бронза, мрамор. Три джаз-оркестра. На дамах дорогие меха, мужчины одеты у лучших портных. Сливки общества. Вот куда я затесался.

В те времена, должен напомнить, во всей стране свирепо проводилась кампания борьбы с хулиганством и безнравственностью, как с позорными пережитками прошлого, пятнавшими светлый лик нового социалистического общества. В помощь милиции тогда-то и были созданы добровольные народные дружины, куда подбирали молодцов один к одному, по известному трафарету. Это были юные прыщавые пареньки, коим доставляло немалое наслаждение проявлять власть над людьми, арестовывать, хватать и даже бить нещадно при попытке сопротивляться — и все это под прикрытием закона и с благословения начальства. Страшноватые юнцы. К таким, не дай бог, в руки попасть.

И вот в целях борьбы с безнравственностью эти-то дружинники решили устроить облаву в гостинице «Украина», прочесать весь этот муравейник и выудить, выловить всех носителей разврата, то есть проституток, каковые водились и водятся в Москве в немалых количествах, хотя официально считается, что с этим пороком у нас давно покончено, ибо ликвидирована буржуазная среда, питавшая его. Тем не менее охоту на проституток устраивали довольно часто и хватали немалый улов.

А вот как определить, кто проститутка, а кто нет? Ведь на лбу не написано и в удостоверении личности такая профессия не значится. Поэтому поступали просто. Без всяких уловок. По-топорному. Как часто у нас делается и в других сферах. Хватали всех представительниц слабого пола, а если попадались честные порядочные женщины, то им предстояло доказать это и тогда их освобождали после цепи унижительных допросов, ссылаясь на известную поговорку: «Лес рубят — щепки летят». Злая поговорка. Чудовищная. Оперировав ею, Сталин лишил жизни миллионы невинных людей, зачислив их в разряд щепок, которым положено лететь во все стороны, когда рубят лес.

Гостиницу «Украина» несомненно посещали девицы легкого поведения, и некоторые постояльцы гостиницы охотно пользовались продажной любовью. Все это делалось шито-крыто, втихаря, чтоб никто не знал, и до поры до времени это сходило с рук.

Но вот власти отдали команду дружинникам прочесать гостиницу. Подогнали к парадному подъезду колонну крытых автофургонов, без окон, для того, чтобы доставить весь улов в отделения милиции для расследования и допросов. Сотни юнцов в нарукавных повязках хлынули в огромный мраморный вестибюль и, разбившись на группы, оцепили выходы из всех шести скоростных лифтов. В этой гостинице нет лестниц, только лифты. И выходы из этих лифтов, плотно оцепленных дружинниками, превратились в западню для женщин. Для всех женщин подряд, кто имел несчастье очутиться в гостинице именно в этот вечер, когда проводилась облава на проституток.

Кабина лифта, в которой плотно теснилось десятка полтора людей, бесшумно и плавно спускалась вниз, распахивались автоматические двери, спрессованные люди вываливались в вестибюль и цепкие руки дружинников, пропуская мужчин, хватали женщин и тащили их в сторону, передавая своим дождавшимся товарищам, которые тем же способом, насильно, заламывая руки, волоча упи-

рающихся по мраморному полу, загоняли их в крытые фургоны.

Шесть лифтов работали непрерывно, доставляя вниз очередную поживу. Женщин силой отрывали от мужчин, хватили их за все места, лапали, волокли на глазах у их растерявшихся партнеров: то ли любовников, то ли просто товарищей или даже сослуживцев, к коим заскочили повидаться по делу их коллеги женского пола.

Женский крик и плач оглашали огромный мраморный вестибюль, среди лепных стен, под многопудовыми хрустальными люстрами. Я находился в этом вестибюле и все видел своими глазами, и от ужаса и отвращения все мое тело покрылось гусиной кожей.

Сотни мужчин, молодых и пожилых, безропотно отдавали своих женщин на расправу и унижения и ни один не попытался вступить, отстоять ту, с которой он только что лежал в постели или, что чаще всего было ближе к правде, лишь по-приятельски болтал в своем номере. Мужчины, все как один, трусили, умыли руки, лишь бы не попасть в милицию, не фигурировать в деле, что может привести к неприятностям по службе. Ради того, чтобы избежать небольшого житейского неудобства, эти мужчины, а среди них было много военных, офицеров, совершали откровенное позорное предательство.

Господи, думал я, да что же это творится? В старину, до советской власти, русские люди, дворяне, коим действительно было что терять в случае смерти, шли на дуэль из-за одного косога взгляда, брошенного на их женщину, и погибали, отдавали свою жизнь, отстаивая честь дорогого им существа. Так погибли лучшие поэты России Пушкин и Лермонтов. Погибли, не задумываясь, без тени страха и мелочных расчетов.

А эти? Кому и терять-то было нечего, ибо не имели они ни имений, ни миллионных капиталов, как те, что в старину шли под пулю, отстаивая свою честь. Они не имели ничего, кроме своих жалких зарплат, казенных тесных квартир и партийного билета, обеспечивающего уровень жизни получше, чем у среднего обывателя, который был

уже совсем нищенским. У них не было понятия о чести. Они все до единого оказались вполне сформировавшимися негодяями и шкурниками — и постарались трусливо испариться, лишь бы не быть взятыми на заметку прыщавым юнцом.

Во всей этой бесчисленной толпе прохвостов один лишь оказался нормальным мужчиной. Не наш. Иностранец. Черный негр из Африки. Он вышел с белой русопятой девчонкой под руку из лифта и, когда руки дружинников потянулись к ней, он прикрыл ее своей спиной и, что-то гневно лопоча на непонятном языке, стал драться, круша своими кулаками прыщавые скулы и мокрые носы.

Он отбил свою даму, не отдал ее и, снова взяв под руку, бережно повел к выходу, высоко неся черную курчавую голову над стадом белых трусливых баранов. Дружинники отхлынули от него. Хотя я могу поклясться, что русская девчонка, которую он проводил из гостиницы, была несомненно, по всем признакам, девицей легкого поведения, обыкновенной проституткой, за деньги или заграничные тряпки уступавшая свое тело. Но этот негр с ней спал и это было для него достаточным основанием защищать ее, как самую благородную даму.

Уехали переполненные фургоны от парадного подъезда гостиницы, утихли крики в вестибюле, мужчины рассеялись по щелям, растворились, исчезли. А я стоял под хрустальной люстрой и мне хотелось плакать как ребенку. И не только потому, что я был свидетелем такой чудовищной картины падения нравов. Я оплакивал себя.

Я вас знакомил с моей супругой и вас теперь не удивляет, что ее зовут не Леной. А? Вы, кажется, догадались.

Леночка в тот вечер была у меня в гостинице, ее вырвали у меня потные липкие руки дружинников и почти бесчувственную от ужаса и омерзения поволокли по полу к фургонам:

А я? Я одеревенел и стоял как столб. В голове сверлила одна лишь жалкая мыслишка: если я устрою скандал, подержусь, отобью Лену, меня вместе с ней увезут в милицию, составят протокол, который пошлют по месту служ-

бы, заставят долго доказывать, что наши с ней отношения чисты и мы не развратничали в моем номере. А как это докажешь? И на мою репутацию ляжет несмываемое пятно в личном деле, как каинова печать, будет вечно следовать за мной милицейский протокол, в котором я буду охарактеризован не с самой лучшей стороны. Моя карьера начнет рушиться.

А кому, скажите мне люди, нужна карьера, когда растоптаны совесть и честь. Сейчас на склоне лет я это понимаю и рассказываю вам как на духу, чтобы очистить душу от тяжести, висящей на ней. Очищу ли я ее? Вряд ли. Но хоть поговорить начистоту с друзьями, покаяться, ведь это тоже что-то.

Леночку я больше не видал. Она не захотела меня знать. Порвала со мной окончательно и бесповоротно. И была права. А я долго не мог утешиться. Потом женился на другой. Наплодил детей. И вот живу. Не умираю.

Зуев вышел из комнаты «горное солнце» голый, в синих очках, защищавших глаза от действия ультрафиолетовых лучей. Астахов, возлежавший на диване после парилки, тоже ничем не укрытый, еще розовый от взаимодействия веника и пара, иронично оглядел короткое, в жирных складках тело Зуева:

— Загорел, брат, на горном солнце. Как с Черноморского побережья Кавказа.

— Действительно? — стал поворачиваться боками перед стенным зеркалом Зуев, изучая розовые пятна, проступившие в разных местах, — как бы ожог не схватить.

— Что ты там так долго делал?

— Думал.

— О чем, если не секрет?

— Лежал я, братцы, под горячим солнышком, вкушал достижения цивилизации и думал о том, что в мире нас, русских, не только не понимают, но нарочно напускают побольше туману, когда речь заходит о нас. Словно им там на Западе доставляет особое удовольствие мысль о

том, что есть, мол, такая страна Россия, не похожая на них, загадочная как Сфинкс. И народ там загадочный... Загадочная славянская душа. Придумано это все от снобизма. Мы, мол, нормальные, а они, мол, с придурью. Читают Достоевского, ахают и охают. Какая тьма душевная! Какая бездна! Аж страшно заглянуть в эту душу. А пробовали вы заглянуть в эту душу? Ох, и удивились бы. Пусто там, как и у вас на душе. Разница лишь в том, что у них от души виски отдает, а у нас водкой разит.

Никакой Достоевский так не раскрыл русскую душу, как обычный советский анекдот. Моментальный портрет. Душа крупным планом.

Вот вам пример. Из серии анекдотов о Василии Ивановиче Чапаеве и его верном ординарце Петьке.

Поймали красные белого офицера и допрашивают. Петька является к Василию Ивановичу с докладом:

— Молчит, гад. Не можем язык развязать.

— Шомполами пробовали? — спрашивает Чапаев.

— Пробовали. И иголки под ногти загоняли и зубы все выбили.

— Правильно сделали.

— Молчит, гад. Остается последнее средство испытывать.

— Какое?

— Дать ему с вечера вволю напиться водки, а утром попросит опохмелиться — не дать.

— Ни в коем случае! — возмутился Чапаев. — Мы, чай, не звери...

Лунин, не слыхавший прежде этого анекдота, расхохотался, стоя в дверях парной и прикрывая низ живота мокрым веником. К его побагровевшему телу прилипли распаренные березовые листики.

— Вот уж действительно загадочная душа, — смеялся он. — Этакая смесь детской непосредственности и законченного алкоголизма. Где тут квасок у нас? Душа жаждет.

Он прошелся по ковру к холодильнику, извлек оттуда

запотевший эмалированный кувшин и стал пить прямо из горла, запрокинув голову.

— Эй, и мне оставь, — попросил Зуев.

В прихожей зазвенел звонок, и Зуев подбежал к дверям, к переговорному устройству. Астахов запахнул на коленях халат, а Лунин, поставив кувшин на пол, поспешно схватил со спинки стула купальное полотенце и обернул им живот и беда.

Зуев нажал на кнопку и спросил в решетчатую мембрану:

— Кто это?

— Я, — слышался искаженный треском электрических разрядов игривый женский голос. — Дуня. Официантка. Горяченького вам поесть принесла.

— Дуня? — взыграл Зуев и, обернувшись к товарищам, подмигнул. — А как вас по батюшке, Дуня?

— Да чего это я вам по телефону должна говорить? Откройте, скажу.

— Нет, уж, вы нам, Дуня, по телефону скажите, — затанцевал у двери голый Зуев, освечивая розовым после «горного солнца» задом. — Тогда и пустим.

— Да Ивановна я, — протрещал голос в рупоре. — Вот уж неугомонные. Ровно дети.

— Милости просим, Авдотья Ивановна, — Зуев нажал на кнопку сигнала, открывающего входную дверь.

Из прихожей слышно было, как официантка захлопнула за собой дверь и веником стала обметать снег с ног.

Астахов вскочил с дивана и суетливо стал натягивать на себя под халатом трусики. Лунин тоже, сбросив мохнатую простыню, накинул на плечи купальный халат и, запахнув, стянул узлом пояс. Один Зуев оставался нагишом и посмеивался над своими товарищами.

— Джентльмены. Напрасный труд.

— Но все же дама, — возразил Астахов.

— Эта дама, если мои сведения точны, привыкла видеть мужчин в голом виде. Здесь отдыхал до нас мой коллега Женя Афанасьев. А ему я доверяю...

В чем доверяет Зуев своему коллеге Жене Афанасьеву

так и не удалось узнать Астахову и Лунину. Потому что Дуня вошла в гостиную.

— Здравствуйте, соколики!

Сказано это было с доброй приветливой улыбкой. Весь облик Дуни — простой русской бабы с морозным румянцем во всю щеку, с нагловатым и в то же время потупленным взглядом серых глаз, с веселыми морщинками от улыбки на выступающих по-татарски скулах — от всего этого повеяло домашним уютom, кислым хлебом и парным молоком, запахом детства в деревенской избе, где появились на свет когда-то все три приятеля — и Зуев, и Астахов, и Лунин. Да к тому еще Дунин слегка скомороший наряд, почитавшийся здесь униформой для обслуги — бисером шитый кокошник на голове, душегрейка с меховой оторочкой и черные валенки-чесанки, облегающие крепкие ноги, с выпирающими под отворотами валенок икрами, настраивал на бездумный, невсамделишный, праздничный лад, когда хочется дурачиться, позабыв о годах и служебном положении.

— Здравствуй, матушка!

— Здравствуй, голубушка!

— Ах, ты, кормилица наша!

В тон ей загалдели они хором.

В обеих руках у Дуни были алюминиевые судки, издававшие вкусный запах.

— Сейчас покормим вас, — словно причитая, напевно тянула Дуня, ставя ношу на стол. — Небось, изголодались, бедненькие. Все принесла вам, как любите. Специально у ваших супруг дозналась, кому что по душе... Вот голубцы со сметаной, вот борщ украинский, а вот котлеты пожарские.

— Ах, Авдотья Ивановна, — развел руками, будто пытаясь ее обнять, голый Зуев. — Матушка ты наша, заступница. Товарищ Тимошкина.

— Ох, и фамилию мою узнали, — как бы застыдившись, прикрыла рот рукой Дуня.

— А как не знать? Вся Россия слухом полнится. От

Балтийского моря до самых до окраин... Везде наш брат, партийный работник, славит Авдотью Ивановну.

— Ой, тоже скажете, — совсем засмушалась Дуня.

— Вам привет, велел кланяться мой друг товарищ Афанасьев.

— Женя, что ли? Не забыл, значит. Ох, и шелапутный товарищ Афанасьев. Ровно дитя малое, любит куролесить.

— Очень лестно он о вас отзывался, — подмигивал приятелям Зуев.

— Спасибо на добром слове, — отвечала Дуня, расставляя посуду на столе. — А условие мое сказывал?

— А как же? Все припасено. Вчера наменял, — Зуев побежал к гардеробу, стал рыться в карманах своей шубы.

Астахов и Лунин, один на диване, другой в кресле, наслаждались разыгрываемой перед ними сценой, в которой Зуев комиковал и притворялся, а Дуня вела роль всерьез и искренне. Чем это все могло завершиться, оба не догадывались, и это еще больше разжигало любопытство и улучшало настроение.

Зуев принес на ладони три серебряных рубля и показал сначала зрителям, потом Дуне.

— Вот они, без обмана. Три юбилейных монеты с Лениным.

Дуня взяла монеты, осмотрела каждую и сунула в карман душегрейки.

— Значит, всех троих обслужить?

— А как же? — сказал Зуев. — Мы — неразлучные друзья.

— Ну, тогда кушайте на здоровье, а я пойду приготовлюсь. Как покушаете, кликните.

И ушла в прихожую.

Астахов и Лунин устали на Зуева.

— Да, да, — сказал он, довольный произведенным эффектом. — Это и есть мой сюрприз. Она тут всех отдыхающих мужского пола обслуживает, ставит на полное половое довольствие. Женька Афанасьев не врал. Все среднее звено партийного аппарата пропустила эта девица.

Работает безотказно, как часовой механизм. Только раз дала маху, забеременела и имеет ребенка, неизвестно от кого. Коллегиальное дитя. Любой из наших коллег имеет все основания считать именно себя отцом.

— Нет, нет, — замахал руками Астахов. — Я в этом не участвую.

— Хочешь прослыть чистоплюем? — прищурился на него Зуев. — Только не перед нами, Сережа. Мы друг другу цену знаем.

— Нет, уволь, — отмахивался Астахов. — Не тот возраст да и...

— Не то положение? — съязвил Зуев. — У всех у нас одно положение, одной веревочкой повязаны. Выходит, Сережа, я напрасно потратился. За тебя уже уплачен серебряный рубль с изображением Ленина. Другой валюты наша дама не принимает. Только юбилейный рубль.

— Она что, недоделанная? — озабоченно спросил Лунин.

— Имеется маленько, — кивнул Зуев. — Не все дома. Но это не помеха плотским утехам. А, наоборот, даже приятней. Женя Афанасьев — большой дока и никудышный товар не станет хвалить. Одним словом, давайте обедать, а то мы бабу там застудим в прихожей, дожидаясь. Я иду первый. Живой пример всегда заразителен.

Наскоро поглотив обед, Астахов и Лунин, взволнованные как мальчишки, собирающиеся напроказить, пересели на диван со стаканами компота в руках и заняли позицию зрителей.

Голый Зуев, колыхая рыхлым задом и жировыми складками на боках, вышел на середину ковра, вытер рот салфеткой и хлопнул в ладоши:

— Дуня! Пожалуйте!

— Иду-у-у! — игриво откликнулась Дуня из глубины прихожей и выбежала в гостиную, как на цирковую арену. Она была абсолютно голой, лишь на ногах чернели мягкие валенки-чесанки с отворотами на икрах, а на голове посверкивал бисером кокошник — непременный атрибут старинного русского костюма. Это еще больше придавало

всему происходящему сходство с цирком. Жирный, коротконогий и лысый Зуев выглядел клоуном, раздевшимся догола.

— Сейчас самое время ввалиться нашим женам, — хмыкнул Астахов.

— А мы не впустим, — мило улыбнулась Дуня. — У нас — механизация. Не войдешь без звонка. Да и не придут они. Сидят на собрании. У нас сегодня там такое делается: морально-бытовое разложение обсуждают.

— Это кто с кем у вас разложился? — спросил Лунин.

— Ерофей. Кучер. На тройке гоняет. Видный мужик. С подавальщицей спутался. С Клавой. А сам женатый. Трое детей.

— Нехорошо, — с напускной серьезностью сказал Астахов. — Небось, коммунист?

— У нас все — коммунисты, — ответила Дуня. — Беспартийных тут не держат. Нет политического доверия. А в партии как? Очень строго насчет семьи. Нельзя разрушать.

— Точно, — кивнул Зуев. — Как же вы так, Авдотья Ивановна, не доглядели за вашим кучером Ерофеем и Клавой?

— Да, вот, заладили одно: любовь, мол, у них, — объяснила Дуня. — Не могут друг без дружки.

— Ну, а если партия прикажет? — сохраняя серьезный тон, спросил Астахов. — Должны подчиниться?

Дуня кивнула.

— А не подчинятся, их обоих сегодня выгонят из партии, и с работы. А где они еще такую работу найдут? Так что не беспокойтесь, ваши жены там до конца просидят. Ведь интересно послушать про чужую жизнь. Нам тут никто не помешает... пока там идет собрание.

— В таком случае, Авдотья Ивановна, приступим, — потер ладони Зуев, делая круги по ковру вокруг Дуни. — Может, желаете перед началом глотнуть чего-нибудь горячительного? Чего изволите? Коньяку или шампанского?

— Нам бы водочки, — потупилась Дуня. — Не откажемся.

Пока Зуев нетвердой рукой доставал из холодильника и наливал в стакан водку, Лунин и Астахов, подавляя смущение, рассматривали Дуню, ставшую в изгиб рояля, облокотившись на деку, как концертная певица, собирающаяся запеть. У нее была крепко сбитая фигура с выпуклым животом рожавшей женщины, широкими бедрами и круглыми деревенскими коленями. Груды налитые, чуть вислые с большими коричневыми сосками. В паху и под мышками курчавились жесткие на вид черные волосы. С лица не сходила глупая и добрая улыбка.

И при том, что и Астахов и Лунин в своей жизни повидали достаточно женщин и красивей и стройней, от Дуни на них повеяло такой притягательной бабьей силой и бездумной ласковостью, что они почти одновременно ощутили возбуждение.

— Царевна-несмеяна, — шепнул Астахов Лунину, а тот в ответ:

— Василиса Прекрасная.

Дуня взяла у Зуева стакан, оставив мизинец, и звонко сказала:

— Со знакомством!

Опорожнив одним глотком стакан, она поставила его на рояль и кокетливо спросила:

— А вас-то как величают, не знаю. А полагается знать.

— Ну, раз полагается, то начнем с меня. Виктор Иванович, — Зуев церемонно пожал Дуне руку. — А этот с красивой шевелюрой — Сергей Николаич. И Александр Дмитрич — тот, что с усами.

— Очень приятно, — улыбнулась каждому Дуня и добавила:

— Можете поздравить меня, товарищи. Меня приняли в кандидаты партии. Райком утвердил.

Это было так неожиданно сказано, с такой наивной простотой, абсолютно не вяжущейся со всей обстановкой и голыми телами, что мужчины какой-то миг сидели ока-

менев, с раскрытыми ртами и потом вместе разразились хохотом.

— Так это же крупнейшее событие в жизни нашей партии! — завопил, задыхаясь от смеха и выплясывая нагишом на ковре, Зуев. — Теперь мы действительно непобедимы!

— Ох, и маяли меня, маяли, — пожаловалась, ища сочувствия, Дуня. — Все вопросы, да вопросы... и такие каверзные...

— Ты хоть не ударила в грязь лицом? — все еще смеясь, осведомился Лунин. — Отвечала-то как следует?

— Да так... ни шатко, ни валко... Кое-что ответила... кое-что запомнила... Да ведь я так считаю... на все вопросы дать верный ответ может один человек...

— Кто? — со слезящимися от смеха глазами выдохнул Астахов.

— Чай, только Карл Маркс.

Ее слова потонули в хохоте. Лунин постанывая, только и повторял:

— Ну, Дуня, всю теорию превзошла... Тебя сейчас на мякине не проведешь.

— Да меня и раньше-то не очень-то объедешь, — совершенно серьезно отвечала Дуня, — а теперь-то уж конечно...

— Ладно! — хлопнул в ладоши Зуев с багровым от смеха лицом. — Кончай базар! Как говорится, ближе к телу! Приступим, Авдотья Ивановна. Только уж сегодня, матушка, должна показать класс! В честь такого события.

— А на нас никогда не жаловались, — с достоинством ответила Дуня, скрестив руки перед собой и приподняв обе груди. — Я же проходила моральный кодекс строителя коммунизма... Когда Программу партии учила. А там что сказано? Честность и правдивость... Так? Высокое сознание общественного долга... Коллективизм и товарищеская взаимопомощь... А главное, что мне понравилось — золотые слова: каждый за всех, все за одного!

— Bravo! — зааплодировал Зуев. — Все! Доклад окончен. Следующий номер нашей программы...

— Учтите, — перебила Зуева Дуня. — Я ложиться не люблю. У меня низкое расположение... уж больно высоко надо ноги задирать.

— Как предпочитаешь? — насторожился Зуев.

— А раком... — просто сказала Дуня. — Я на рояль обопрусь, а вы сзади пристраивайтесь.

И, действительно, стоило Дуне нагнуться в изгибе рояля, между ее расставленных бедер раскрылась розовая волосатая щель, и Зуев, прижавшись к ее ягодицам, легко воткнул туда свой член и повел в сторону посоловевшим от наслаждения взором. Но тут же взгляд его прояснился, наткнувшись на экран беззвучно включенного телевизора. Там бегали по зеленому полю футболисты.

— Саша! — крикнул он Лунину. — Включи звук! «Спартак» — «Динамо». Чуть не прозевали!

— Вы... одно из двух, — откуда-то снизу пробормотала Дуня. — Или футбол смотрите или...

— Я, пожалуй, потом, — отлип от ее зада Зуев и прошлепал к телевизору. — Ребятунки, я — пасс, неподвижные обстоятельства... Кто пойдет? Ты, Сережа?

Астахов смущенно поморщился:

— Я бы не отказался... но... не люблю в этом деле... при публике... Если уединиться...

Дуня разогнулась.

— А мы пройдем в «Горное солнце». Там нам никто не помеха.

— Пожалуй, — поднялся Астахов, на голову выше Дуни, и та, заботливо сняв с него халат и сложив на стул, уважительно взяла за руку и повела в комнату «Горное солнце».

— Совестьливый, — напевным голосом нахваливала Дуня Астахова. — Хоть мужик, а не охальник.

— Потому как коммунист, — в тон ей ответил Астахов, сдерживая улыбку.

Зуев приник к телевизору — его больше ничто не интересовало.

Лунин с дивана смотрел в голые спины Астахова и Дуни и комментировал:

— Подобралась пара — гусь да гагара. Боевой испытанный авангард советского народа.

Зуев добрал свое, когда в футбольном матче наступил перерыв после первого тайма. Выключив звук, но не убрав изображения с экрана, чтобы не пропустить начала второго тайма, он поставил вернувшуюся из «Горного солнца» Дуню в изгиб рояля и вполне уложился во времени до того, как на футбольном поле прозвучал свисток судьи, возвестивший о начале второй половины игры.

Лунин не последовал примеру своих товарищей, отказался.

— Брезгуешь? — удивленно и обиженно спросила неустоимая Дуня.

— Да нет... бог с тобой, — краснея, стал оправдываться Лунин. — Не могу... и все. Нет у меня желаний... А без желания, сама понимаешь,.. ничего не получится.

— Это уж точно... — согласилась Дуня. — Баба всегда может, да не всегда хочет, а мужик всегда хочет, да не всегда может. Я понимаю... Так что, тебе твой рубль вернуть?

— Нет, нет, — замахал руками Лунин, — оставь себе... А вот хочешь доставить мне приятное, пойдём в парную и ты меня похлещешь веничком. По-бабьи, ласково. А то эти мужланы, дай им дорваться, семь шкур спустят.

— Это мы с удовольствием, — согласилась Дуня. — Вот только валенки сниму. Я и сама люблю париться.

Лунин прихватил две бутылки пива и пошел вслед за Дуней в парную.

Через полчаса, одевшись в прихожей, Дуня вернулась в гостиную за посудой, мягко переваливаясь в своих черных валенках.

— Заболталась я с вами... а дел у меня невпроворот... В пятом тереме надо покормить товарища из Грузии. Занемог, заказал обед домой.

— А юбилейный рубль с Лениным заготовил? — съязвил Зуев.

— Ну, за грузином не пропадет, — убежденно сказала

Дуня. — Ему и в долг поверить можно. Очень пунктуальный народ.

— Еще бы, — не унимался Зуев. — Вот запузырит он тебе под самую селезенку, гляди, не захлебнись.

— Как-нибудь перебьемся... — рассмеялась Дуня. — От этого еще никто не помер. Занятный они народ — грузины... Тут их однажды четверо было... Я им обеды сюда принесла... Так такое учудили... Карусель называется...

— Как? Как? — заинтересовался Астахов. — Что-то новенькое...

— Ты нам, Дуня, по-подробней освети, — попросил Зуев. — А то грузины, вишь, до чего дошли, а мы, русские, отстаем. Передовой опыт надо двигать в массы.

— Уж и не знаю, как вам растолковать, — Дуня задумалась и ладонью подперла подбородок. — Ну, были мы все пятеро, конечно, нагишом. Тут никакой одежды не полагается. Наоборот, мешать будет... Я, значит, вот тут посредине нагнулась, а один, который с усиками... вставил мне в рот... Другой же, зашел сзади и задвинул оттуда. Значит, двое уже пристроены и им — хорошо. Остаются еще два. У меня больше дырок нет, не засунешь. Значит, что они окаянные придумали, чтоб никому обидно не было? Другие два стали у меня по бокам, я вытянула руки, взяла в ладоши у каждого его яйца и давай мять. Вот так и получилась карусель. Народ они, грузины, горячий, не могут тихо, а все больше криком исходят от удовольствия. Так и галдят вчетвером. Одна я — немая, рот занят. Да и следить надо, чтоб никого не обидеть, всем хорошо сделать. А потом, значит, те двое, что спереди и сзади, кончили благополучно и освободили место для своих товарищей, которым я яйца мяла и очень даже разогрела. Вот те свои разогретые мне воткнули спереди и сзади, а те, что уже удовлетворенные, стали по бокам и я им стала яйца мять. Карусель называется. Ох, и горячий народ. Каждый по три раза меня поимел, вот так вот меняясь местами. Уж до чего я не хлипкая, а прямо в пот вогнали.

Зуев, Астахов и Лунин слушали Дуню, не перебивая, а когда она ушла, унеся пустые судки, долго сидели молча.

— Надо полагать, грузины были помоложе нас, — вздохнул Лунин.

— Это несомненно, — угрюмо произнес Астахов, — нам с ними не тягаться.

— Что вы приуныли? — вскочил Зуев. — Мужички! Каждый возраст имеет свою прелесть. И потом не зря в народе говорят: старый конь борозды не портит. Были когда-то и мы рысаками. А ну, выше нос! И хвост — пистолетом. Есть еще порох в пороховницах. Старая гвардия умирает, но не сдается. Хотите послушать анекдот, как один малый телевизор чинил.

Приходит Иван с работы, жена кинулась к плите котлеты жарить. А он, пока ужин готов будет, включил телевизор. Там — помехи, плохо видно.

— Схожу, — говорит жене, — на крышу, посмотрю, что с антенной.

Живут же они на седьмом этаже, а дом, скажем, в двенадцать этажей. И вот, пролетая мимо своего седьмого этажа, кричит он в окно жене, занятой у плиты:

— На меня не жарь!

РАССКАЗ ЗУЕВА

Нет, друзья, что ни говорите, а как неисповедимы пути господни, так и непостижима логика поведения женщины. Я имею в виду нормальную женщину, без всяческих вывихов и патологий. Так сказать, среднестатистический экземпляр. Из тех, что мы видим в метро и автобусе, спим с ними, как с женами или как с любовницами. Одним словом, встречаем на каждом шагу, толкаемся каждый день локтями, а постичь их логику нам не дано и никакого просветления в будущем не намечается. Как любил выражаться один лектор из нашего отдела пропаганды и агитации — за примером далеко ходить не надо.

Мы уже условились, что как бы фантастична и неверо-

ятна история ни была, клясться и божиться в ее правдивости в нашем кругу не приходится. Каждое слово принимается на веру, потому что все мы тертые калачи и нас уже ничем не удивишь.

Ехал я в поезде с женой и сынишкой из Сочи в Москву. После отдыха, скучного как зубная боль. В профсоюзном санатории для семейных. Бабы — выдры. Ханжи, каких свет не видал. Жопы ниже колен, в поросячьих глазках — дубовая непорочность. Не вам мне рассказывать — сами знаете, какой контингент подбирается на подобных тюленьих лежбищах для семей партийно-профсоюзного актива. Мужья — не намного лучше. Жрут водку украдкой и под жарким солнцем с восхода до заката стучат в домино.

В нашем купе ехала еще одна семья, такого же состава, как наша: муж, жена и малолетний отпрыск. Поделили мы купе согласно купленным билетам; нам левые полки — верхняя и нижняя, им — правые. И на ночь разместились таким образом. Женщины, естественно, легли на нижних полках, пристроив себе в ногах валетом ребятишек, а мы, мужчины, забрались на верхотуру и при синем свете ночника пускали в приоткрытую фрамугу окна дым последних, выкуренных на ночь, сигарет. А потом уснули под стук колес, почесывая под казенными простынями обожженную на южном солнце шелушащуюся кожу на плечах.

Когда едешь вместе двое суток, зажатый в тесном и душном купе, невольно вступаешь в контакт, даже если судьба свела тебя не с одушевленным существом, а с негноримым шкафом. Еще днем, едва мы расположились в купе после такой толкотни на Сочинском вокзале, и поезд благополучно отбыл подальше от пальм и от моря в сухую кубанскую степь, я завел разведывательные, прощупывающие разговоры с нашими соседями и с тоской убедился, что он — типичный партийный дуб, из только начинающих карьеру и потому малоразговорчив, осторожен, на все имеет правильные проверенные ответы и обшачаться с ним, что биться головой об стенку — эффект

одинаков. Она же представляла несомненный интерес. Внешний. Под халатиком, который она накинула на себя, переодевшись в вагонном туалете, угадывалась крепкая и женственная фигура, с довольно крупной и стоячей грудью и с заманчивым изгибом поясицы, переходящей в чуть отставленный и упругий зад. Из-под халата выглядывали сильные икры золотисто загорелых ног. И в физиономии ничего отталкивающего. Одним словом, вполне употребимый бабеч. От такой ни один мужчина не откажется.

Но зато выражение лица... Батюшки-светы... Сама непорочность. Губы строго поджаты, ресницы приспущены, в глаза не глядит. Будто тильки-тильки из гимназии и секретов зачатия не ведает, хоть и ребенка на свет произвела и не единожды аборт ковыряла при таком битюге муже. Монашка, да и только. Такая строгая классная дама, что даже боязно при ней рот раскрыть, как бы скабресным словом не осквернить ее невинные ушки.

Я, каюсь, не удержался и запустил в воздух для зондажа легонький анекдотец. В нем и соли-то не было, еле-еле прощупывался намек на сексуальность. Вы бы поглядели, как она вспыхнула до кончиков ушей, каким испепеляющим, негодующим взглядом пронзила меня, что я умолк на полуслове, прикусил себе язык.

Даже мою жену пронял этот взгляд оскорбленной невинности. Как нашалившего мальчишку, взяла она меня за руку и вывела из купе в коридор и там прочла нотацию о том, какой я вульгарный тип и почему такие гадости я смею произносить при женщине. Хотя до этого моя жена с удовольствием слушала и в моем и в чужом исполнении самые препохабные анекдоты и смеялась до слез, как и любой нормальный человек с развитым в меру чувством юмора. Но пуританизм и строгость нашей соседки по купе и ее сделали старой девой.

Я умолк и онемел. За весь день обменялся с женой и сынишкой только самыми необходимыми фразами, а с наступлением темноты залез наверх, разделся под простыней и затих как кролик. Даже мой сын присмирел и не ша-

лил в присутствии нашей соседки. А жена моя, уж на что востра на язык и озорная, недорого возьмет матом припустить, прикусила язычок, и каждое слово, сказанное в присутствии той, как сквозь марлечку процеживает, чтоб, упаси бог, ненароком не покоробить благовоспитанного слуха нашей соседки.

Супруг ее, видать, вымуштрованный за годы совместной жизни, слова лишнего не скажет, по-собачьи ей в глаза глядит, а все остальное время газету «Правда» читает, как школьник-малолетка шевеля при этом губами.

Уснуло купе. Стучат колеса под полом. Похрапывает рядом со мной муж нашей строгой соседки. Детишки внизу посапывают во сне. Женщин не слышно. И моя и она, видать, тоже уснули. Вагон к ночи остыл и прохладный ветерок шевелит занавеской на окне. Уснул и я. Гольный, как мать родила, под казенной льняной простыней с черными мастичными штампами министерства путей сообщения.

Просыпаюсь от того, что чья-то рука шарит под простыней по моему телу. Не просыпаясь окончательно, а все еще пребывая во сне, чувствую эту руку, горячую женскую ладонь ласково и возбуждающе пробегающую, чуть касаясь, по моему животу, потом по бедру. Тонкие пальчики коснулись сонного члена, приподняли его, отклеили от бедер и нежно сдавили в ладошке. Он, естественно, набух, возбудился и заполнил ладонь так, что пальцы вокруг него еле сомкнулись.

— Кто это? — подумал я в сладкой истоме, стараясь не просыпаться, чтоб не испугнуть, не отогнать обладательницу этой ласковой нежной ручки. — Неужели моя жена? К чему бы это ей таким делом в купе заниматься при чужих людях? Да еще при такой строгой даме, как наша соседка? Она и наедине-то не очень склонна к рукоблудию. Застенчива и примитивна в постели. А тут каждое касание ладошки и пальчиков — верх сексуального мастерства.

Я легонько приоткрыл один глаз и при нереальном свете ночника увидел рядом с моим распростертым

под простыней телом совершенно реальные очертания головы нашей соседки с распущенными на ночь длинными волосами. Это ее ручка сдавливала мой член, а глаза, возбужденно мерцая, следили за моим лицом, словно гипнотизируя меня, заклиная не просыпаться.

В моей голове все перемешалось. Кто мог предположить, что такая неприступная женщина, такой «синий чулок» вдруг проявит эдакую авантюрную прыть опытной развратницы? Я возбудился до предела, мне так захотелось ее, что я позабыл о том, что в метре от нас борочет во сне ее муж, а внизу спит и в любой момент может проснуться моя жена — баба ревнивая и способная закатить в ухо без предупреждения.

Я выпростал руку из-под простыни и сжал ее локоть. Она не вздрогнула, не шевельнулась, не выпустила мой член из ладони, а только крепче сжала его. Палец левой руки она поднесла к своим губам, призывая меня к молчанию, и головой кивнула на дверь, приглашая следовать за ней. Затем она вытащила правую руку из-под простыни, запахнула халатик и молча взялась за ручку двери, без единого скрипа сдвинула ее и вышла из купе в слабо освещенный пустой коридор вагона. Дверь осталась раскрытой и после того, как ее фигура исчезла из проема, и открытая дверь призывала меня к действию, если я считал себя мужчиной.

Как акробат, пружиня на согнутых локтях и одной рукой упершись у самого носа ее мирно похрапывающего супруга, я беззвучно опустил свое голое тело на пол, сдернул простыню и завернулся в нее, как покойник в саван, словно бы извиняясь, поглядел в затылок непроснувшейся жены и выскользнул на цыпочках в коридор, задвигнув без единого шороха за собой до отказа дверь купе.

Ее фигурка в халатике маячила в самом конце полуосвещенного коридора. Там, где был туалет. Я приблизился к ней, пытаясь поймать ее взгляд и угадать, что она затеяла. Она отвела глаза и решительно распахнула узкую дверцу туалета, посторонилась, пропуская меня вперед.

Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться и,

все еще укутанный в простыню, я, как привидение, скользнул мимо нее в узкий тесный квадратик туалета, где половину площади занимал белый унитаз с поднятой к сливному бачку черной пластмассовой крышкой.

Она протиснулась вслед за мной, захлопнула двери, деловито повернула рукоятку на «занято», касаясь при этом моей спины своими упругими ягодицами. Я подчинился ее деловитости и тоже проявил активность. Опустил черную крышку на унитаз, превратив его в подобие сиденья, стряхнул со своих плеч простыню и, оставшись голым, сел, как на табурет, на крышку унитаза, раздвинув колени и устремив вверх возбужденный «дымящийся» член. При матовом свете потолочного плафона она стояла, сбросив на нечистый мозаичный пол туалета свой халатик, легший темным холмиком на мою простыню, вся бронзовая от загара, с крепкими бедрами и стоячими налитыми, как у девушки, грудьми. И груди и треугольник кожи на лобке были молочно-белыми — все это укрыли от южного солнца бюстгальтер и трусики-плавки.

Она, как замороженная, смотрела мне между ног, где торчал возбужденный член, и не шевелилась. Не зная, чего еще можно от нее ожидать, я решил проявить инициативу. Время-то работало против нас: в любой момент какой-нибудь сонный пассажир с переполненным мочевым пузырем начнет ломиться в запертую дверь туалета и не уйдет, пока мы не выйдем... вдвоем. Хотел бы я представить выражение глаз бедолаги при виде наших фигур — женской — в халатике и мужской — в белой простыне, покидающих тесный туалет, который мы занимали вдвоем непонятно для какой надобности. Да и наши половины могли проснуться в купе и удивиться нашему одновременному отсутствию.

— Прошу, — с нервной усмешкой пригласил я ее и жестом показал, что лучшая поза для нее — сесть верхом на мои бедра лицом ко мне и попытаться при этом не промахнуться, чтоб все вошло, куда надо.

— Пошляк! — с откровенным презрением сказала она. — Вам только одного и надо. Все вы одинаковы.

И, брезгливо сморщив носик, села ко мне на колени и, как гайка на винт, плотно навинтилась на мой член. И так страстно взвела, запрыгала на мне, стучая меня спиной по керамическому сливному бачку, что я, испугавшись не на шутку, что ее темпераментный вой слышен во всем вагоне и даже за его стенами, ничего лучшего не смог придумать, как нажать ногой на педаль, надеясь, что шум падающей в унитаз воды заглушит остальные звуки.

Что еще к этому добавить? Мы вернулись в купе незамеченными и оба молча легли каждый на свое место. Ее твердокаменный супруг по-прежнему храпел на расстоянии протянутой руки от меня. Внизу тревожно, но не просыпаясь, что-то бормотала во сне моя жена, ногами прикрывая сына от возможного падения с полки. И я уснул, беззвучно хихикая. Как она провела остаток ночи, не знаю. Да и не интересовался.

Назавтра она снова приняла свой обычный неприступный вид, словно затянулась в мундир. Моя жена разговаривала с ней через тряпочку, сама становясь кроткой в ее присутствии. А ее муж читал безотрывно свежий номер «Правды», купленный в Ростове, где мы простояли полчаса, и робко поглядывал на жену.

Я же весь день провел в коридоре, глядя в окно на пробегающий пейзаж и показывая язык всему свету. Предстояла еще одна ночь в дороге и я с нетерпением ожидал наступления сумерек.

— Искать логику в женском поведении равносильно тому, чтобы пытаться найти иголку в стоге сена. Бессмысленное и пустое занятие, — сказал Астахов.

— Вот я вам сейчас задам задачку... по психологии женской... да и по логике дамского поведения... а вы, опытные мужички, профессора по этой части, попытайтесь разгадать, найти удовлетворительное объяснение уже непостижимым выкрутасам бабьей психики, — пообещал Зуев.

— В твоей истории с вагонной спутницей, — сказал

Лунин, — при всей пикантности ситуации и таком неожиданном эффектном финале я все же ничего загадочного не нахожу. Ради бога, не подумай, что я хочу умалить твои достоинства, как рассказчика, — боже упаси, — слушать тебя было для меня наслаждением. Но возьмем голые факты, так сказать, обнаженную канву этой... я повторяю, прелестнейшей истории и совершим простейший анализ... Что же мы обнаруживаем? Сексуальную и похотливую самочку, вынужденную по различным причинам и, в первую очередь, из-за среды... ханжеской и демонстративно высокоморальной... подавлять в себе кипящую лаву под личиной ультраскромности. Отсюда ее подчеркнутое поведение классной дамы, суровой монашки. Строгая оболочка, в которую, как в корсет, затянут и сдавлен бушующий пламень неутоленного секса, тонка и хрупка, как ломкая корочка земной коры на расплавленной магме. И вот она встретила тебя и глаз жеребьячий, которым ты ее обзрел, и легкая твоя скабрёзность, пущенная, как пробный шар, разнесли эту корку и вызвали к жизни подлинную натуру этой сочной и алчной бабищи. Какая смелость проявлена... Даже удаль... Никакой оглядки на возможные последствия. Вулкан похоти повел ее, как сомнамбулу... и я бы восхитился ею, заплодировал... если бы она до конца молчала, рта не раскрывала.

Но она произнесла несколько слов в туалете и двумя мазками обнажила главное качество своей природы. Пошлая банальная мещанка. Смешно и жалко хорохорится, прежде чем сесть на член, которого она жаждет больше всего. Но без этих ее слов не было бы законченного портрета. И я тебе, как рассказчику, признателен, что ты не пощадил ее и нарисовал эту особу такой, какова она есть на самом деле, убрав загадочный флер, в каком она рисовалась поначалу.

РАССКАЗ ЗУЕВА

Не в моих правилах спать с женами моих приятелей. Да будь она самая раскрасавица и пусть делает мне самые откровенные намеки, я себе скорее член отрублю, нежели позволю нарушить традицию. Да как же иначе и быть-то может? Я с человеком встречаюсь, по службе ли или в приятельской компании, мы друг другу в глаза глядим по-дружески, с доверием, я, наконец, к нему в дом хожу, вместе выпиваем — а потом, глядь, зазевался он, я его половину под себя сгрэб, ноги заломил и деру, как сидорову козу. Для этого надо уж совсем совести лишиться, облик человеческий потерять.

Я, братцы, сами знаете, не монах и помани меня стоящая баба, ринусь, сломя голову, и даже поставлю на карту репутацию и карьеру. Да и вы не лучше. Много заповедей нарушаем, берем грех на душу. Но кое-что и чтим неукоснительно. Например, не возжелай жены друга своего.

Однажды я нарушил эту заповедь и горько поплатился. Видать, есть кто-то на небе, следит за нами, грешными, даже за такими безбожниками, как мы, коммунисты. И уж если мы очень наглеем, опускает карающую десницу, врезает как следует, а мы потом долго зад чешем и недоумеваем: откуда, мол, такое наказание.

Сразу предупреждаю: не друг он мне был, муж Клавдии Ивановны, а сослуживец и я его порядком не любил, потому как занимал он положение довольно высокое, и я ходил под его началом. Это, конечно, смягчает мою вину, но не совсем. Заповедь-то следует читать таким образом: не возжелай жены друга своего и сослуживца также.

Клавдия Ивановна была баба в соку. Лет под тридцать. Формы — гитара. Рот — красный, жадный. Гладкая, сильная, как скаковой конь. Зад тяжеловат и несет его слегка на отлете. Глянешь, слюнки текут. У моей-то жопа

плоская, поэтому любой выпирающий зад я воспринимаю, как чудо природы.

Многие на нее облизывались. И я в том числе. Очень уж мне хотелось до нее добраться. Тем более, что отмечал я ее заинтересованный взгляд.

Для опытного мужчины этого вполне достаточно и слов никаких не требуется. Нужно позаботиться об укромном уютном гнездышке, где секретность обеспечена стопроцентная, и об удобном для дамы времени.

Гостиницы отпадают. Паспортный режим, контроль. Уж лучше самому на себя написать донос. На дачу к приятелю? Клавдия Ивановна — баба осторожная, дорожит репутацией, не хочет ставить под удар свою семейную жизнь, потому лишних свидетелей, как огня, боится.

Я выбрал самый нахальный вариант. Пригласил ее к себе домой. Благо, моя супружница с чадами отбыла на юг, и я один обитал в пустой неубранной квартире. И у Клавдии Ивановны подвернулся удобный момент: муж в заграничной командировке, отлучиться из дому не составляет труда.

Условились по телефону. Я ей дал мой адрес, подробно растолковал, как до меня добраться. Она в трубку томно вздыхает, доводя кровь в моих жилах до кипения:

— Милый, я буду в восемь у тебя... И, возможно,.. если ты не оплошаешь... и оправдаешь... мои надежды... останусь у тебя до утра.

Я застонал от сладострастного предчувствия и, ей богу, от полноты чувств лизнул телефонную трубку.

Как я дождался восьми вечера, один бог знает. Убрал квартиру, хоть никогда прежде этим делом не занимался, цветов накупил, набил холодильник всякими вкусными вещами и совсем, как юнец, поглядывал каждые пять минут на часы, нетерпеливо торопил время.

Пришла моя искусительница! Опоздав лишь на десять минут. И эти десять минут показались мне годом. Обезумел. Понимаете, эта баба из той породы, что может мертвого возбудить. На нее глянешь и в тебе просыпается зверь, сексуальный маньяк. Хочется зарычать, вцепиться

зубами в ее мягкий загривок и потащить, урча, в постель и чтоб распущенные русые волосы ее подметали пол, пока ты волочешь ее слабеющее тело до ложа любви.

Я взбрыкивал, как стреноженный конь, пока она в передней снимала шляпку и резиновые ботики, и ринулся на нее, как тигр, но она отстранила меня мягким, хоть и довольно решительным, движением сильной, с вкуснейшими ямочками у локтя, руки.

— Постой, милый. Не набрасывайся на меня, как деревенский мужик. Мы с тобой — интеллигентные люди. Не торопи события — впереди ночь.

Давление во мне, как в перегретом котле, поднялось до критической отметки. Я изнемогал. Я желал ее, как прыщавый юнец, содрогающийся накануне первого грехопадения.

Она меня томила не нарочно. Ей, видите ли, даме из партийных верхов, хотелось продемонстрировать мне правила хорошего тона, как ей казалось, необходимые при подобном деле. Она насмотрелась заграничных фильмов на закрытых просмотрах и ей хотелось «сладкой жизни» на самый модный манер. Она меня извела до звона в голове.

Вначале мы пили, и она не позволяла даже касаться ее. Лишь чувственно и многообещающе улыбалась мне своим алым и пухлым порочным ртом. Я грыз зубами края рюмки.

Она беспечно и кокетливо, как ей казалось, очень по-советски болтала со мной, совершенно бестактно расспрашивая о моей семейной жизни, о жене, с нездоровым интересом разглядывала ее портреты на стенах и в альбоме и хвалила ее, укоряя меня в неверности такой прелестной женщине. Я натерпелся по горло и все это глотал с угодливой, по-собачьи преданной улыбкой. Так я ее желал. До боли в суставах. До колокольного звона между ногами.

Баба была не из великих умниц. Мозги заурядной и похотливой мещанки. Но разве мы за ум и добродетель любим женщин? Скорей всего, наоборот. Нам нужно сочное

гибкое тело и похотливый томный взгляд. Такими сокровищами обладают чаще всего дуры.

И мы, мужчины не последнего класса, гордость нации, ее сливки, стоим перед такой развратной сучкой на задних лапах, блеем, как бараны, и ждем до помутнения в глазах, когда она соблаговолит распахнуть перед нами свои жирные ляжки.

Клавдия Ивановна, играя со мной, как кошка с мышкой, не забывала то и дело спрашивать одно и то же:

— Но вы уверены, что я здесь в абсолютной безопасности? Никто войти сюда не может? Вы, надеюсь, не забыли, какое положение занимает мой супруг?

И я в сотый раз клялся ей, что все предусмотрено. Я гарантирую, что ее честное непорочное имя не будет запятнано, что я — рыцарь и честь дамы для меня — превыше всего.

Где-то уже ближе к полуночи она велела поставить заграничную пластинку и под джазовый вой стала танцевать, сладострастно извиваясь, как сытый удав, и меня, отяжеленного брюшком, немолодого дурака заставляла семенить ногами, топтаться на одном месте в качестве ее партнера по танцу.

Танцевала она, действительно, здорово. Я давно заметил, что дуры отлично танцуют. Все дарование, а каждому человеку хоть какое-то дарование отпущено, у таких таится не в черепной коробке, а в мышцах, в звериной гибкости и чувстве ритма.

Клавдия Ивановна закатила мне стриптиз. Настоящий. Не хуже, чем в каком-нибудь Париже. Заграничные фильмы дали свои плоды. Жена моего непосредственного начальства оказалась способной ученицей.

Она плясала под негритянские ритмы, русоволосая, пышная, плотоядная и небрежно, очень ловким и сексуальным движением всякий раз сбрасывала с себя кое-что из одежды, понемногу все больше и больше обнажаясь.

Я был на грани умопомешательства и больше всего опасался, как бы со мной, как с мальчишкой, не случилась поллюция. Прямо в штанишки. Как это бывает у созрева-

ющих подростков, обреченных на долгое воздержание.

Она сняла все, даже бюстгальтер и, белея мясистыми формами, оттененными черными, едва не лопающимися трусиками, сказала, что примет душ, и чтоб я к тому времени уже лежал в постели, дожидаясь ее, голый, как мать родила.

Я разделся, срывая пуговицы, и плюхнулся в свою семейную двуспальную кровать, у изголовья которой висели в овальных рамах глупые портреты жены и меня, собственной персоной, — портреты времен свадьбы с подкрашенными губами и непременно уголком белого платочка в нагрудном кармане пиджака. Из душа доносилось журчание воды и клекочущий голос Клавдии Ивановны, напевавшей от избытка чувств старинный романс.

Я был — на пределе. Я содрогался от вожделения и хоть был в кровати пока еще один, кровать мелко подрагивала подо мной и скрипела.

И вот тогда-то и наступила развязка. Как гром, как сто сирен воздушной тревоги, загредел звонок у входной двери. Был последний час ночи, и если кто-нибудь ломился ко мне в эту пору, ничего хорошего от этого позднего визита ожидать не приходилось.

Ко мне приехала теща. Мать моей жены. Из Киева. Оповестив о своем приезде телеграммой, которую я, как водится в таких случаях, не получил. Приехала Надежда Кузьминична, злая, как фурия, потому что я ее не встречал на вокзале. Эта баба меня всегда недолюбливала и в отличие от своей дочери, моей жены, постоянно подозревала в мужских проказах и супружеской неверности, о чем намекала моей жене, не стесняясь моим присутствием.

Надо же, чтоб именно ее принесла нелегкая ко мне за полночь, когда у меня в ванной раздетая любовница, и живу я на седьмом этаже, откуда не выпрыгнешь и не спустишь даму по водосточной трубе.

Западня. Волчья яма. Никакого спасения нет. Оставалось только одно: с достоинством принять гибель. Как подобает бывшему фронтовику и... коммунисту. Сейчас это

вызывает смех, а тогда я покрылся гусиной кожей.

Все! Моя жена такого не простит. Теща разнесет по всем инстанциям. Прощай семья, партийный билет, карьера. В один миг обрушивалось все, что я создавал годами. Я превращался в ничто, в нуль.

До сих пор не могу вспомнить, как, каким образом меня осенила гениальная идея. Это произошло помимо моей воли, и все мои поступки, удивительно разумные и точные, управлялись не мною, а моим ангелом-хранителем.

Я оделся с молниеносной быстротой, загнал онемевшую от страха Клавдию Ивановну из ванной в спальню, даже не глянув на нее голенькую и мокрую, и заставил ее лечь в кровать, укрыться одеялом и ждать очередных указаний. Затем собрал в гостиной раскиданные по всему ковру предметы дамского туалета, которые так обольстительно снимала с себя в затянувшемся стриптизе Клавдия Ивановна, и все это передал в спальню. Я действовал быстро, без суеты, как в войну командиром взвода, когда попадал в безвыходное положение и, казалось, кроме гибели, мне ничего не уготовано. Даже успел галстук завязать и пригладить щеткой волосы и, совсем натурально зевая (зевота меня одолела на нервной почве), отпер дверь и выгрузил тещу с чемоданами из кабины лифта.

— Я тебя разбудила? — с подозрением оглядела меня теща.

— Н-не совсем... — сказал я. — Вы — не первая гостья нынче у меня... До вас приехали из Новосибирска мой приятель с женой...

— Они у тебя остановились?

— Н-не совсем... Жена его здесь... в нашей спальне... А он не захотел меня стеснять и отправился в гостиницу «Украина», где ему обещали номер... Но пока... там нет свободных номеров... Он звонил мне.

— А где он сейчас... твой приятель? — прищурившись на меня теща, пытаюсь уличить во лжи.

— В гостинице «Украина». Сидит в фойе и ждет, когда освободиться номер.

— И долго он там может прождать?

— Ну, это... зависит... от разных обстоятельств... может... до утра...

— И он твой близкий приятель?

— Фронтовой товарищ, — не сморгнул я.

— Врешь ты все!

— Не товарищ ты ему, — стоя над чемоданами, не сняв пальто, дала волку своей давней неприязни ко мне теща. — А равнодушная свинья. И черствый эгоист. Кто же отпускает товарища, да еще фронтowego, ночью в гостиницу, когда у самого пустует огромная квартира в центре Москвы?

Не знаю, как бы я выпутался из собственной лжи, если б на помощь мне не пришла Клавдия Ивановна. Она все слышала из спальни, ухватила нить моего вранья, быстренько оделась, взбила волосы и вышла к нам, излучая извиняющуюся скромную улыбку. Кошачий инстинкт, а не ум, диктовали ей слова и поступки, и она в пять минут очаровала Надежду Кузьминичну, не оставив ни грана сомнения, что она действительно жена моего фронтowego товарища из Новосибирска, первый раз в Москве, а муж, такой скромный, такой застенчивый, так боится быть кому-нибудь в тягость, что категорически отказался ночевать здесь, и умчался искать места в гостинице, оставив ее подождать часок-другой на попечении у друга.

Надежда Кузьминична клюнула. Ей очень понравилась Клавдия Ивановна. Она тут же захлопотала: приготовила чай, достала киевские гостинцы: торт, конфеты, варенья.

В третьем часу ночи мы хлебали чай втроем и я неприлично потел.

Потом теща спохватилась:

— А что ж ваш муж все не звонит? Он что всю ночь там в кресле будет мучиться, ожидая номера? Так не годится. Бедная Клавдия Ивановна совсем изведется. Нет, мы сейчас позвоним в «Украину» и потребуем вашего мужа сюда. А утром, если не хочет с нами здесь оставаться, пусть займется гостиницей.

Теща безапелляционно устала на меня и мне ни-

чего не оставалось, как подчиниться. Выходя из-за стола, я успел заметить, как стала бледнеть Клавдия Ивановна. Я поплелся в свой кабинет, где был второй телефон.

Что мне оставалось делать? Нужно было раздобыть Клавдии Ивановне мужа, хоть самого захудалого, но живого, способного передвигаться и предстать пред светлы очи моей подозрительной тещи.

Был у меня приятель. В Совете Министров работал. Холостой. Разведенный. Жена его бросила и сбежала на остров Сахалин с проезжим офицером. Представляете, каким надо быть занудой, чтоб на такое толкнуть женщину-москвичку? Тип, скажем откровенно, не из приятных. В нашем мужском кругу его «шакалом» прозвали. За то, что питается падалью. Я имею в виду его амурные дела. Комплексный и при этом очень охочий до слабого пола, он не пользовался абсолютно никаким успехом у женщин, страдал от этого ужасно и пробавлялся тем, что приятели ему подкидывали. Спал с совершенно неразборчивыми бабами, которые спяну не очень-то соображали, с кем делили ложе.

Вот такому-то субъекту я и позвонил в третьем часу ночи, разбудил в одинокой постели, постарался вразумительно объяснить ситуацию и попросил немедленно ехать ко мне в качестве мужа Клавдии Ивановны. В противном случае — я погиб.

«Шакал» согласился, не раздумывая, но только поставил меня в известность, что знаком с подлинным мужем Клавдии Ивановны, даже игрывал с ним в санатории в преферанс, и сама Клавдия Ивановна несомненно помнит его.

— Тем лучше, — сказал я. — Старайся быть с ней деликатным. Изображай любящего супруга. Провинциального малого из Новосибирска.

«Шакал» примчался на такси. Клавдия Ивановна его, действительно, узнала, но справилась с собой и весьма правдоподобно изобразила соскучившуюся капризную жену. «Шакал» тоже что-то блял. Моя теща была удовле-

творена. И принялась командовать, устраивать всех на ночлег.

Моих «новосибирских» гостей она уложила в спальне, сама устроилась в кабинете, а меня поместила на диване в гостиной. Как раз у двери в спальню. Очень тонкой двери. Не скрывавшей ни одного звука, доносившегося с моей супружеской кровати.

«Шакал», очутившись наедине с женщиной, об обладании которой он и мечтать не мог, проявил все качества подлого зверя, чье имя носил по достоинству. Зловещим шепотом он запугал Клавдию Ивановну, что выведет все на чистую воду, если она не уступит его домогательствам. И она уступила, прикинув, к каким тяжким последствиям для ее семейной жизни приведет ее отказ.

Бог мой, что творилось всю ночь в спальне. После долгого воздержания «Шакал» был неутомим и буквально не слезал со своей жертвы. А она? Эта сука быстро переборолла брезгливость, вошла во вкус и стала издавать такие страстные вопли, что не только я в гостиной, но и теща в кабинете чуть не дошла до оргазма. Я не сомкнул глаз всю ночь и утром принял сердечные капли, чтоб хоть как-то прийти в норму.

Без сомнения я был реабилитирован в глазах у тещи. Но какой ценой? Клянусь честью, я был на грани инфаркта.

Утром «новосибирские супруги» вышли из спальни с синими кругами под глазами, и оба, как нашкодившие кошки, старались не смотреть в мою сторону. Теща их завтраком накормила и откровенно любовалась этой парочкой воркующих голубков. Потом они распрощались с нами и отбыли в «гостиницу». А я остался с тещей. И с большим запасом сердечных капель.

Я потом встречал Клавдию Ивановну. В театре. На официальных приемах со своим сановным мужем, не скрывавшим удовлетворения при виде облизывающихся на его жену мужчин. Как-то я столкнулся с ней нос к носу. Она сделала вид, что едва со мной знакома, и в ее кошачьих порочных глазах я уловил откровенную насмешку.

«Шакал» долго избегал меня. Но я уж сам позаботился и нашел путь, как извлечь его на свет божий и расквитаться. Я его тоже довел до сердечного приступа и, если вы не устали, могу поведать, как была осуществлена месть.

Заманить «Шакала» в засаду можно было только бабой. На такую приманку он, постоянно сексуально озабоченный, непременно клюнет. И эту приманку мы ему подкинули. Приманку отравленную. Потому что бабой, которую ему подсунули, был я.

Был у меня в ту пору друг один, известный журналист. Назовем его Иванов. Потому что подлинное имя его знакомо, пожалуй, каждому грамотному человеку в России. Несмотря на свою славу, был он шаловлив и проказлив, как школьник, и его проделки, особенно на сексуальной почве, достойны отдельного рассказа.

Он тоже знал «Шакала» и, как любой уважающий себя мужчина и сердцеед, относился к нему с нескрываемым пренебрежением. Его увлекла идея проучить «Шакала».

Как раз в ту пору квартира Иванова пустовала (жена была в отъезде), и мы там вдвоем, коротая вечерок за рюмкой, одни, без баб, придумали как бы порезвиться, а заодно дать урок «Шакалу». Слегка навеселе, Иванов, осененный идеей, а на выдумки он был мастак, поволок меня в спальню, распахнул дверцы шкафа и стал рыться в грудах нижнего белья своей жены. Мне он велел раздеться догола.

Еще не зная задуманного им плана, я все же безропотно покорился. Иванов извлек из шкафа дамские фланелевые трусики цыплячье-желтого цвета. Жена его была дамой объемной и я поэтому смог натянуть трусы на сьей зад без особого труда.

Поверх трусов он закрепил на моей талии дамский пояс с болтающимися резинками, к которым крепятся чулки. На груди, стянув меня, как обручем, закрепил бюстгалтер, засунув в обе чашечки по теннисному мячу. На голове моей он повязал цветастую косынку и, глянув в зеркало, я увидел довольно пышную, с жировыми складками

бабищу, и даже был неприятно поражен, с какой легкостью я лишился всех мужских признаков.

Иванов был в восторге. Он вертел меня из стороны в сторону, любовался, как скульптор, своим произведением.

— Гениально! Сколько бабьей прелести! Ты — заманчив! Тебя хочется иметь! Не только голодный «Шакал», но самый пресыщенный мужчина с первого взгляда не угадает подделку и клюнет, обязательно клюнет.

Иванов позвонил «Шакалу» и, изобразив голосом пьяного, понес следующее:

— Слушай, друг... Выручи... У меня в доме сейчас полнейший бардак. Бабы перепились до смерти. Сколько их? Две штуки. А я один. Никак не управлюсь. А они требуют. Бегают нагишом. Будь другом, выручи! Дуй на всех парусах!

«Шакал» примчался со скоростью метеора.

Я уже лежал на тахте в кабинете Иванова, где были опущены шторы и мерцала слабым светом настольная лампа, на абажур которой было небрежно брошено женское платье. Я лежал лицом к стене, укрытый простыней, из-под которой торчал мой довольно обширный зад в фланелевых дамских штанишках и поясе, с заманчиво болтающимися резинками. Мои волосатые ноги предусмотрительно были скрыты простыней.

Сам хозяин тоже разделся, но лишь наполовину. Сбросив штаны, оставшись в рубашке и галстук, он взъерошил на голове волосы и принял вид абсолютно пьяного человека, ошалевшего от водки и баб.

Он распахнул перед «Шакалом» двери и повис у него на шее:

— Спаситель! Голубчик! Век не забуду. Раздевайся и приступай к делу! Вон она твоя... в кабинете лежит... Еле утихомирили... дрыхнет.

«Шакал», видать, заглянул в кабинет и восхищенно взвизгнул:

— Хорошенькая!

Так он среагировал на мой отставленный из-под простыни зад в дамских штанишках.

— Раздевайся и действуй! — распорядился Иванов. — Желаю удачи!

«Шакал» в прихожей стал поспешно сбрасывать с себя одежку, потом зашлепал босыми ногами ко мне. Я весь напрягся, чтоб не заржать, не выдать себя. Но «Шакал» не дошел до тахты и зашлепал назад.

— Как ее звать? — зловещим шепотом спросил он у Иванова.

Этому джентльмену обязательно нужно было знать имя, прежде чем овладеть бесчувственным трупом.

— Нина, — выдал из себя Иванов, и по его голосу я представил, каких усилий ему стоит сдерживать рвущийся из горла хохот.

Голый худющий «Шакал» снова направился ко мне. Я заерзал на тахте, обольстительно шевеля задом, исторгнув из недр «Шакальего» существа похотливый стон.

Дело в том, что мы с Ивановым набросали план искушения «Шакала». Его следовало допустить до моего тела со спины, дать обнять меня сзади и, пока он не разглядел меня, направить его алчную руку под резинку трусиков, ко мне в промежность, откуда он нетерпеливыми пальчиками извлечет здоровый мужской член. Что приведет его к столбняку, и уж наша с Ивановым задача — вызволить мой член из его конвульсивно сжавшихся пальцев.

— Деточка, подвисься, — страстно зашептал «Шакал», укладываясь за моей спиной и просовывая руку под мой бок. Другую руку ухватил я своей и направил под резинку моих трусов. Как подопытный кролик, «Шакал» с математической точностью выполнил запрограммированные нами ходы. Горячими потными пальцами он заскреб по низу моего живота, поплутал в волосах на лобке и замер, наткнувшись на непонятный мясистый отросток в женской промежности. Затем нервно схватил его, сжал пальцами, и тут я не выдержал и, взорвавшись от хохота, столкнул его на пол.

Иванов включил верхний свет и, бессильно привалив-

шись к стенке, рыдал, а не смеялся. Я же, вскочив на тахту, плясал на ней, кружась, и резинки дамского пояса разлетались в разные стороны.

«Шакал» лежал на полу, как в параличе, с выпученными глазами, и я впервые в жизни видел, как кровь отливает от поверхности человеческого тела. «Шакал» побелел весь! И лицо, и плечи, и живот, и ноги до кончиков ногтей. И издавал нечленораздельные всхлипывающие звуки.

Иванову стоило немалых усилий привести его в нормальное состояние, вернуть ему божеский вид. «Шакал» глотал валерьяновые капли, какие-то пилюли.

Потом, уже одетый, сидел, сгорбившись, в кресле и смотрел на нас пришибленным собачьим взглядом.

— Одного прошу, — хрипло шептал он. — Никому ни слова об этой истории. А то мне от стыда придется из Москвы бежать.

Мы дружно пообещали.

Ни мне, ни Иванову не улыбалась перспектива стать героями этой истории, смакуемой во всех салонах Москвы. Все мы трое были заметными фигурами и рисковали погореть за морально-бытовое разложение, если слушок дойдет до ушей нашего пуританского руководства.

Я держу слово до сих пор. Даже вам не назвал настоящих имен участников этой прелестной, не правда ли, проделки.

Зуев хрустнул яблоком и, помахивая в воздухе огрызком, объяснял:

— Я почему анекдоты люблю? Не потому что такой уж примитив — дальше короткого анекдота, мол, памяти не хватает.

Нет, братцы, глубоко заблуждаетесь. В современном анекдоте и только в нем сосредоточена вся мудрость нашего народа. Свободно выраженная, без цензуры.

Думаете, со временем, когда историки захотят разобраться в нашей жизни, они литературу социалистического реализма будут перечитывать? Ни в коем случае.

Анекдоты будут искать и по ним восстанавливать подлинную живую картину нашей эпохи, с плотью и кровью, и горьчайшим юмором.

Я современной литературы в руки не беру. Зачем время терять? Та же партийная инструкция... Только разбавлена пейзажами и диалогами. Больше ничего! А вот анекдот — сама жизнь... в густой концентрации... в филигранной обработке... и с точностью снайперского выстрела.

— Одним махом всю литературу уничтожил, — покачал головой Астахов. — Что, разве совсем у нас нет хороших писателей?

— Назови, — проглотил разжеванное яблоко Зуев. — Шолохов? Так он алкоголик и плагиатор. «Тихий Дон» украл у казачьего офицера и выдал за свое.

— Ну, это еще не доказано, — усомнился Астахов.

— Меня в сон клонит от больших романов, — сознался Лунин. — Тянут — тянут, а все можно было короче и лучше выразить. Вы меня можете богохульником посчитать, но я, честно признаюсь, не могу до конца романы нашего национального гения Льва Толстого дочитать. Не потому, что я туп. Нашему современному мозгу не нужно долго разжевывать, мы схватываем на лету.

— Правильно, — проглотил остаток яблока Зуев. — Чехов когда жил? А самый современный писатель. Я его выше всех остальных ставлю. И наших, и иностранных. Уж за одно то, что у нас был такой писатель, как Чехов, мы можем гордиться, что мы — русские. А старика Толстого он за пояс заткнул одним коротким рассказом. «Дама с собачкой». Та же «Анна Каренина». Но в двадцать раз короче и точнее. Читаешь и волосы шевелятся от восторга.

— Ну, положим, у тебя не шевелятся, — кивнул Астахов на обширную лысину Зуева.

— А тебе лишь бы уколоть. Столько лет прошло, а замашки не изменились.

— Ладно, братцы. Хватит спорить, — вмешался Лунин. — Я вам историю расскажу. Конечно, не «Дама с собачкой» и не «Анна Каренина». А какая — вам судить.

РАССКАЗ ЛУНИНА

Вас никогда не путали с кем-то другим, не принимали за другого?

Со мной это — обычное дело, и я давно перестал удивляться. Однажды на улице я столкнулся со своим двойником, как две капли воды похожим на меня человеком, которого я видел впервые. И он меня тоже. Представьте, идем навстречу друг другу и с каждым шагом все больше шалеем от удивления: словно каждый идет навстречу зеркалу и приближается к своему отображению. Даже костюмы были на нас одного цвета, синие в полосу. Остановились, познакомились, даже выпили по этому случаю. Больше не сталкивались.

А что касается женщин, тут меня принимали за другого — сколько угодно и, клянусь честью, две женщины, никогда не знавшие друг друга и жившие в разных городах, в минуты любовных утех, войдя в раж, ласково называли меня одним и тем же именем: Костя. Хотя меня зовут совсем иначе и я представлялся им своим подлинным именем.

Я даже подумал, что, возможно, у них обеих мужей зовут Костями. Но имя мужа одной из них я знал. Его звали Сашей. Как и меня. Я никогда не был ему представлен и никогда не видал его, но имя запомнил. Жена его, Лидочка, моя тогдашняя любовница, имела обыкновение звонить ему и проявлять о нем трогательную заботу именно тогда, когда абсолютно обнаженная, свесив большие, как дыни, груди, усаживалась на мой член, а я лежал при этом на спине и курил. Она, чуть нагнувшись, снимала трубку с аппарата, стоявшего на постели, набирала номер и начинала прелюбопытнейший разговор с мужем, поерзывая задом и все глубже и плотнее навинчиваясь на мой бедный член:

— Саша? Сашенька, это — я, Лида. Ты давно с работы? Недавно? А я, понимаешь, звоню тебе из телефона-

автомата. Я — в универмаге, Саша. Тут японские кофточки выбросили. Прелесть! Очередь небольшая — через час буду дома. Ты, Сашенька, меня не дожидайся, а перекуси, милый. В холодильнике стоит печенка жареная... Обязательно подогрей. Ни в коем случае не ешь печенку холодной. И кефиру выпей. Ну, целую, милый. До скорого!

Она бросала трубку и выражение ее лица на глазах менялось с умиленно-заботливого до свирепо-похотливого. Она начинала прыгать и визжать на моем члене, осатанело требуя:

— Глубже! Еще! Еще! До самой печенки!

Я в такие минуты ее остро ненавидел, так как подумывал о женитьбе и холодел при мысли, что и моя жена может проявить заботу обо мне по телефону.

Так что имя Лидинога мужа я знал, и это никак не могло мне понять, почему и Лидочка и совсем другая женщина в другом городе называли меня в любовном пылу Костей. А однажды женщина приняла меня за другого и даже в постели не догадалась о подлоге.

Ехали мы куда-то поездом с моим сослуживцем Вадимом Локтевым. На узловой станции, где предстояла пересадка, узнали, что нужный нам поезд отменен и следующий пойдет лишь утром. Нам предстояло провести ночь в незнакомом городишке и, оставив вещи в камере хранения, мы отправились искать гостиницу.

Вечер был субботний. Народ гуляет на улицах. На площади люди танцуют под аккордеон: трутся с десяток пар, а остальные толпятся кольцом, лузгают семечки и сплетничают. Милая провинция. Простота нравов. Мы с Вадимом подошли, постояли, обозревая местных красавиц. Вдруг Вадим меня толкает в бок и глазами показывает:

— Видишь, тех двух бабенок? На нас все поглядывают, шепчутся и даже пальцем показывают.

Я посмотрел туда и действительно увидел парочку смазливых бабенок лет под тридцать: крепких, курносых, с румянцем на всю щеку, из тех, что в народе называют — кровь с молоком. На головах повязаны по-сельски пла-

точки, а одеты модно, в костюмчики «джерси», заграничная обувь на плотных икрастых ногах.

Завидев, что я смотрю на них, они прыснули со смеху, а та, что поменьше ростом, вдруг направилась к нам и с места в карьер спрашивает меня:

— Вас не Игорем зовут?

Я был в дурашливом настроении и сходу вступил в игру:

— А ты как догадалась?

Хоть меня, конечно, не зовут и никогда не звали Игорем.

Она клюнула на мою приманку и радостно позвала подругу:

— Тамара, а что я говорила? Это — он, Игорь. Я не ошиблась.

Тамара подошла, волнуясь, не зная, куда глаза девать от смущения.

— Здравствуй, Игорь, — протянула она мне руку, и когда я пожал ее, вспыхнула и просияла. — Верно, Игорь! Господи, гора с горой не встречается, а человек с человеком... Ты меня сразу узнал?

— Н-не сразу... — протянул я, быстро соображая, каковы были отношения Тамары и Игоря, который настолько похож на меня, что она не замечает подлога. — А теперь точно узнал. Здравствуй, Тамара.

Я еще раз тряхнул ее руку.

— А Лену не помнишь? — кивнула она на подругу. — Она на втором этаже работала... горничной. Ну, вы, морячки, народ такой... память короткая. Давно из Германии?

Мы переглянулись с Вадимом, а он с трудом сдерживает хохот, видя, как я все глубже увязаю и ожидая с минуты на минуту моего позорного разоблачения. Я же решил продолжать игру и продержаться в навязанной мне роли Игоря как можно дольше. Нам предстояло томиться всю ночь в чужом незнакомом городишке, и эта случайная авантюра могла хоть как-то скрасить вынужденную скуку. Кроме того, по мнению знающих меня, во мне про-

пал актерский талант, и я всегда, когда представлялась возможность, с удовольствием участвовал в розыгрышах и делал это весьма талантливо и правдоподобно. Умело поставленными наводящими вопросами я получил кое-какую информацию о моем двойнике и стал уверенно ориентироваться в обстановке.

Игорь несомненно был военным моряком, офицером и служил на военно-морской базе в советских оккупационных войсках в Германии. Обе девицы, Тамара и Лена, работали в тамошней гостинице для военных вольнонаемной обслугой, были в приятельских отношениях с Игорем, который там часто останавливался, много пил, сорил деньгами, был забиякой и драчуном и иногда проводил ночи в военной комендатуре. Игорь по всей видимости не преминул переспать с одной из девиц, а, может быть, с обеими, но одна из них, а именно Тамара, питала к нему чувства, не исчезнувшие бесследно, что можно было определить по ее сияющим глазам.

Таким образом мне предстояла заманчивая и чертовски трудная в исполнении задача подтвердить Игореву подлинность, возможно, в весьма интимной проверке.

Вадима Локтева я представил девицам своим сослуживцем, что соответствовало истине, а дальше пошла легенда экспромтом. Мы, мол, с Вадимом служим на одном корабле, уже не в Германии, а в России, и сейчас находимся в командировке и посему пребываем в штатском платье.

Девицы тоже оставили службу в Германии, их отправили на родину, и вот они теперь живут в этом городишке скучной неинтересной жизнью и, как сказку, вспоминают свое пребывание за границей, где им платили хорошо, в рублях и местной валюте, и всего было полно, и ни в чем они не испытывали нужды.

— Что же мы тут стоим? — вдруг спохватилась Тамара. — Надо отметить эту встречу. Пошли к нам.

И мы тронулись гурьбой. Тамара и Лена возбужденно хохотали и, не умолкая, болтали. Вадим, чтобы не вызвать подозрений, распевал вполголоса морские песни. А

я заскочил в подвернувшийся по пути магазин и прихватил выпивки и закуски.

Пока все шло удачно. Я не засыпался ни на одном из вопросов. Отвечал неопределенно и уклончиво, мне доставляло удовольствие напряженное состояние, словно я шагал по минному полю, играя в прятки с опасностью.

Они занимали комнату в чьей-то квартире, но ход к ним был отдельный, и соседи нас не стесняли. Тамара и Лена быстро состряпали ужин и были в отличнейшем настроении: мы им напомнили их лучшие годы в Германии. Выпив и закусив, мы стали распевать песни. Преимущественно морские, чтобы оставаться в образе морских офицеров. Девицы знали пропасть таких песен — служба в гостинице для моряков несомненно наложила отпечаток на их репертуар.

Распевали мы долго, за полночь, и у меня было достаточно времени, чтобы сориентироваться в обстановке и предусмотреть дальнейшие безошибочные шаги.

Комната была большая и в ней, кроме стола и шкафа, стояли две широких деревянных кровати, загроможденных немецкими перинами. Кровати были двуспальными и стояли впритык одна к другой под углом.

Понемногу все яснее вырисовывалась ситуация. Игорь был, несомненно, любовником Тамары, а не Лены. Тамара села не рядом с Вадимом, а со мной и, охмелев и осмелившись, положила мне руку на плечо и порой, нашептывая на ухо, целовала в шею горячими губами. Лена вела себя с Вадимом сдержанней, как и положено при первом знакомстве.

Потом мы стали раздеваться и Тамара аккуратно сложила на спинке стула мои вещи, а Лена Вадимовы. Сомнений больше не было — роли четко распределились.

Залезая под перину, я внутренне холодел при мысли, что уж когда она мне отдастся, несомненно всплывет хоть какое-нибудь различие между мной и тем бешеным морячком, с которым не одну ночь провела Тамара, и тогда откроется обман и, учитывая крепкое телосложение Тамары, мне еще могут накостылять по шее.

Но нет. Чудеса продолжались. Тамара не почувствовала разницы, когда мой член не без робости вошел в нее, и заметалась подо мной, подкидывая меня как мяч, и со стенаниями причитая:

— Господи, боже мой!.. Сколько лет прошло и хоть бы капельку изменился... Все такой же... горячий... сладкий... мой... Игорек!

Ее причитания вызвали кудахтанье с соседней кровати. Это Вадим сдерживал рвущийся из него хохот. Между тем на той кровати тоже не теряли времени зря. Потом все затихло. Перины валялись на полу. Мы лежали обесиленные и чрезвычайно довольные. Меня и Вадима распирало тайное ликование. Наши же дамы, насытившись, нежились рядом.

Вадим был моложе меня, менее сдержан и его часто заносило. Вот и сейчас стоило нам отлучиться из комнаты в поисках туалета, как он не преминул предложить мне шепотом:

— Давай поменяемся. Вернемся, ты ложись к моей, а я — к твоей.

Хмель еще гулял в моей голове, да и я был парень заводной. Сказано — сделано. Вернулись в темноте, босыми ногами нащупывая путь, и я плюхнулся в кровать к Лене, а Вадим — к Тамаре.

Лена не удивилась, учуяв, что это я, а не Вадим, взгромоздился на нее и, охотно раздвинув ноги, заскрипела подо мной металлической сеткой кровати.

Рядом, на расстоянии вытянутой руки, моталась голова Вадима. Тамара сталкивала его с себя, что-то гневно шепча. Я не учел силы ее чувства к Игорю. Она его по всей видимости действительно любила и была ошеломлена моей ветренностью и изменой. Решительно столкнув с себя Вадима, разгневанная любовница морячка слезла с кровати, включила свет и, хоть я зарылся лицом в волосы Лены, силой повернула меня к себе и пристально и зло стала всматриваться в мою смущенную физиономию.

— Гад ты такой! — вырвалось у нее. — Ты же не Игорь. Ты — дерьмо! Игорь такого себе не позволит! Как

я могла? Да и рожа не та! Вставай! Одевайся! И чтоб духу вашего здесь не было!

Дело принимало крутой оборот. Обе бабенки, нагие, в чем мать родила, бесстыдно расхаживали по комнате и поносили нас, на чем свет стоит, а мы, сконфуженные, торопливо облачались в свои одежды, чтобы как можно быстрее унести отсюда ноги.

Но это оказалось не таким уж легким делом. Лена, колыхая немного дряблым задом, подошла к дверям, заперла их изнутри и вынула ключ.

— Вот что, голубчики, — сказала она. — Мы обе ошиблись и потому легли с вами в постель даром, за любовь. Ну, а теперь, когда все ясно, и ты не Игорь, то получилось, что вы переспали с двумя бабами и рассчитываете, что это вам положено за красивые глаза. Дудки, миленькие! Мы — бляди. Мы так не даем, а только за деньги. После Германии нам другой дороги нет. Что мы станем тут вкалывать на фабрике за гроши? Даже на чулки не зарабатываем. А раздвинешь ноги и — два дня ешь и пей. Так что денежки на стол... за полученное удовольствие. По червонцу с брата. Нет. С Вадима червонец, а с тебя — два. Ты же нас обоих имел.

Мы уплатили, не споря. И, не прощаясь, заспешили к двери, отпертой Леной после того, как мы выложили на стол деньги. Уже в дверях я услышал окрик Тамары:

— Постой.

Я обернулся. Она приблизилась ко мне с глазами, полными слез, положила мне ладони на плечи и я весь сжался, подозревая, что она еще плюнет мне в лицо на прощанье.

Тамара долго и горько смотрела мне в лицо, словно на дорогого покойника перед тем, как заколотят крышку гроба, и тихо, шепотом пожаловалась:

— До чего же похож, собака.

Закрыв глаза, она поцеловала меня в губы и с силой оттолкнула, словно избавляясь от наваждения.

Мы уж не стали искать гостиницу и остаток ночи провели с Вадимом на станции в зале ожидания. Там было

душно. Неприхотливые пассажиры примостились на деревянных лавках, сунув под головы чемодан или вещевой мешок. На полу, поближе к изголовью, чтобы не украли, стояли яловые и керзовые сапоги, а на них сохли проплетенные портянки, распространяя тяжкий дух, который, смешавшись с табачным дымом и тем специфическим запахом карболки, каким тянуло из отхожих мест, создавал удушающую атмосферу, где мог спать, отчаянно храпя при этом, только русский мужичок.

Вадим и я, хоть и принадлежали по крови к этому племени, спать не могли. Мы уже были иными, избалованными цивилизацией. Нам подавай комфорт, который доступен очень немногим, в число которых входим и мы. Иначе не уснем.

Так и маялись, сидя на свободном краю скамьи, коротали ночь в душеспасительных разговорах под густой храп и сонное индюшачье бормотанье деревенской бабы, распластавшейся на остальной части скамьи.

Мой сослуживец откровенно и искренне возмущался тем, что в Советском Союзе существует почти неприкрытая проституция, что блистательно продемонстрировали нам Тамара и Лена. Локтев, повторяю, был моложе меня и на партийной работе совсем недавно. До этого он довольно основательно протирал штаны в комсомоле на самых разных должностях, имел дело с молодежью и был нафарширован комсомольской демагогией, как карп на праздничном столе у верующего еврея. Бабник и дебошир, он был настолько искренне лицемерен, что сыпал словечками о партийном долге, высокой морали, облике советского человека, даже рассчитываясь наличными с девицами легкого поведения, до которых был охоч без удержу.

— Нет, мы мне ничего не докажешь, — бурлил в углу скамьи Вадим Локтев, — у нас, в СССР не может быть проституции, потому что ее питательная среда — классовое неравноправие народа — была ликвидирована Октябрьской революцией. Зачем женщине идти на панель, если у нас нет безработицы, и она всегда может найти достойное место и уважение в трудовом здоровом коллекти-

ве. А кроме того, аморальное поведение строго карается законом. Как например, гомосексуализм и лесбианство. За это, если доказан состав преступления, голубчик или голубица отправляются в места, не столь отдаленные, сроком на пять лет. И не меньше.

Я припирал Локтева к стене фактами.

В Москве, в самом ее центре, в ста шагах от Кремля, находится биржа проституток. У гранитного портала гостиницы «Москва». Там, где в окнах выставлены огромные стенды фотохроники ТАСС, всегда можно увидеть девичьи и женские фигурки, замершие у окон и с неутомимым любопытством рассматривающие портреты знатных доярок и светских космонавтов. Это — проститутки. Они не фланируют по панели — их бы в два счета замела милиция, а приникли к фотовитринам. Этого им никто запретить не может. Наоборот, девицы повышают свой уровень.

На деле же они глазают на фотографии до тех пор, пока рядом не возникает мужская фигура. Легкое перешептывание, со взорами, прикованными к фотографиям, и, сговорившись о цене, они отходят вместе и направляются к ожидающему у тротуара автомобилю, если у клиента таковой имеется, или же под руку шествуют к стоянке такси. Шоферы этих девиц знают и работают с ними в доле. Парочка уютно устраивается на заднем сиденье, а такси совершает так называемый круг почета, не спеша катит по Садовому кольцу и на это уходит ровно столько времени, сколько нужно опустившейся на колени за шоферским сиденьем девице, чтобы отстрочить элементарный минет. За червонец. Половина девице, половина шоферу. Клиента высаживают, где он пожелает, а машина возвращается к своей стоянке возле Красной площади и девица снова замирает у стенда «Фотохроника ТАСС», в который раз любуясь все теми же мозолистыми руками колхозной доярки и неровными зубами первой в мире женщины-космонавта.

— Все это верно, — неохотно сдавался Локтев, который на моей памяти сам пользовался, бывая в Москве, ус-

лугами девиц у стендов «Фотохроника ТАСС». — В Москве — особое дело. Там полно иностранцев. Они привыкли к проституткам и наше правительство сознательно пошло на такую уступку из гуманных соображений, чтобы капиталисты чувствовали себя у нас как дома. А кроме того, проститутки могут сослужить хорошую службу нашим органам государственной безопасности, выведая в постели кое-какие секреты.

— Но здесь, в этом захолустье, — возмущался Локтев, — где до сих пор предпочитают портянки носкам и вместо туалетной бумаги пользуются смятой в кулаке газетой, откуда тут берутся проститутки? Такие, как Тамара и Лена.

— Тамара и Лена, — возразил я, — хоть и родом отсюда, но свое сексуальное образование получили в Германии, в советских оккупационных войсках. Как ты понимаешь, я — не Игорь, морячок, зазноба Тамары, но и я служил в Германии и знаю эти гостиницы, куда приехали работать горничными Лена и Тамара. Возможно, по комсомольскому призыву. Как истинные патриотки, желая принести только пользу своей социалистической родине. Они, несомненно, прошли перед отъездом за границу спецпроверку и их «личные дела» в полном порядке.

А стали они там формально горничными, а по сути — проститутками. С благословения начальства и Политического управления, предпочитающих, чтобы холостые офицеры справляли сексуальную нужду не с немками, которые могут оказаться и агентами иностранных разведок, а со своими русскими девицами. И если при этом приходится платить за любовь подарками или наличными, что по советской этике считается позором и злом, то в данном конкретном случае делается исключение, которое даже можно оправдать житейски: у офицеров высокое жалование, а у девиц — низкое, не беда, если и поделятся. В любом случае, нет утечки валюты, деньги переходят из одного советского кармана в другой.

Вадим еще пытался возражать, говорил о революции, о социалистической нравственности, новом человеке, о

всем том, что мы уже полвека бормочем миру, сами в то давно не веруя, и тогда я выбил у него последние козыри, напомнив ему нашу совместную командировку в один прелестный приморский город, к причалам которого швартуются торговые корабли со всего мира.

Одна деталь в этой истории весьма примечательна. Накануне поездки, в нашем городе, где мы с Вадимом усердно трудились на ниве коммунистического воспитания масс, появились заграничные мужские пальто. Отличные пальто, доселе невиданные в нашем городе. Из толстого ратина, в рубчик. Сшиты по последней моде. С погонями и шалевым воротником. Оденешь пальто и — все русское испаряется с твоего облика. Выглядишь иностранцем, этаким заморской птицей. Конечно, при условии, если не разеваешь пасть и остаешься нем.

Эти пальто, как вы догадываетесь, появились не в открытой продаже для трудящегося населения, а в нашем закрытом распределителе, куда доступ открыт лишь «слугам народа» — партийно-советскому активу. Вскоре на улицах нашего города можно было без особого затруднения определить, кто из мужчин принадлежит к избранным, то есть, к начальству: все они, как на подбор, щеголяли в ратиновых пальто с шалевыми воротниками стального и бежевого цвета. В наличии имелись только эти два цвета.

Мы с Вадимом тоже удостоились обновок — я купил стальное пальто, а Вадим — бежевое. Заодно там же, в закрытом распределителе разжились шикарными, в клеточку, кашне. И когда обрядились в обновы и глянули в зеркало, то имели вид иностранных матросов, сошедших с корабля в порт порезвиться. Ведь только матросы-дружки, с их понятием о вкусе, могут одеться в одинаковые, как униформа, пальто и кашне и парой выйти фланировать по бульварам.

Точно так, того не ведая, поступили мы по прибытии в приморский город. Стояла осень. Теплая и влажная. Опавшие листья прели на поблекшей траве в многочис-

ленных парках города, и морской свежий ветерок перека-
тывал их по асфальтовым дорожкам.

Этот город славился своей набережной, озаренной мно-
жеством фонарей, откуда видны были десятки кораблей с
флагами разных стран, и где вечерами гуляли жители го-
рода и гости, наслаждаясь свежим воздухом и прекрас-
ным видом.

Разместившись в гостинице, мы с Вадимом в одинако-
вых пальто бежевого и стального цвета, каких в этом го-
роде еще никто не носил, и, повязав бантом кашне, вы-
плыли на набережную и включились в поток фланирую-
щей публики.

Эффект, который мы произвели на представительниц
слабого пола этого приморского города, ошеломил нас
самих. Нас безошибочно приняли за моряков с иностран-
ного судна, вышедших развлечься в советском порту. Как
мухи на мед, как железные опилки к магниту, ринулись к
нам охотницы до иностранной валюты, заграничных чу-
лок и парфюмерии. Ринулись парами и в одиночку, блон-
динки и брюнетки, крашенные и натуральные, на какой-то
чудовищной смеси иностранных слов предлагая свои, со-
вершенно определенные услуги.

Вадим Локтев разинул рот от изумления при виде та-
кой массовой и откровенной проституции в советском
порту на глазах у иностранцев и поэтому не смог произ-
нести ни слова, и тем самым не выдал девицам того, что
он русский. Я же молчал нарочно, дразня девиц еще
больше и усиливая у них желание зацепить нас.

И я и Вадим служили в армии в Германии и с грехом
пополам владели немецким языком. Я шепнул ему, что
мы сыграем роль немецких матросов и посмотрим, что из
этого получится. Вадим, парень заводной, охотно поддер-
жал игру, поставив неременное условие, что, выявив та-
ким образом большинство проституток, мы обратимся к
соответствующим властям и поможем им очистить город
от такого позорного явления.

Мы двигались в довольно густой толпе гуляющей пу-
блики, изредка перекидываясь немецкими фразами из ар-

мейского лексикона, вроде «Руки вверх!», «Следуйте за мной!», «Так точно!» и «Гитлер капут!», и, как мотыльки на огонь, выпархивали к нам девицы, пристраивались впереди нас, какое-то время мы следовали вплотную за ними, и затем они заговаривали с нами.

Как избалованные и опытные покупатели, мы цинично разглядывали их, а Вадим старался запомнить, и потом молча, жестами отказывались от их услуг. Стоило им исчезнуть, как тут же возникали новые и игра повторялась.

Так мы прочесали всю набережную и Вадим засек несколько десятков девочек, чья древнейшая профессия не вызывала сомнений. Вадиму это казалось крушением привычного мира. Советский народ предстал в совершенно искаженном свете перед иностранцами, и этому нужно было немедленно положить конец. Он умолил меня пойти вместе с ним сейчас же к местному начальству и предложить им простой и вернейший способ очистки города от позорного элемента — девиц легкого поведения, предлагающих услуги иностранцам. Мы, мол, вдвоем, снова пройдем по набережной, как бы прогуливаясь, а детективы в штатском пусть следуют за нами и хватают каждую девицу, которая заговорит с нами. А в стороне пусть дожидается большой милицейский фургон: мы его полностью загрузим «уловом».

Велико было изумление Вадима, когда дежурный офицер в приморском отделении милиции, вежливо выслушав его горячую речь и в деталях разработанный проект, поблагодарил и беспомощно развел руками, сказав, что всех этих проституток милиция знает наизусть, а взять их не может.

— Почему? — ахнул Вадим.

— Потому что у нас, в советской стране нет проституции. Ясно? Такова официальная точка зрения. А раз ее нет, как же с ней бороться! Нонсенс! Конечно, можно было взять их под другим предлогом: тунеядство, бродяжничество. Но и тут мы — пас. Они все работают, некоторые даже состоят в комсомоле. А вечерами, когда они вправе распорядиться своим временем, как вздумается,

выходят на панель и торгуют своим телом за пару зарубежных чулок или губную помаду. Милиция бессильна, когда закон лицемерит.

— Что-то не в порядке в нашем отечестве, — бормотал сбитый с толку Вадим Локтев, когда мы покинули милицию и снова вышли на набережную.

Он был искренне раздосадован и уж ни на кого не смотрел, а пытался своими неокрепшими мозгами связать жесточайшую реальность с подмалеванным фасадом нашей действительности, который он же своими руками окрашивал в радужные тона.

— Слушай, давай сами наведем порядок, — не мог успокоиться он. — Пусть нас, как иностранцев, поведут к себе домой. А когда разденутся и лягут в постельки, мы вынем из штанов ремешки и выпорем по-отечески, приговаривая: мол, не позорьте советскую власть, суки. Наши, мол, космонавты вызывают у всего мира зависть и восторг, а вы топчете в грязь престиж первого в мире социалистического государства.

Делать нам было нечего, мальчишеская горячность Вадима меня сместила, и я не стал его отговаривать, полагая, что неплохо развлекусь.

Мы остановили свой выбор на одинокой проститутке, заметно выделявшейся среди остальных. Она была, в отличие от них, некрасива и бедно и неопрятно одета. Неопределенного возраста между двадцатью и тридцатью. Белесые свалывшиеся нечесанные волосы, никаких следов помады на невыразительном лице. На костлявых плечах длинная, явно чужая кофта и туфли на сбитых и скошенных каблуках.

Это еще больше возмутило Вадима Локтева. Что, мол, подумают о советской молодежи иностранные матросы, переспав с этим огородным пугалом. Вадим уже забыл о нравственности. Его теперь беспокоило, чтобы советские проститутки имели подобающий вид и в постели не уступали пальму первенства своим иностранным товаркам. У Вадима мозги были туго нафаршированы.

Покачиваясь на сбитых каблуках, девица прошла не-

сколько шагов впереди нас и, резко обернувшись, выдавила профессиональную улыбку, озарив Вадима черным провалом на месте отсутствующего переднего зуба.

— Иностранцы? — спросила она по-русски и, ухмыльнувшись, добавила. — Иностранцы-засранцы.

Вадим и я сразу же вошли в роль и, выразив на своих сытых, откормленных лицах абсолютное непонимание русского, дружным дуэтом переспросили по-немецки:

— Вас?

— Хер тебе в глаз, — в рифму отпарировала славяночка, показав свое полное презрение к загранице и вызвав у меня молчаливый восторг. Она мне сразу понравилась. Вот он — результат нашей ура-патриотической пропаганды! Проститутка — великодержавный шовинист!

— Ладно, хватит трепаться, — по-русски продолжала она, нисколько не заботясь, понимаем ли мы ее. — Меня зовут Валя.

И для большей вескости она ткнула себя пальцем в плоскую грудь:

— Валя! Ясно? А неясно, тоже невелика беда.

— Валя, Валя, — хором повторили мы, кивая головами и глупо улыбаясь, как это обычно делают в советских фильмах актеры, играющие иностранцев.

— За мной! — кивнула нам Валя. — Пойдем ко мне. Деньги есть? Мани! — произнесла она первое слово по-английски.

— О, мани! — взвизгнули мы и загалдели, как гуси, хлопая себя по карманам. — Мани, мани, мани...

Вполне удовлетворившись беседой с нами, Валя повела нас в сторону от набережной, как раз в том направлении, куда показывал вытянутой рукой с гранитного постамента бронзовый Ленин. А он указывал на величественные многоэтажные здания, полукругом окаймлявшие бухту. Мы прошли эти здания, свернули во двор и Валя зацокала сбитыми каблуками по ступеням, ведущим вниз, в подвал.

— Боже мой! — пришел в ужас Вадим. — Куда они водят иностранцев? Что они подумают о нашей стране?

Вадиму предстояло удивляться на каждом шагу. Перед ним открывалась жизнь, о которой не пишут в газетах.

Под величественными, облицованными мраморной плиткой зданиями, создававшими с моря выразительный облик приморского города, был второй город — подземный. Подвальные трущобы бесконечно тянулись мрачными сырыми коридорами, на стенах которых, как ребра, выступали ржавые трубы канализации. Во все стороны уходили такие же мрачные переулки со множеством дощатых дверей, откуда воняло детскими пеленками и кислыми щами. Здесь ютились сотни семей. Нам то и дело попадались табуреты с гудящими примусами, на которых варилось что-то в кастрюлях, и белье, сохнувшее на веревках.

Валя хорошо ориентировалась в этом лабиринте и мы еле поспевали за ней, сворачивая то влево, то вправо.

— Засекай маршрут, — шептал Вадим. — Назад-то нам без провожатого придется выбираться. Знаешь, что я думаю? Если она до конца так и не разберется, кто мы такие, то, считай, мы с тобой сдали экзамены на разведчиков. Играем свою роль точно, не придерешься.

Вместо двери в жилище, куда нас привела Валя, была грязная ситцевая занавеска. А внутри было такое убожество, что у нас захватило дух. Под облупленным, с ржавыми пятнами потолком на длинном шнуре висела голая, без абажура, электрическая лампочка и тускло освещала четыре, крашенные известкой, стены, без единого окна, дырявый дощатый пол и на нем один табурет, один колченогий стол, покрытый газетой, и узкая железная кровать с каким-то тряпьем на ней. Это была вызывающая бедность.

Валя сбросила на кровать кофту. Под кофтой была лишь комбинация со шлейками.

— Так, — деловито сказала она. — Мани! Деньги на бочку!

Для вящей ясности она огрызком карандаша вывела на листе газеты, которой был накрыт стол, цифру 100.

Вадим выхватил у нее огрызок и, размашисто перечеркнув 100, вывел 3.

Валя в гневе оттолкнула его локтем и сбавила до 75. Вадим, которому эта игра нравилась, перечеркнул 75 и поставил 5. Так они черкали и выводили цифры, пока не сошлись на 25-ти.

Денег ей Вадим не дал, жестами пояснив, что сначала мы должны убедиться в качестве обслуживания.

— Ладно, — устало согласилась Валя, расстегивая юбку. — Выключите свет.

Вадим повернул выключатель на стене, лампочка погасла и стало темно. Вадим наощупь пробрался к табурету, намереваясь сесть, но промахнулся и грохнулся задом об пол. От неожиданности и боли он взвыл в темноте, изматерившись по-русски, и Валя, мгновенно сообразив, что мы не те, за кого себя выдаем, включила свет и закричала:

— Вон отсюда! Лягавые! Я сейчас на помощь позову!

Мы бежали без оглядки, чудом ориентируясь в поворотах, натыкаясь на ржавые трубы, спотыкаясь о табуреты и зарываясь головами в сохнувшее белье.

Выбравшись на свет божий, на свежий воздух, очутившись перед мраморными фасадами величественных зданий, мы долго приходили в себя, и Вадим огорченно признался, что разведчик и конспиратор из него никудышный, и единственную пользу, какую он извлек из нашей авантюры, это то, что узнал в каких трущобах обитают советские люди.

Всю эту историю я припомнил моему сослуживцу, пока мы коротали ночь на вокзале, ожидая нашего поезда, и Вадим не стал спорить и согласился, что не все у нас гладко, и надо еще много сил приложить в борьбе за идеал.

Как он приложил свои силы я убедился в следующий вечер в городе, куда мы, наконец, добрались, и я лег отсыпаться в гостиничном номере. Поспал я не больше часа и был разбужен пьяным голосом Вадима за дверью:

— Эй, кончай ночевать! Заходи ко мне! Покажу сюрприз!

В комнате у Вадима сидели в ряд на диване, застенчиво

положив на колени руки, три девчонки, все моложе двадцати, и несмело улыгнулись мне, когда я вошел, на ходу одеваясь.

— Три сестры! — отрекомендовал их Вадим, раскачиваясь на ногах посреди комнаты. — Похлеще, чем у Чехова! И все три — проститутки. Наши советские проститутки! Я их в ресторане подцепил. Две — мне, одна — тебе. Выбирай любую, я — угощаю.

Вадим был пьян как свинья.

— Глаза разбежались? Не знаешь, какую взять? Я тебе выберу, знай мою доброту. Бери самую младшую. Эй, ты, иди, детка, к дяде. Он тебе покажет, что русский мужик не хуже иностранца.

Я туго соображал, не очухавшись со сна. Девчонка, курносая и сероглазая, в короткой выше круглых коленок юбке, прошла за мной в мою комнату и стала раздеваться. Когда она сложила свою одежку на диван и повернулась ко мне, застенчиво закрыв ладонями маленькие грудки, я изумился, увидев на ее лобке вместо волос золотистый пушок.

— Сколько тебе лет? — обеспокоенно спросил я.

— А сколько дадите? — неуклюже-кокетливо спросила она.

— Шестнадцать?

— Меньше.

— Что? — поднялся я со стула. — Тебе всего пятнадцать лет?

— Меньше, — повторила она. — Мне — четырнадцать.

— Одевайся! — закричал я, и она послушно стала натягивать на себя одежду. — Давно ты этим занимаешься?

— Больше года.

Я застонал.

— И эти... действительно, твои сестры?

— Да. Нас маманя посылает... если ничего не принесем... может прибить. Вы мне уплатите, даже если брезгуете... а то прибьет маманя.

Я поспешно отсчитал ей несколько рублей и сказал,

чтобы она сейчас же уходила домой, а завтра утром я жду ее здесь. У меня в городе все начальство — приятели и я ее устрою куда-нибудь... учиться и работать. И она будет жить с другими детьми. Будет одета и обута. И, как кошмар, забудет все это.

Когда я ей это горячо и торопливо объяснял, я сам себе напоминал Вадима Локтева — борца за социалистическую нравственность.

Девочка с заблестевшими от радости глазами стала благодарить меня и сказала, что утречком непременно придет сюда и будет ждать меня в вестибюле.

— Мы позавтракаем вместе и пойдем, — проводил я ее к дверям. — Завтра ты начнешь новую жизнь.

Оставшись один в комнате, я долго взволнованно ходил из угла в угол как Вадим, возмущаясь масштабами проституции и умиляясь своей порядочности и гражданственной ответственности.

Я разволновался до того, что окончательно расхотел спать и почувствовал голод. Умывшись и причесавшись, я спустился в ресторан, чтоб перехватить в буфете стакан чаю с бутербродом.

Ресторан был полон. На эстраде играл джаз. Над столиками плавали клубы табачного дыма. Я остановился на пороге и обмер.

Моя девочка с золотым детским пушком на лобке, которую я только что отправил домой, взяв слово, что завтра она с моей помощью начнет новую чистую жизнь, сидела за столиком с пьяным офицером и тянула водку из рюмки, а он облапил ее и шарил ладонью пониже спины. Увидев меня, она вздрогнула, поставила рюмку и, отвернувшись, демонстративно обхватила офицера за шею и стала целовать его.

Мне захотелось закричать, выгнать всех из ресторана, нашлепать девчонку по задку и запереть ее до утра, пока не откроются все учреждения, куда я поведу ее. Но вместо этого я, не став пить чай, покинул ресторан и поднялся к себе.

Проходя мимо комнаты Локтева, я услышал голоса ее

двух старших сестер и гогочущий басок Вадима, который все никак не мог смириться с тем, что у нас в советской стране процветает такой жуткий пережиток буржуазного прошлого — проституция.

— Выключи телевизор! — рассердился Астахов. — В кои веки встретились, столько хочется рассказать да послушать, а ты воткнулся в телевизор, словно там бабы юбки заголяют. Чего ты там не видал? Футбол давно кончился.

Зуев покорно выключил телевизор и с виноватым видом подсел к Лунину на диван.

— А ты чего куксишься? — спросил он. — Аль перегрелся в баньке?

— Чего-то тошно на душе, — мотнул головой Лунин. — Раскис.

— Пить бы тебе поменьше, — сказал Астахов. — Злоупотребляешь, парень. Не те уж года.

— Что? Пора итоги подводить? — скопился на Астахова Зуев.

— А почему бы нет? — задумчиво спросил Лунин. — Сколько нам еще осталось коптить небо? От силы десять лет. Скоро ответ держать.

— Перед кем? — вскинул голову Зуев. — Я не верю ни в бога, ни в черта. Перед народом? Сказки для детей школьного возраста. Народ безмолвствует, как верно заметил в «Борисе Годунове» наш классик Пушкин. И вообще нет такого понятия, как народ. Есть безликие единицы. Шевелятся, дергаются. Вроде микробов под микроскопом. И миром правит принцип один: кто кого сгреб, тот того и вьѐб.

— Ты — циник, — лениво отмахнулся Астахов.

— А ты кто? — ехидно уставился на него Зуев. — Праведник? Одним мы с тобой миром мазаны. Сидим по горло во лжи да дерьме и молим бога, чтобы ветра не было, иначе в рот попадет.

— Ты действительно его считаешь циником, а себя нет?
— спросил Лунин.

— Я по крайней мере не плюю в колодец, из которого пью.

— Значит, если бы тебе представилась возможность начать жизнь сначала, ты бы повторил свой путь?

— С некоторыми коррективами.

— Ты и есть циник, — сказал Зуев.

— А ты? Кающийся грешник? Гресишь и каешься? Каешься и гресишь?

— Потому что спастись некуда. Да и поздно. Мы, ребята, оседлали тигра, а падение с него смерти подобно. Так и придется трястись до могилы.

— Вот и вся правда, — согласился Астахов. — Мы верхом на тигре и пока не свалимся — весь мир ложится к нашим ногам. Хорош коммунизм или плох — вопрос теперь уже не в этом. Коммунизм обречен на успех и завоеует весь мир. Потому что остальной части мира приходит естественный конец из-за дряхлости и либерального ожирения. Мы будем править миром. И я несказанно рад, что окажусь не в стане побежденных, а в лагере тех, кто диктует свою волю. Называйте это как угодно, но я сделал свой выбор давно, тогда же, когда и вы, и червь сомнения давно уже меня не точит.

— Завидую тебе, — вздохнул Лунин.

— Он прав, Саша, — обнял Лунина Зуев. — Не томи себя сомнениями. Мы все трое, при всех потерях, все же вытянули счастливый лотерейный билет. Мы — на верху пирамиды. И горе тем, кто, истекая желчью, копошится у ее основания. Жизнь человеку дается один раз и мы урвали у нее максимум того, что возможно в наших российских условиях. Живи пока живется. Радуйся каждому мигу, который еще в твоём распоряжении. Откинем копыта — ничего не останется. Ни почета, ни лавров, ни совести. Пустота. Так впитай в себя как можно больше радости на пороге этой пустоты. Пока ты еще способен что-нибудь ощущать. Положительные эмоции, Саша! Любой ценой!

— Как по-твоему? — не поднимая головы, спросил Лу-

нин. — Будь жив Шурик Колоссовский, он бы разделял твою философию!

— Потому-то его и нет в живых. Природа производит селекцию. Она, мать, безжалостна. А если она замешкается, тогда включается щит и меч революции — наши славные органы безопасности — и ликвидируют тех, кто не может приноровиться к шагу истории. Сохраняются лишь такие экземпляры, как мы.

— Что ты хотел этим сказать? — насторожился Астахов. — Не считаешь ли ты нас отпетыми негодяями?

— А ты как полагаешь? — исподлобья взглянул на него Лунин.

— Знаете куда нас такой разговор заведет? — после паузы примирительно сказал Астахов. — Лучше не будем.

— Давай не будем, — согласился Лунин.

— Ах, братцы мои, — покачал головой Зуев, — не нужно мудрить. Берите жизнь такой, какая она есть и старайтесь отщипывать от нее самые лакомые кусочки.

— Вся философия нашего мира, на которой протерли штаны тысячи словоблудов, сводится к простейшей формуле, которая нашла точное отражение в одном...

— Анекдоте, — с улыбкой подсказал Астахов.

— Совершенно верно. Послушайте и пусть его мудрость послужит вам путеводной звездой в минуты тягостных раздумий.

Жил на свете бедный еврей. И было у него богатства — всего-навсего два петуха. Один — белый, другой — черный. Жили они у него долго и привыкли друг к другу. А еврей, соответственно, привык к ним. Одним словом, одна семья. Но когда уж совсем в доме ничего есть не осталось, решил еврей зарезать одного петуха. Да стал в тупик. Которого? Зарежешь черного — белый скучать будет. Зарежешь белого — черный будет плакать от тоски. Что делать?

Пошел еврей к раввину — мудрейшему человеку в местечке и изложил ему суть проблемы. Задумался раввин, пожевал бороду и говорит:

— Труднейшую ты мне задал задачку. Сам я ее решить не в состоянии. Поищу в талмуде, где вся наша мудрость сконцентрирована. Возможно, найду прецедент. Приходи через три дня за ответом.

Через три дня приходит к раввину бедный еврей и застаёт его совсем измученным: дни и ночи рылся раввин в талмуде.

— Ну, что? — спрашивает еврей. — Какого петуха мне запезать?

— Режь черного, — устало сказал раввин.

— Но ведь белый будет плакать.

— Хер с ним, — сказал раввин, — пусть плачет.

Астахов выдавил кривую ухмылку, а Лунин лишь горестно покачал головой.

— Дайте, ребята, выпить, — сказал он. — Там еще водка осталась?

— Ни-ни, — замахал перед ним рукой Астахов. — Тебе, Саша, больше пить не следует. Мы, кажется, все перебрали. Сделаем передышку.

— Ну, пивка хотя бы, — попросил Лунин.

— Пива можно, — решил Зуев и прошел нагишом к холодильнику. — Учти, Саша, пьешь последнюю. На, вот, выпей. И я себе горло промочу. Вертится у меня на кончике языка одна история. Грех будет — не рассказать ее вам. Располагайтесь уютно. К черту философию. Возвращаемся к нашим бабам. Только они, голубушки, достойны внимания. У них между ног заложен философский камень и оттуда мы извлекаем смысл жизни.

РАССКАЗ ЗУЕВА

Примерно в ту же пору, что и в Литве, разворачивалась кровавая баня в Западной Украине. Проводилась ликвидация бандеровцев, а кто — бандеровец, а кто — лояльный — поди угадай. Днем усач-крестьянин мирно шагает

за пароконным плугом в своей домотканной свитке и кожаных самодельных постолах, а ночью лежит в засаде с немецким автоматом «Шмайсер» и советскими гранатами-лимонками и — горе тебе, если в этот час ты попадешь ему на мушку. Вечером кареглазые дивчины с монистами на шее водят хороводы за околицей, а ночью, как заправские солдаты, нападают на милицейские участки и закладывают мины на извилистых горных дорогах.

Не знаю, как сейчас, с той поры я в эти края не наведывался, но тогда там, в Галиции и Карпатах, а не в Киеве, была настоящая Украина, с сочным певучим языком — русский язык терпеть не могли и, если заговаривал по-русски, ответа не жди, — с задушевными песнями, с белозубыми улыбками дивчин, с черными горящими глазами парней, со своей одеждой, многоцветной и яркой, как окружающий ландшафт, воистину национальной, изготовленной дома на ручных ткацких станках по узорам и моделям, переходившим от бабки к дочери, от дочки к внучке.

Чужого узнавали сразу по одежде и по языку. Замыкались, к себе не подпускали. А если кто проявлял настойчивость, то его поутру находили у дороги с перерезанным горлом или с кровавой дыркой в затылке.

Поэтому без охраны в деревню не суйся и уноси ноги подобру-поздорову, пока солнце не закатилось за горы, а то вместе с охраной напорешься за поворотом дороги на засаду и шансы выскочить живым из рук этих белозубых дивчин и кареглазых парней практически сводились к нулю. Поэтому и днем и ночью советские солдаты, в медалях и орденах, вернувшиеся из поверженной Германии, патрулировали на дорогах в «Виллисах» и бронемашинах, забрасывали противотанковыми гранатами выслеженные укрытия-бункера, изматывались до изнеможения в погонях за быстроногими и неуловимыми бандеровскими бандами, и бесславно, и нелепо, уцелев все четыре года войны с немцами, находили свою могилу в карпатской полонине.

Львов — удивительный город. Архитектурный музей в обрамлении парков и садов. Улицы, дома — необычайной прелести и уюта. Русский и украинский стили переплелись с польским и немецким и создали неповторимый букет, удивительную гармонию линий и красок, и если бы о зодчестве можно было так сказать, то я назвал бы его пахучим, ароматным.

Я получил назначение во Львов, в Обком партии, и из голодной обшарпанной Москвы попал в рай. Рынки ломятся от избытка вкуснейшей снеди, проперченной, с чесночком и укропом. Глянешь — слюнки текут. И дешево до невероятия. Сюда еще колхозы не пришли, бандеровцы своим сопротивлением отодвинули от крестьян этот счастливый миг, и потому дары черноземных равнин и горных долин затопляли город. Здесь ничего не стоило вкусно наесться и сладко напиться, а потом захлебнуться кровью под ножом того же крестьянина, если рискнешь покинуть город.

Мне дали ордер на квартиру, о которой я не мог мечтать в самом фантастическом сне. Я вселился в квартиру из шести комнат, где прежде обитал польский адвокат, высланный вместе с семьей в Сибирь. Адвокат или ничего не взял с собой, или ему не позволили. Осталась дорогая ореховая мебель, фарфоровая посуда и серебряные ложки, постели с пуховыми перинами и даже семейные альбомы в бордовых бархатных футлярах. Я был холост и поэтому мог здесь играть в прятки сам с собой, бегая по паркетным дубовым полам и отражаясь в многочисленных зеркалах, вправленных в резные золоченые рамы. Кроны каштанов пропускали только редкие солнечные блики к широким венецианским окнам с прозрачным тюлем и тяжелыми шторами и играли на гранях хрустальных многоярусных люстр. В этом доме, в таких конфискованных квартирах жила на всех трех этажах такая же публика, как и я, приезжая и чужая этому городу, работники Обкома партии и Министерства государственной безопасности, и поэтому у подъезда с колоннами постоянно дежурил воо-

руженный автоматом милиционер, а в каждой семье хранилось личное оружие.

Мы жили в городе, как в осажденной крепости, и каждая вылазка за город выглядела как военная операция на враждебной, полной опасностей, территории. В сферу моей деятельности как раз входила эта территория, а не город, поэтому мне предстояло вкусить всю прелесть знакомства с сельской Украиной.

В первую командировку меня снаряжали как парашютиста перед прыжком в тыл к противнику. Выдали в спецотделе пистолет «ТТ» с двумя обоймами, неофициально рекомендовали прихватить, на всякий случай, финский нож, снабдили всевозможными сведениями об ожидающих меня опасностях, строжайшим образом предупредили не вступать в контакты с незнакомыми людьми, избегать, как самой опасной ловушки, знакомства с женщинами. У бандеровцев была коварная тактика — с помощью туземных красавиц заманивать в укромные места и затем убивать не слишком разборчивых представителей советской власти. Мне приводили в пример случаи, рассказывали ужасающие подробности гибели прекрасных коммунистов, не устоявших перед чарами обольстительных убийц.

— Они выслеживают таких, ненароком знакомятся, втираются в доверие, приглашают выпить и...

Одним словом, никаких знакомств с женщинами, ночевать только в районном центре, в охраняемой гостинице, а еще лучше в самом райкоме партии. С наступлением темноты не появляться на улице, отсиживаться под надежным укрытием.

А предстояло мне всего-навсего два часа езды поездом, провести день, от силы два, в сельском райкоме партии, собрать нужные сведения и тем же поездом возвратиться. Правда, если подвернется оказия, я надеялся махнуть оттуда на попутной машине, хоть на полдня, в горное село, куда поездом добраться нельзя. В этом селе секретарем райкома партии был мой фронтовой товарищ Андрей Костенко, киевлянин, попавший по партийной разрядке в

эту дыру и трубивший там уже третий год. Узнав, что и я попал в эти края, он оборвал телефон, приглашая заехать, погостить. Совсем недавно Андрей сообщил мне, что женился, и уже потребовал, чтобы я, если дорожу фронтовой дружбой, приехал познакомиться с его женой и крепко выпить по этому случаю.

Я прикинул, что если управлюсь с делами пораньше и мне подвернется охраняемый транспорт, я заеду к Андрею. Если же нет, то вернусь во Львов и объясню все по телефону.

Мне рекомендовали одеться попроще, под сельского учителя, и не заговаривать с пассажирами, чтобы не привлекать внимания моим великорусским говорком. Следуя этому указанию, я облачился в нагольный гуцульский полушубок, шапку из овчины, сапоги. Вместо портфеля взял маленький кожаный чемодан, валявшийся в кабинете прежнего владельца квартиры. Нож сунул за голенище сапога, пистолет — во внутренний карман полушубка, смешался с толпой на вокзале и, предъявив билет проводнику, усатому и мрачному украинцу, какими я рисовал себе бандеровцев, вошел в вагон и занял место у окна. Второе сиденье у прохода оставалось свободным, а так как вагон был наполовину пуст, то я с некоторым облегчением решил, что поеду один, без соседей, а следовательно, и без необходимости вступать в путевые разговоры.

Была зима. И довольно холодная для этих мест, где зревает виноград. Наглухо закрытые окна вагона подернулись узорами морозного инея. Пассажиры, понемногу заполнявшие вагон, были большей частью сельскими жителями. Тулупы, полушубки, бараньи шапки. Одна лишь украинская речь и ни слова по-русски. Кислый запах плохо выделанной овчины, перемешанный с острой чесночной вонью и щиплющим в горле едким дымом махорки-самосада.

Вот в таком окружении и в такой атмосфере мне предстояло протомиться два часа, пока этот поезд местной линии дотащится до Карпатских предгорий и выплюнет меня в ночь, на незнакомую станцию, к неизвестным лю-

дям. Я решил подремать, чтобы совсем не привлекать к себе внимания. Поднял меховой воротник выше ушей, нагнул шапку на глаза, прислонился плечом и ухом к стене и услышал:

— Это место не занято?

Я приоткрыл один глаз и из-под овчинной бахромы моей шапки неясно различил женский силуэт у соседнего со мной сиденья. Вопрос относился явно ко мне и я встре-пенулся, отстранился от стены, чтобы принять позу по-приличней.

— Конечно, свободно. Располагайтесь.

Я ее еще не разглядел, мне мешала овчинная шапка, сдвинутая на лоб, но когда я стряхнул шапку назад, моему взору предстало видение. Я видел до того красивых женщин. Актрис в кино и театре. Да и в большой Москве можно встретить на улицах множество очаровательных красоток, одетых хоть победней и похуже, чем в Париже, но компенсирующих этот недостаток свежестью и естественностью своей женственности.

Такой, как эта, я не встречал. Она вся до краев была переполнена заманчивой до одури волшебной прелестью, от которой мужчины лишаются ума, теряют волю, становятся послушными как ягнята, и с восторгом покоряются каждой прихоти повелительницы. Румяные с мороза щеки лучились двумя вкуснейшими ямочками, резные ноздри вздернутого носика трепетали, словно пульсируя. Глаза большущие и черные, какими бывают в этих краях крупные черешни. А волосы в неожиданном контрасте с ее южной смуглостью были белые и мягкие. Белые, с легкой желтизной, цвета местного сливочного масла. Или льна. Желтые с серебристым отливом.

В ушах покачивались маленькие сережки черного серебра с крохотными каплями рубина посерединке. И эти алые, как кровь, капельки рубина прелестно гармонировали с ее влажно-черными глазами и вызывающе ярко рдели на фоне желто-серебристых, ниспадавших на плечи, волос.

На ней была овчинная душегрейка в талию, темно-

желтая, расшитая узорами на груди и на спине и окаймленная снизу и по краям рукавов полоской серого вывернутого меха. На плечах, набрежно сброшенный с головы, лежал мягкий шерстяной платок с редкими нераспустившимися бутонами красных роз по светлому полю — польское изделие домашней выделки, излюбленное не только местными паненками, но и украинскими дивчинами Львова.

Она была очень молода, чуть старше двадцати. И стройна. Не худа и тонка, а слегка раздалась ранней полнотой и от этого была еще привлекательней и желанней.

Она была украинкой. И не только по говору, но и по всему своему виду, каждому жесту и движению, полному мягкой хищной грации, как и певучая украинская речь, медово-ласковая и жгуче-холодная в одно и то же время.

Нетрудно представить мое состояние застоявшегося молодого жеребца, отнюдь не избалованного женским вниманием в этом городе, где я жил под охраной и под вечным страхом нарваться на пулю или нож, при виде этого чуда украинской природы. У меня был преглупый вид и я непристойно уставился на нее, вызвав удовлетворенную и понимающую улыбку уверенной в себе женщины, привыкшей к такому ошеломляющему действию своей красоты.

— Вы — русский? — спросила она, сев рядом и повернув ко мне свое румяное, с ямочками, улыбающееся лицо. И видать, из Москвы?

Она перешла на русский язык, который в ее устах звучал непривычно, смягченный сильным украинским акцентом.

Я не ответил, потому что вспомнил все инструкции и напутственные предупреждения сослуживцев об очаровательных соблазнительницах, подсылаемых бандеровцами к таким персонам, как я. Действительно, почему она села ко мне, когда в вагоне оставалось столько свободных мест? Почему она заговорила первой, хотя это считается проявлением самого дурного тона в неписанных правилах

местной добродетели? И, наконец, кто дал ей сведения обо мне?

Я похолодел и замкнулся как сыч. В голове запрыгали трусливые мысли о том, что мне нужно побыстрее отвязаться от нее, перейти в другой вагон или совсем покинуть поезд на следующей станции. Поезд уже шел, подрагивая на стыках рельс. За слюдяными от мороза окнами расплывались, уползая назад, неясные пятна огней.

— У вас в Москве все такие... невежливые? — продолжила улыбаться она, откровенно рассматривая меня, безо всякого стеснения и с видом гурмана-удава, со знанием дела приценивающегося к кролику, перед тем как его заглотать.

— О-о, я понимаю, секрет? — звонко рассмеялась она, раскрыв за вишневыми тугими губами два ряда влажно поблескивающих ровных и белых зубов. — У вас задание... вы едете инкогнито... кругом подстерегает опасность... и вы собраны как комок железных мышц... как тигр, готовый к прыжку...

Не знаю почему, но я не устоял перед этим потоком дружеской иронии и улыбнулся ей. Удовлетворенная этим, она прекратила атаку.

— Все! Больше — ни звука! Куда вы едете — ваше дело, куда я — мое. Но это не мешает нам провести несколько томительных часов в приятной беседе?

Она была опытна. Опытней, чем полагалось по ее годам. Все также, не переставая улыбаться и демонстрировать вкусные ямочки, она стала беспечно болтать, порой загадочно умолкая и вперяя свой взор в мои глупые глаза, и эта пауза была полна волнующего кровь обещания. Убей меня, если я могу хоть слово вспомнить из того, что она болтала. Потому что я лихорадочно размышлял о том, что с самого начала моей поездки я попал на крючок, и теперь меня будут осторожно, чтобы не вспугнуть, тащить в условленное место, где поджидает засада. Мне было дестно, что я легко разгадал маневр, и не так страшно, потому что инициатива оставалась в моих руках, и я в любой момент мог прервать игру и, проявив некоторую

находчивость, арестовать эту сирену и сдать ее железно-дорожной охране.

Хоть кровь во мне закипала от близости этой чувственной породистой самки с льяной гривой и зовущими на грех черешнями-глазами, я был уверен в себе и знал, что в нужный момент буду холоден и решителен. В этом я не сомневался. И когда она спросила, долго ли мне ехать и где я схожу, я не посчитал нужным скрыть название станции, куда я направлялся, и, даже немного торжествуя над ее неудачей, пояснил, что через час мы расстанемся, как мне ни жаль.

— И мне жаль, — уже без улыбки вздохнула она и даже отвела лицо, до того повернутое ко мне. — Мне ехать на полчаса дальше. Сойду на станции, переночую у знакомых и утром выйду голосовать на шоссе. Я живу в горах, туда поезд не идет.

Она снова повернула лицо ко мне. Без улыбки, даже с грустью в черной глубине больших глаз.

— Какая тоска коротать долгую зимнюю ночь в чужом месте... и совсем одной.

Я кивнул, соглашаясь с ней, что, мол, действительно, ничего веселого в таком времяпровождении нет.

— Слушайте, — перешла она на шепот и положила свою сухую теплую ладонь на мою руку. — Не сходите на вашей станции. Что вы там ночью будете делать? Все равно спать. Так поедemте со мной... А утром есть обратный поезд, полчаса до вашей станции, и вы успеете к началу рабочего дня.

— Нет, — упрямо вынул я руку из-под ее ладони и спрятал в карман полушубка. — Извините, у меня не праздная прогулка, я — на работе...

— Как хотите, — обиженно надула она свои вишневые губки и снова отвернулась.

— А-а, голубушка, сорвалось, — торжествуя зло-радствовал я в душе, — не помогли твои чары, не выполнила задания.

И словно она услышала мои мысли, резко взглянула на

меня сразу ставшими жесткими злыми глазами, и сказала сухо, тоном приказа:

— Вы поедете дальше. Со мной. Будет так, как я хочу!

Я чуть было не рассмеялся ей в лицо. Это уже была вызывающая наглость. При всех ее дамских прелестях моя соблазнительница явно переоценила свои возможности.

— Не будем спорить, — мирно и не без гордости за свою стойкость сказал я. — Вот уж скоро моя станция и вам представляется возможность убедиться, что сойду я именно здесь.

— Гордиться нечем, — отвела она глаза. — Вы — не мужчина.

— Как вам угодно, — сказал я и стал собираться.

Она не удостоила меня взгляда, пока я доставал из верхней сетки свой кожаный чемоданчик, позаимствованный у бывшего владельца моей львовской квартиры, а потом застегивал полушубок, незаметно проверяя, цел ли пистолет в боковом кармане. Не подняв глаз, она лишь подобрала колени, пропуская меня, но когда я стоял спиной к ней в очереди усатых дядек, поднявшихся с мест и выстроившихся в проходе задолго до остановки поезда, я лопатками почувствовал, что она не сводит с меня глаз и обернулся. Она, как пойманная врасплох, дернула головой и уставилась в белое, мохнатое от инея окно, где смутно проступали желтые пятна огней приближающейся станции.

Я сошел в толпе полушубков и тулупов на заснеженный перрон перед одноэтажным красного кирпича маленьким вокзалом, за которым в морозной дымке еле угадывались пологие очертания карпатских гор. Станционный громкоговоритель хрипло и по-украински что-то объявил, из чего я разобрал лишь одно, что поезд стоит на этой станции пять минут. И я побежал как подстегнутый. Влетел в вокзал, невежливо толкая встречающих, глазами отыскал окошко с надписью «касса», с замиранием сердца обнаружил перед ней очередь, человек с десятков, и совершил то, что я делал лишь в крайних случаях, с большой неохотой. Достал свою красную книжечку — удостове-

ние работника обкома партии, которая волшебным образом открывает перед ее обладателем любые двери, и, помахивая ею перед носом сонного дежурного по станции, категорически потребовал достать мне без очереди билет до станции, где предстояло провести ночь моей спутнице. Сопровождаемые недружелюбными взглядами усатых дядек из очереди и злыми шепотками «чертов москаль», мы с дежурным протолкались к кассе и, получив билет и впопыхах забыв взять сдачу, я вылетел на перрон и помчался к своему вагону, у входа в который змеилась очередь новых пассажиров. Тут я спешить не стал. Билет у меня есть, в вагон я вскочу даже на ходу. С моим легким чемоданчиком.

И когда ударил станционный колокол, я уже был в тамбуре, сжатый со всех сторон овчинными полушубками и тулупами.

Все, что я совершил с того момента, как пять минут назад покинул поезд, я проделал без участия моей воли, а словно под наркозом, ведомый за ниточки чьей-то властной рукой. Это не был гипноз, это не было потерей памяти. Это было черт знает что такое. Чему нет объяснения в медицинской литературе.

На этой станции село много пассажиров и вагон был переполнен. Полушубки и тулупы стояли в проходе, тщетно разыскивая свободное место. Я заглянул вперед через чужие плечи и воротники и увидел свою спутницу, положившую руку с сумкой на мое прежнее место, оставшееся почему-то незанятым.

Потом я услышал ее голос, криливо, чисто украински осаживавший назойливых пассажиров в проходе.

— Место занято! Человек вышел на минуту.

Она не сомневалась, что я вернусь.

Я похолодел и понял, что моя песенка спета. Я начисто лишился обычных для меня волевых качеств и даже упрямства, каким славился в своем кругу. Я стал мягким и податливым. И понимал, что это — конец, что мой труп с проломленным черепом будет найден утром, полусасы-

панный снегом на затерянной станции у самого подножья Карпатских гор. И она — этот дьявол с желтыми льняными волосами и влажными, как черная черешня, глазами, запишет себе в актив еще одного уничтоженного коммуниста-москаля.

Любопытно, что отчетливо понимая все это и не лишенный способности мыслить, я с холодным равнодушием обдумывал все перипетии заманивания меня в ловушку, будто это происходит не со мной, а с кем-то другим, и мне почему-то лень предупредить его о грозящей опасности.

Она встретила меня своей белозубой улыбкой. Не торжествующей и злорадной, а мягкой и радостной, и когда я сел рядом, коснулась губами моей щеки и положила свою ладонь на мое колено.

Так мы и поехали дальше. Не сказав ни слова. Обуреваемые оба — не только я, но и она, я это чувствовал по подрагиванию ее руки на моем колене, нетерпеливым оглушающим желанием, от которого кровь начинает стучать в висках и становится трудно дышать.

Поезд вползал в горы. Движение замедлилось, стало натужным, через силу. Усталое дыхание паровоза, прежде неслышное, теперь проникало в вагон астматическим, задыхающимся ритмом. В такт ему я слышал биение моего сердца и чувствовал ускоренный пульс в ее горячей руке.

Доехали. Сошли. Пассажиры растекались по темным улочкам маленького городка. Редкие фонари таяли в морозном воздухе, клубясь желтым зыбким ореолом. Холод проникал в рукава и за ворот. Кожа на лице одеревянела, потеряла чувствительность. Я понес и свой чемоданчик и ее увесистую тяжелую сумку, угловато распираемую изнутри.

— Наверное, там — автомат, — равнодушно стучало в моих висках. — Нелепо. Сам ташу оружие, которым буду пристрелен.

— Не замерзли? — за всю дорогу лишь раз осведомилась она с прежней улыбкой на раскрасневшемся лице. Черный овчинный воротник, поднятый до макушки, за-

индевел и покрылся колечками сахарного инея. Она была еще красивей. От ее пунцовых щек и белых зубов веяло здоровьем и свежестью.

Я не спросил, куда она меня ведет. Лишь иногда локтем проверял, лежит ли пистолет в полушубке и, как дело решенное, знал, что без боя не сдамся. Уложу сначала ее и еще кого-нибудь впридачу, а потом себе — пулю в висок. Мысль о том, чтобы повернуть и умчаться на вокзал, пока еще не поздно, даже не приходила мне в голову. Я не мог уйти от нее. Это зависело уже не от меня.

По темной, круто уходящей вверх, без единого огонька улице, сопровождаемые ленивым простуженным лаем собак, мы добрались до дома с окнами, закрытыми ставнями, и она постучала в деревянную ставню у крыльца. Три коротких стука. Условный сигнал. Кожа на моей спине и руках сделалась гусиной, я зябко передернул плечами и оглянулся по сторонам и назад. Где-то далеко, еще выше в горах, прокатился колокольный звон. Колокол невидимой отсюда церкви пробил двенадцать раз. Я глянул на свои часы. Полночь.

Все складывалось таинственно и жутко, как в детской сказке. Горы. Вымершая морозная улица. Три стука в окно. Церковный колокол. Полночь. И в довершение картины дверь нам открыла ворчливая простоволосая старуха с беззубым ртом и в наброшенной на голову колушке. Ни дать, ни взять — баба-Яга.

Они обменялись какими-то отрывистыми словами по-украински, почти шепотом, так что я ничего не расслышал, старуха смерила меня с ног до головы быстрым оценивающим взглядом и сказала, зевнув:

— Заходите.

Я вошел вслед за ними и меня поглотила абсолютная темень, теплая, даже душная, несвежий запах от дыхания многих людей, вонь от портянок и разопревшей обуви. Я ничего не видел, но слышал сонное дыхание и мужской храп внизу у своих ног. На полу спали люди.

За спиной грохнула, заставив меня взрогнуть, щеколда

— старуха заперла двери. Я невольно втянул голову в плечи, ожидая из темени удара топором.

— Вы здесь? — у самого моего уха зашептала она. — Дайте руку.

Моя рука очутилась в ее горячей ладони, и я пошел за ней, ничего не видя, натываясь на мягкие тела спящих людей и переступая через них, не зная, куда поставить ногу.

Комната была огромной, на полу спали, разметавшись на постеленных тулупах и полушубках, десятка два мужчин и, судя по чесночной и махорочной вони, это были крестьяне, те самые дядьки с вислыми усами — бандеровцы. Целая банда. Здесь было их логово. И я — представитель обкома партии — такая заманчивая добыча, сам, как на веревочке, пришел к ним и все еще, не отдавая себе отчета, что я делаю, переступал через сонные тела своих врагов, которые нынче славно позабавятся, проснувшись и увидев меня.

— Здесь, — шепнула она, и я коленями уперся в деревянный бок кровати, пошарив рукой, погрузил ее в податливую перину. — Раздевайтесь.

Я сел на край кровати. Она — рядом. Глаза все еще не привыкли к этой абсолютной темени. Я не различал ничего. Только слышал сопение и храп и изредка неразборчивое бормотание во сне. По-украински.

Она первой стала раздеваться, складывая снятую одежду на спинку кровати. Потом нагнулась и пошарила под подушкой.

Я вспотел в своем полушубке и стал поспешно снимать с себя одежду. Достал пистолет из кармана полушубка и нож из-за голенища и все это незаметно подсунил под подушку. Рука моя нашарила там другой пистолет — маленький браунинг, и я догадался, что это она его туда положила, когда нагибалась к подушке.

Все складывалось точно, как по расписанию, и я только не знал, сколько минут или часов жизни отведено мне в этом расписании. И еще я недоумевал, зачем раздевается она. Но, видать, так задумано. Останется только ждать. Еще немного.

Я остался в нижнем белье и молча полез под перину к стене, просунул руку под подушку, сдвинул ее браунинг поближе к себе, незаметно вытащил из него обойму, затем сжал рукоятку своего «ТТ», и ладонь моя сразу взмокла.

Перина приподнялась, она мягко легла на нее и, сделав несколько изгибающихся движений, коснулась меня... голым телом. Она была абсолютно нагой и свободной рукой я нашарил ее гладкий, чуть выпуклый живот и волосы, мягкие, завитками, в самом низу живота. Выпростав руку из-под подушки, продвинул под ее шею, и она прильнула ко мне всем телом. Перед моими глазами мерцали ее глаза, совсем огромные в этой крошечной тьме и белели зубы. Она улыбалась.

Она отдалась мне, обхватив руками и крепкими мускулистыми ногами, сжав так, что я почти не мог шевельнуться, и мы ритмично закачались вместе в сладко-пронзительном параличе, сковавшем нас в единое целое. Она была темпераментной, горячей женщиной и стонала и всхлипывала от страсти, не стесняясь присутствия посторонних людей, храпевших на полу этой таинственной огромной комнаты.

Когда мы, пресыщенные и опустошенные, лежали рядом, переводя дыхание и остывая, и она поглаживала ладонью мою грудь, затем и живот и легким шевелением пальцев добралась до моих бедер, зарыв пальцы в волосы, кто-то закашлял на полу и ругнулся вполголоса по-украински, явно имея в виду нас и поднятый нами шум, а она рассмеялась, громко и заливисто, давая мне понять, что здесь все свои, и она никого не стесняется.

Мы не сомкнули глаз всю ночь. Она сжигала меня своим бесконечным желанием, утоляемым лишь на короткий миг, и я еле успевал за ней, но каждый раз возбуждался от касаний ее умелых и ласковых рук, крепких с острыми сосками груди и упругого выпуклого живота.

Поздний рассвет проник в щели ставней. Стали различимы очертания фигур спящих вповалку на полу мужчин. Над кроватью проступил темный укоризненный лик Ии-

суса на большом деревянном распятии. Кто-то сел на своем тулупе, прикурил махорочную цыгарку и протудно закашлял.

— Пора, — шепнула она, и я сразу сбросил с себя сонную одурь, сел в перине и стал одеваться. Стараясь чтоб она не заметила, сунул в полушубок пистолет, а в сапог, за голенище нож. Свой браунинг она тоже вынула из-под подушки, спиной отгородившись от меня.

Мы вышли в потонувшую в морозном тумане улицу. Она задержалась в сенях, пошептала с той же беззубой старухой, и из того, что я уловил, понял, что она заплатила ей за ночлег.

Затем она стала поторапливать меня, чтоб я не опоздал к обратному поезду. Мы чуть не бежали до вокзала, смеясь и дурачась, как расшалившиеся дети. Морозный воздух обжигал легкие и кровь пульсировала в жилах так, что я осязаемо ощущал ее горячий напор.

На ее лице не было и следа усталости от бессонной и опустошающей ночи. Щеки пламенели, глаза-черешни влажно блестели и улыбка была свежей и пьянящей. Эта свежесть и опьянение передавались мне, и я чувствовал, что готов завалить ее в сухой искрящийся снег, содрать с нее одежду, и здесь, на морозе, клубясь паром от пылающего внутри жара, овладеть ею, и это доставило бы мне неиспытанное доселе наслаждение.

Она ничего не сказала о себе. И я не стал спрашивать. Только, когда я уже садился в вагон, прильнула губами к моим, обожгла на морозе и шепнула:

— Не думай обо мне, не ищи меня... Был сон... и прошел. Счастливо!

Поезд тронул. Я сидел в почти пустом и холодном вагоне у заиндеветшего окна и беззвучно смеялся от какой-то биологической радости и удовлетворения. Судьба подарила мне жгучее, незабываемое наслаждение на острие ножа, под дулом пистолета. И я остался жив. И мне так легко и хорошо... И это будет тайной. Моей... которой ни с кем нельзя поделиться.

Я приехал на ту станцию, где вчера вечером потерял

власть над собой и, купив новый билет, последовал за своей искусительницей, явился в райком к началу рабочего дня, был встречен радушно и приветливо, сразу занялся делами, и все шло так споро, без заминок, что после обеда я был свободен и мог ехать обратно во Львов. Я сэкономил целые сутки из своей командировки. Удача меня не покидала, и местный секретарь по пропаганде оказался дружком Андрея Костенко, недавно гулявшим на его свадьбе, и узнав, что мы с Андреем фронтовые товарищи и не видались столько лет, тут же распорядился заправить райкомовский «Виллис», усадил меня рядом с шофером, у которого на шее висел немецкий трофейный автомат, сунул мне в карманы полушубка по гранате-лимонке, и мы засветло умчались по извилистой дороге в горы.

Без особых приключений — мне по-прежнему везло — к вечеру добрались до Андрея Костенко. Он обалдел от радости и повис у меня на шее, не дав снять полушубок, и целовал мои колючие небритые щеки, тряс меня за плечи и смеялся так радостно, что я был тронут чуть не до слез.

Мы стояли в прихожей большого дома Андрея Костенко, уютно разместившегося в глубине старого сада, заваленного сугробами, но с расчищенными и подметенными дорожками. Как и моя квартира во Львове, это был реквизируемый дом, и прежний хозяин был явно состоятельным человеком.

— Ну, какой сюрприз! — не мог опомниться Андрей. — Какая радость! Я ж сегодня самый счастливый человек. И Оксана дома. Сейчас представлю! Приготовься. Смотри, друг, какой Андрей везучий! Уверяю, ты рот раскроешь! Я сам, ей богу, до сих пор не верю, что мне такое счастье привалило. Оксана! Оксана! Иди сюда, моя радость. Смотри, кто до нас приехал!

Андрей был прав — я раскрыл рот и долго не мог хлопнуть. В прихожую вышла она — моя вагонная спутница с распущенными по плечам льняными волосами, и влажные глаза-черешни уставились на меня. Она владела собой прекрасно. Казалось, она даже не удивилась. Про-

тянула мне свою теплую мягкую руку, развела губы в беззубой улыбке.

— Знакомьтесь, — ликовал Андрей, по-своему оценив мое обалделое выражение лица. — Признайся честно, таких красавиц ты еще не встречал? А? Только в наших краях такие водятся. Вот подожди, обживешься тут, мы и тебе подыщем. Ну, чего стоите? Знакомьтесь. Это — Оксана, а это...

Мы с ней только сейчас представились друг другу, пожали руки.

— Что за церемонии? — не унимался Андрей. — Руки жмут. Как на официальном приеме. Это, Оксана, мой фронтовой товарищ, вместе войну прошли. Он мне ближе родного брата. Так не руки надо тискать, а поцеловаться.

Оксана улыбнулась ему, встряхнула льняными волосами, положила мне на плечи свои ладони и коснулась губами моих губ.

— Крепче целуй! — доносились до меня вопли ошалевшего Андрея. — Не стесняйся, Оксана! Я позволяю!

Зимний день короток и за заиндевельми окнами бани быстро сгущалась тьма. По всей территории санатория, вдоль глубоко утонувших в снегу расчищенных аллей и дорожек зажглись фонари, высвечивая внизу согнутые спины баб-дворников, большими фанерными лопатами сгребавших с асфальта свежую порошу.

Мимо бани прошел кучер Ерофей, статный, красивый, в теплом кафтане и шапке пирожком, прислушался к джазовой музыке, доносившейся из бани, покачал головой.

За голубыми елями, под глубокой снежной шапкой располагались бревенчатые конюшни и оттуда несло терпким запахом прелого сена и конского навоза. Ерофей прошел в полутемное нутро конюшни и его сразу обдало теплом. Его тройка — серый коренник и две гнедых пристяжных подняли умные морды из яслей, полных овса, и радостно заржали ему навстречу.

— Прощайте, соколики, — подошел к коням Ерофей и

каждую обнял за гладкую шею, прижался лицом к шелковой шерстке. — Отъездился ваш Ерофей. Прогнали как собаку.

Кони мотали головами, словно давая ему понять, что они все понимают, да ничем помочь не в состоянии.

— Не убивайся, Ерофей, — подошел к нему старик-конюх. — Не поздно еще, смири гордыню, покайся и не уволят тебя, обратно возьмут.

— В чем каяться? — поднял на него тяжелый взгляд Ерофей.

— Бес, мол, попутал. Откажись от Клавдии. На кой она тебе?

— Эх, Кузьмич, Кузьмич, жизнь ты прожил, а ума не нажил. Как же я от Клавы откажусь, ежели я люблю ее и без нее нет для меня жизни?

— А какая, скажи на милость, будет твоя жизнь без такой работы, что имел? Да и Клаву твою тоже рассчитали. Куда денешься?

— Велика Россия, Кузьмич. Авось, и нам место найдется.

— Чем тебя эта баба приворожила? — покачал головой Кузьмич. — Мало их кругом, что ли? Мог втихаря любую пользоваться.

— Я не вор, Кузьмич, и бабью ласку красть не привык. А чем меня Клава приворожила, то бы и родному отцу не сказал. Не мужское это дело — свое сердце на людях потрошить. Вот бери обмундирование и расписку дай.

Ерофей снял шапку пирожком и кафтан, сложил аккуратно на тюк прессованного сена.

— Конец маскараду, клоуну — ногой под зад. Будем жить, Кузьмич, как все. Авось, не помрем.

Кузьмич взял его кафтан и шапку и стоял, глядя как Ерофей облачается в свою домашнюю одежку — стеганный ватник, подпоясанный армейским ремнем.

— Значит, ты уже не коммунист?

— Отгулял, — невесело усмехнулся Ерофей и кивнул на доносившуюся из бани музыку. — А они еще пируют. Хозяева. Слуги народа. Как бы не пришлось поплясать.

— Эй, не говори лишнего.

— А чего? Хуже что ли будет? Как в войну говорили штрафники-офицеры: дальше фронта не пошлют, меньше роты не дадут. Прощай, Кузьмич. Завтра поутру тебе мою тройку к вокзалу гонять. Не проспи. Важных гостей ожидают. Заграничных.

— Прокачу с ветерком.

— Гляди, чтоб не сдуло. Кони мои горячие, к чужой руке непривычны.

— Обуздаем. Не таких уламывали.

РАССКАЗ

АСТАХОВА

Это было в ту давнюю и сладкую пору, когда я был молод и холост, не ходил в высоких чинах, а потому спал крепко, без кошмаров и единственной заботой к концу рабочего дня было — с кем переспать этой ночью, чья головка будет покоиться на подушке рядом с твоей.

Я начинал карьеру в газете. В большом промышленном городе. И подавал немалые надежды на журналистском поприще. Писал фельетоны. На темы морали, семьи, брака. А это самый читабельный материал на страницах сухой периодики, и потому мое имя в городе было хорошо известно. Я был местной знаменитостью, достопримечательностью, вроде каменного топора, обнаруженного археологами на речном откосе и торжественно выставленного в краеведческом музее.

Меня узнавали на улицах. Незнакомые люди раскланивались со мной с почтением, а матери показывали меня детям, устремив в мою сторону палец и закатывая глаза. К городскому начальству — и партийному, и административному — я входил запросто, без доклада. И причиной тому была не только моя журналистская известность, но и кое-что другое. О чем я и хочу вам поведать.

Не стану я утруждать ваше внимание описанием

своих журналистских подвигов. Нынче у нас речь о других подвигах... и поражениях. И с годами начинает скрести на душе, жизнь идет к концу и прожита она не самым лучшим образом. А порой и просто неловко за содеянное. Сегодня мы каемся. Друг перед другом... как нашкодившие коты. Примите и эту историю, как мое покаяние.

К мэру города и к партийному боссу я заходил без доклада. Верные стражи их кабинетов — секретарши Томочка и Таня были моими любовницами. Томочка — ничем не примечательное существо. Из тех секретарш, какими их рисуют в юмористических журналах: талия рюмочкой, глупенький лобик покрыт челочкой, а сзади мотается конский хвост. Хрупкая как подросток. Но в сексуальных делах большая затейница. Любила, баловница, сочетать секс со спортом. Разденет меня догола, с себя все поскидает, ручкой мой член доведет до железного стояния, поставит меня в одном конце комнаты, а комната у нее была большая, как зал заседаний, и от другой стены бежит ко мне и с ходу прыгает, без промаха надеваясь на член, а ножками обхватывает мою талию и ручками на шею виснет.

— Поехали, — кричит. Как Гагарин, когда в космос полетел.

И я бегаю с нею на члене метров двадцать и назад. Потом снова и снова. А она вертится на члене, подскакивает, чуть не срываясь с него и снова нанизывается, скуля от наслаждения.

А я бегаю. Здоров был как конь. В Америке — подай такую идею, там бы непременно соревнования организовали, кто дальше пробежит со своей напарницей на члене и последним свалится и от усталости и от подступившего оргазма. И портреты чемпиона в газетах бы печатали. И отвалили бы круглую сумму, в долларах. Как приз.

У нас, в России, мы забавлялись втихаря, плотно зашторив окна, и я бегал по тридцать кругов, пока не каменили мышцы на ногах, и сваливался на диван лишь когда подступал оргазм и подкашивались ноги.

Больше ничем Томочка не запомнилась и на большее, я

абсолютно уверен, не претендовала. Одноклеточное существо. Амеба. С ресничками. Хорошо налаженная богом и отрегулированная личным опытом сексуальная машина. Без запаха и цвета.

Такие бабенки — дар господень, когда нужно без забот и хлопот стравить давление, распирающее яйца, и забыть, как забывают промелькнувший за окном вагона заурядный, ничем не примечательный пейзаж.

Таня — секретарша другого хозяина города, была совсем иного типа женщиной. У нее был ребенок. Девочка. Лет девяти-десяти. Галочка. Трогательное существо с удивленными и, я бы сказал, всегда грустными серыми глазами, со светлыми мягкими волосами, большими завитками ложившимися ей на плечи и на спину.

Мать ее, Таня, происхождения была простого, крестьянского, откуда-то из-под Волхова, из тех болотистых и сырых мест восточнее Ленинграда, где болота высасывают у людей все жизненные соки, и они выглядят какими-то невзрачными, невыразительными. Как загнанные рабочие лошадки.

Галочка, в отличие от матери, ничего плебейского в своем облике не имела. Тонкое породистое лицо. Нежные пальчики. Застенчива, скромна, ненавязчива, от природы тактична. Ничего русского, славянского в ней не угадывалось. И для этого были весьма веские основания, как я выяснил несколько позже, уже став любовником ее мамы.

Таня была матерью-одиночкой, и в метрике ее дочери имя отца отсутствовало, был прочерк, пустое место. У Галочки не было отца, и ни дочь, ни мать никогда об этом не заговаривали, словно так и надо и другого быть не может. Зато любили они друг друга такой любовью, какую я редко встречал в нормальных семьях с полным комплектом родителей.

Как взрослая подруга, девочка трогательно опекала мать, помогала ей, убирала квартиру, мыла посуду, бегала в магазин за покупками. И при этом училась в школе прекрасно. Она инстинктом чуяла мамино одиночество и женскую беззащитность и пыталась из последних силенок

уберечь ее от расстройства, порадовать, вызвать на ее бледных бескровных губах улыбку.

После школы она приходила к маме на работу и там в приемной у хозяина города тихо и незаметно для посетителей присаживалась у маминого секретарского столика и под стук пишущей машинки и трезвон телефонов готовила домашние задания, склонив кудрявую светлую голову с синим бантом над тетрадкой.

После работы они вместе уходили домой, и Галочка несла в одной руке портфель, а другой держалась за мамину руку и то и дело снизу заглядывала ей в глаза, ободряюще улыбаясь и пытаясь заранее предугадать перемену в мамином настроении, весьма неустойчивом.

Таня была еще совсем молода, не достигла и тридцати лет и, будучи нормально развитой женщиной, тяжело переносила сексуальное воздержание, а редко перепадавшие на ее долю ночи, проведенные со случайным мужчиной, только разжигали неутоленный любовный голод. Было это все вскоре после войны, мужчин не хватало, а свободных женщин, ищущих хоть какой-нибудь мужской ласки, хоть отбавляй.

Что меня связало с Таней, я так до сих пор не пойму. Она не блистала выдающимися женскими качествами, была обыкновенной, заурядной, каких сотни встречаешь на улицах, не споткнувшись взглядом.

Овладел я ею безо всякого желания. Просто так. Потому что никто другой не подвернулся. А я был в подпитии. Дело было на каком-то банкете, куда Таня попала, потому что ее босс был распорядителем этого вечера. Я даже отчетливо не могу припомнить, как я очутился в уставленном мягкими кожаными диванами кабинете, куда через обитую дермантином дверь глухо доносился пьяный гам из конференц-зала. Таня почему-то тоже была там и когда я по привычке, автоматически, раз уж остался с женщиной наедине, прижал ее, из ее серых и печальных, как у недоенной козы, глаз брызнули слезы, она задыхалась глубоко и часто, как при крутом подъеме в гору и, молча, потупившись, стала расстегивать на боку юбку.

В постели она была не лучше и не хуже десятков других ей подобных существ, удостоившихся принять на себя тяжесть моего избалованного тела. Но с ней дело не ограничилось одним разом. Вскоре я обнаружил себя у нее в гостях, столкнулся со светлокудрой Галочкой, напряженно и испытующе разглядывавшей меня, с замирающим сердцем пытаюсь предугадать, радость или горе несет этот гость ее матери.

Таня с дочкой жили в одной комнате и ванную и туалет делили с соседями, большой семьей, занимавшей две другие комнаты этой квартиры. Я остался ночевать, раздевшись при погашенном свете и косясь на диванчик в углу, гда затаилась Галочка.

Когда подо мной загудели пружины и Таня в темноте жадно обхватила меня руками, из угла донесся тоненький голос Галочки, явно пытавшейся нас подбодрить:

— Я уже сплю.

Я стал ночевать у Тани все чаще, а потом приходил туда, как к себе домой, и там, в ванной прочно обосновались мои туалетные принадлежности, а в Танином шкафу лежали стопкой мои рубашки, выстиранные и отглаженные заботливыми Таниными руками.

Таня боготворила меня, чуть ли не молилась на меня. Норовила предупредить любое мое желание. И, боясь потревожить внезапное мамино счастье, маленькая Галочка старалась изо всех сил услужить мне, и смотрела на меня вопросительно и тревожно улыбаясь, чтобы, не дай бог, ненароком, не вызвать моего неудовольствия.

Две женщины, большая и маленькая, служили мне с какой-то неистовой радостью и самоотверженностью. Таня, как маленького ребенка, купала меня в ванне, намыливала мое тело, нежно терла мочалкой и споласкивала струей из душа, получая от этого еще больше удовольствия, чем я получал, нежась в теплой мыльной воде. А Галочка мчалась из комнаты в ванную и обратно, целомудренно не поднимая на меня глаз из-за маминой спины и передавая ей то махровое полотенце, то специально купленные для меня тапочки большого размера.

Теперь уже все мои фельетоны печатала не редакционная машинистка, а Таня. И делала это с благоговением, упиваясь каждой, даже самой банальной моей фразой и не допуская ни одной опечатки и даже помарки. А Галочка бережно вырезала из газеты мои напечатанные опусы и наклеивала их на листы блокнота, превращая это в самодельную книгу, разрисованную и раскрашенную ее ручкой.

Авторское самолюбие провинциального журналиста, как вы можете догадаться, было тронуто, и великий небожитель, каким я выглядел в их глазах, соизволял отпустить им милостивую улыбку и даже собственноручно потрепать детскую головку по кудрям, от чего девочка совсем замирала и смотрела на маму, стараясь прочесть в ее глазах похвалу и удовлетворение.

И хоть я был эгоистом отчаянным и занимался только собственной персоной, благо, обе мои няньки сами меня таким делали, все же иногда я слушал Танину робкую исповедь и из ее рассказов мне стало ясней вырисовываться ее прошлое и обстоятельства, при каких Галочка появилась на свет. Без отца. Даже ни разу не услышав его имени.

Танина история, должен признаться, открыла мне, скоту, недостойному ее мизинца, какое душевное богатство таится в русской женщине, какая пропасть самоотверженности и терпения в ней, какая бездна тепла, готового согреть любого, переполняет ее любвеобильное сердце. И хоть платят ей за это чаще всего черной неблагодарностью, она не озлобляется и по-прежнему смотрит на мир добрыми глазами и ищет того, кто нуждается в тепле и ласке и готова без остатка отдать себя ему.

Во время войны Таня была партизанкой и в доказательство того, что она там не пустяками занималась, а воевала наравне с мужчинами, в тумбочке у кровати валялись боевые медали «За победу над Германией», партизанская медаль и орден Красной Звезды. Таня их не носила, стыдясь как бы это не выглядело бахвальством, и медали и орден перешли во владение к Галочке, и она оде-

вала их на кукол, пока не подросла и не забросила и медали и кукол.

Тане еще не исполнилось шестнадцати лет, когда началась война и немцы подошли к Волхову, где она училась в медицинском училище, готовясь стать сестрой милосердия. По случаю того, что враг подошел к городу, студентов распустили по домам, и Таня пешком побрела в свою деревню. Деревни она не нашла, сгорела во время боев, и вся местность вокруг была занята немцами. Уцелевшие жители прятались в окрестных лесах. Таня отправилась туда, в надежде разыскать родителей, но и их она тоже не нашла. Осталась девчонка одна-одинешенька. Жила по чужим углам. То картошки поможет крестьянке накопать, то окажет медицинскую помощь — как-никак два года не зря просидела в медицинском училище — тем и перебивалась.

Потом объявились в лесах партизаны. Немцы усилили гарнизоны в деревнях, на лесных дорогах поставили посты, передвигаться с места на место стало опасно. Попадешь в облаву и — поминай, как звали. Как рабочий скот угоняли оккупанты молодых парней и девчат в Германию.

Таня решила найти партизан и стать у них санитаркой. Долго искала и нашла. Задержал ее на лесной тропке партизанский дозор и препроводил под конвоем к начальству, схороненному в потайном бункере в лесной чаще.

Таня пошла в партизаны не спасения ради, а чтоб исполнить свой патриотический долг и быть полезной Родине в столь трудный для нее час. Ведь она — обученная санитарка, а партизаны остро нуждались в таких людях. Она не ожидала торжественного приема и фанфар, но то, что партизаны с радостью встретят ее, в этом она не сомневалась.

И была жестоко наказана за свою наивность. Партизанский командир, человек грубый и несентиментальный, в каждом пришельце видел подосланного врагом лазутчика и, дыша в лицо Тане спиртным перегаром, спросил в упор:

— Признайся, когда тебя завербовали и с каким заданием послали?

У Тани от обиды из глаз брызнули слезы. Она стала торопливо, сбиваясь и всхлипывая, объяснять, кто она такая и почему искала партизан.

— Москва слезам не верит, — отрезал командир. — Не сознаешься — поставим к стенке и расстреляем как собаку.

Таня зарыдала еще горше.

— В расход! — приказал командир, и два молодых партизана в крестьянской одежде и в трофейных немецких сапогах повели ее, плачущую, из бункера в лес, поставили к шершавому стволу старой сосны, отошли на пять шагов и навели на нее дула винтовок.

Таня еле держалась на подкашивающихся ногах, и если б не ствол сосны, на который она опиралась спиной, то рухнула бы наземь без чувств.

Как сквозь сон доносились до нее слова, произносимые партизанами медленно, с расстановкой:

— По изменнику Родины, немецкой курве — огонь!

Таня зажмурила глаза и вжалась спиной в шершавый ствол, ожидая услышать треск выстрелов, прежде чем она расстанется с жизнью.

Но выстрелы не прозвучали.

— Отставить, — добродушно сказал партизан. — От чертова девка, пули не боится. Ну, сейчас полагаю, язык развяжешь.

Ее отвели обратно в землянку, и тот же командир повторил свой вопрос:

— Признайся, сука, когда тебя завербовали и с каким заданием послали?

Еще два раза водили Таню к старой сосне, зачитывали приговор и отдавали команду:

— Огонь!

И не стреляли, а тащили ее, уже не способную ходить, на очередной допрос в бункер.

После третьего раза командир партизан рассмеялся и, удовлетворенно потирая ладони, сказал:

— Молодец, девка! Выдержала экзамен. Добро пожаловать в партизанскую семью! Нам санитарки нужны позарез.

Так началась ее жизнь в партизанах и оказалась девка к месту: много добрых дел сделала, не одного раненого партизана выходила, вернула в строй. Ее в отряде ценили и по случаю ее несовершеннолетия берегли от недоброго мужского глаза. Одна — среди сотни отчаянных бесшабашных мужчин, Таня оставалась невинной и никто не отважился приударить за ней. Хоть спали они порой вместе, вповалку, согревая друг друга теплом своих тел. Все бы шло хорошо, не случись одного события, перевернувшего впоследствии всю ее жизнь.

Как известно, партизаны не брали в плен солдат противника. Если кто и попадался живьем, то его, хорошенько допросив в бункере, расстреливали где-нибудь неподалеку, а если противник находился поблизости, то, чтоб не выдать себя шумом выстрела, закалывали штыками. Таков был неписанный закон партизанской жизни: жестокий и беспощадный, как сама эта жизнь, и вполне оправданный условиями, в каких протекала эта жизнь. Пленного некуда было девать — лес окружен противником, который всегда может нагрянуть, а терять боеспособного партизана на его охрану было нелепостью, да и прокормить лишний рот в их полуголодном быту было неразумным роскошеством.

Пленных ликвидировали через час-другой после поимки, и к этому привыкли, как каждый привык к тому, что может сам умереть в любой момент, и никто не испытывал угрызений совести. Даже Таня. Партизанская жизнь закалила ее, притупила чувствительность.

Однажды, напав на немецкий транспорт на лесной дороге, партизаны, кроме богатых трофеев, прихватили с собой «языка» — живого немца, из которого можно выколотить на допросе важные сведения.

Из этого пленного ничего выколачивать не пришлось — на ломаном русском языке он сам добровольно изло-

жил партизанскому штабу все, что знал и, застенчиво улыбаясь, смотрел серыми доверчивыми глазами на своих конвоиров. Было этому солдатику не больше семнадцати лет, выглядел он совсем мальчишкой из-за тонкой шеи с кадыком и узких, еще не развившихся плеч. Звали его Вальтером.

Так получилось, что его сразу не расстреляли. Отряд спешил на очередную боевую операцию, успеху которой могли способствовать сведения, полученные от Вальтера, и его оставили в живых до возвращения отряда. Посадили его в санитарную землянку чистить картошку для раненых, а Тане наказали следить, чтоб не сбежал, и в случае, если он такую попытку сделает, стрелять на месте, для чего ей оставили трофейный пистолет «Вальтер» — тезку этого мальчишки в немецкой шинели.

Таня села с ним вдвоем чистить картошку, а так как он по-русски кое-как болтал, завела с ним разговор о житье-бытье: откуда, мол, он родом, кто родители, сколько классов кончил до армии. Ведь они с Таней были сверстниками и им было о чем поговорить.

Вальтер ей рассказал, что он из родовитой немецкой семьи и перед его фамилией стоит приставка «фон», что указывает на дворянское происхождение. Но род их давно обеднел, и отец Вальтера уже ничем не владел, а был лишь университетским профессором, весьма либеральных взглядов, за что на него косятся нацисты и тормозят продвижение по службе. Старший брат Вальтера погиб в Норвегии, после чего мать слегла и никак не может оправиться. Он, Вальтер, у нее единственный и последний и, если с ним что-нибудь случится, мать этого не выдержит.

— Считай, что мать твоя померла, — вздохнула Таня, срезая ножом длинной стружкой кожуру с картошки.

— Почему? — заморгал девичьими ресницами Вальтер.

— Потому что в списках живых ты уже не числишься. Прибьют тебя сегодня. Такой закон у нас, партизан. Пленных не держим.

— Я хочу жить... — заплакал Вальтер. — Не убивайте меня, пожалуйста... Пожалейте мою маму.

— Глупый ты, разве от меня это зависит? — грустно усмехнулась Таня, любясь его красивым тонким лицом и длинными, как у девушки, ресницами. — Ну, что сопли распустил? Война, ничего не попишешь.

— Спасите меня, фрейлейн, сделайте что-нибудь... Я буду век за вас бога молить.

— Бога нет, — сказала Таня. — А вообще-то мне жалко тебя. Никакой ты не враг. Совсем сопливый мальчишка.

Вальтер упал на колени в картофельную кожуру и протянул к Тане руки.

— Спасите меня... Ради моей мамы. Я же могу быть полезным вам... мой немецкий язык... в немецкой форме... Я могу многое для вас сделать.

Когда отряд вернулся на базу, командир сам пришел в Танину землянку. За Вальтером.

— О, сколько картошки начистил? — удивился он. — Старательный малый. Сведения твои были верными, и мы без потерь склад амуниции захватили. За это спасибо. А теперь — пойдём.

Таня бросилась на колени и, заломив руки, заголосила по-деревенски, умоляя командира пощадить Вальтера и использовать его в других операциях... с его языком... и в его форме.

Вальтер тоже бухнулся рядом с ней на колени и, захлебываясь, стал уверять командира, что он ненавидит фашистов и клянётся бить их, не жалеючи... что он всегда сочувствовал коммунистам...

— Все вы коммунистами становитесь, — отмахнулся командир, — когда вам штык к горлу приставишь. Ладно, умолкните... оба. Ты тут нам девку испортил... влюбилась она в тебя, что ли? Готова мне за тебя глаза выклевать...

Командир был в хорошем настроении и это спасло Вальтера.

— Встаньте с колен, — сказал он. — Дадим ему пожить еще день-другой. Пусть покажет, на что способен.

Вот пойдем завтра рвать мост, ты снимешь часовых. Но учти... Чуть что не так, пуля в спину, и Таню подведешь под расстрел — она за тебя поручилась.

Вальтер, хоть и совсем мальчишка, показал себя опытным убийцей. Партизаны подобрались к мосту и залегли в снегу, а Вальтер в немецкой военной форме во весь рост пошел к часовому, заговорил с ним и одним рывком всадил ему нож в живот. То же самое он проделал со вторым часовым на другой стороне моста.

Партизаны заложили взрывчатку и скоро мост взлетел в воздух. Удачная операция снова обошлась без потерь и, когда вернулись в лес, о ликвидации Вальтера уже никто не заговаривал. Вальтер никак не верил, что его пощадили, и изо всех сил старался выслужиться. Придумывал планы новых рискованных операций.

С его помощью партизаны разгромили немецкий штаб и овладели богатейшими трофеями, за что командир получил личную благодарность из Москвы.

Вальтер свободно теперь разгуливал в своей немецкой шинели по партизанскому лагерю, бывал у Тани в землянке, помогал ей, когда не был занят на задании, и смотрел на нее преданными глазами, моргая девичьими ресницами. Командир поселил его у Тани с тем, чтобы она по-прежнему несла ответственность за него, а Вальтера предупредил:

— Мы тебя пощадили, но если обидишь Таню, вздумаешь с ней шашни завести, разговор будет короткий — пуля в лоб, и — знай наших.

Таня опекала Вальтера, как могла. Стирала белье, подкладывала лучший кусок за обедом. Спасенный ею от смерти, он стал ей дорог, как родное дитя, но так как обоим было по семнадцати, то чувство это приняло другой характер.

Это приходилось таить от окружающих, иначе Вальтеру бы не сдобровать. Не посмотрели бы партизаны, что он ценный человек, и хлопнули бы на месте, почуй они хоть что-нибудь неладное в его отношениях с Таней.

А жизнь партизанская шла своим чередом. Бои за боями. Спущенные под откос военные эшелоны, разгромленные лихим налетом гарнизоны. И везде партизаны использовали Вальтера, то, что он, как свой, мог проникать к немцам и там наносить предательский удар в спину.

Вальтера представили к высокой награде. Москва, удивленная его подвигами, затребовала, чтоб его самолетом вывезли за линию фронта, в Центральный штаб. Там решили пустить его в более важные дела.

Когда Вальтера провожали на партизанском аэродроме, командир пожал ему руку, а Таня, вдруг заревев в голос, повисла на его шее и покрыла поцелуями его смущенное лицо.

Партизаны остолбенели. Но Вальтер уже был в самолете и лишь помахал Тане на прощанье. Когда самолет взлетел, обдав всех снежной пылью, командир, взглянув на рыдающую Таню, нехорошо выругался и, выхватив парабеллум, выстрелил вслед самолету, уходящему все дальше и дальше на восток.

Больше Таня Вальтера не видела.

Но зато видела враждебные взгляды люто невзлюбивших ее партизан. Эти взгляды жгли. Как раскаленными шомполами прожигали насквозь ее все больше набухавший живот, и Тане казалось, что если в животе копошится что-нибудь живое, то оно от этих взглядов должно испустить дух, испепелиться.

Но живот продолжал расти, распирая армейскую гимнастерку, которую Таня носила. А стеганый ватник уже и застегнуть было невозможно, отчего Таня мерзла на зимнем холоде. И нисколько не горевала, что мерзнет. А, наоборот, радовалась. Полагая, что мороз застудит, убьет в ней еще не родившееся, но уже всеми нелюбимое существо.

— Вражье семя! — сплевывали партизаны, обходя, как чумную, брюхатую Таню.

— Вражье семя! — стонала она по ночам, переняв от других ненависть к своему еще не родившемуся дитяти, и

делала все, что могла придумать, лишь бы избавиться от него, очиститься от скверны.

Об аборте нечего было и помышлять. В отряде не было врача, а отдаться в руки деревенской бабке-повитухе Таня не решалась, потому что была медицинской сестрой и знала, какое увечье ей принесут неумелые руки деревенской знахарки.

Она сама искала способы как убить плод в своем чреве. Садилась в снег и подолгу, до посинения, сидела, норовя застудить, выморозить то нечто, что уже ворочалось во чреве.

Не помогло. Таня кашляла, задыхалась от простуды. А ребенок, будь он проклят, хоть бы что, знай постукивает ножкой в стенку живота.

Дойдя до отчаяния, Таня с разбегу билась животом о корявые стволы сосен, наживая синяки на животе.

И это не помогло.

Весной в санитарной землянке, под стоны раненых партизан, у них на глазах, потеряв от боли стыд, Таня родила. Где-то неподалеку гремел бой. Все, кто мог носить оружие, ушли из лагеря туда, и поэтому ребенка принял бородастый партизан с забинтованной ногой. Финским ножом, смоченным для дезинфекции в спирте, он перерезал пуповину, поднял на руках окровавленный, мокрый и пищавший комок, и все раненые, что лежали в землянке, перестали стонать и глядели во все глаза на чудо явления человека на свет.

— Девка, — без особой радости провозгласил бородач, заглянув кровяному комку мяса промеж дергающихся лапок-ножек, — еще и орет... немецкая сучонка.

Он отдал ребенка матери и, стоя на одной здоровой ноге, выпил весь спирт из стакана, в котором полоскал для дезинфекции свой финский нож.

Девочка не умерла. Уцелела. Назло всем. И к еще пущей злости партизан с каждым днем становилась все больше и больше похожей на своего отца, немца Вальтера, которого унес в небо самолет и о нем с тех пор никто не слышал.

У нее было такое же тонкое, удлинненное лицо, серые глаза и длинные ресницы.

Таня назвала девочку Галей. И только этим именем определялось ее место в мире. Потому что в лесу нет документов, а какая фамилия может быть у безотцовщины?

На матери лежал грех. Ее обходили. А на ребенка никто и глядеть не хотел. Когда приходил час кормления, Таня, как зверь, уносила своего детеныша в лесную чащу и там, хоронясь от злых глаз, доставала набухшую грудь и совала сосок в чмокающий ротик.

Таня все ждала, как решат партизаны судьбу ее и ребенка. Прогонят из отряда, чтоб духу здесь не было. А может и пулю пустят вдогон.

Командир принял другое решение. Для пользы дела. Пусть малышка, вражье отродье, сослужит партизанам добрую службу, как и ее отец. Таню стали посылать в разведку. С грудным ребенком, запеленутым в лохмотья, она проходила, не вызывая подозрений, через немецкие сторожевые посты, проникала в расположение врага и приносила ценные сведения.

Немцы — ведь тоже люди. Плач грудного ребенка притуплял их бдительность. А потом они за это платились жизнью. В мокром тряпье, в котором был укутан ребенок, Таня проносила нож и револьвер и, зайдя часовому в спину, стреляла в него, если никого поблизости не было. А когда стрелять было не с руки, загоняла нож промеж лопаток.

А ребенок заходился плачем, захлебывался до крика. Словно в нем немецкая кровь вопила, слышав предсмертные стоны своих сородичей — немецких солдат.

Уловка с Таниным ребенком пришлось партизанам по вкусу. Ей стали давать задания посложней и опасней.

Таня с трудом носила ребенка. Не потому, что он вырос и потяжелел. Галочка была крохотной и почти не росла. В ее пеленки укутывали мину — связки толовых шашек, провод и электрический детонатор. Оттого сверток становился непомерно тяжелым, и Таня едва несла своего с головой укутанного ребенка.

Пуше глаза охраняли немцы от партизан железную дорогу. Вырубили лес по обе стороны полотна. Поставили часовых. По рельсам то и дело пробегала дрезина с солдатами и водила пулеметом влево и вправо. Каждого, кто приближался к железной дороге, останавливали патрули. Мать с плачущим больным ребенком не стали обыскивать, и Таня, пройдя оцепление, заложила толовые шашки под рельс, протянула провод до ближайших кустов и там залегла, держа ладонь на рукоятке электрического детонатора. Одного нажима было достаточно, чтоб раздался взрыв. Но нажимать следовало лишь тогда, когда поезд выйдет из-за поворота, и паровоз пройдет над местом, где заложена взрывчатка.

Таня сидела в кустах оцепенев, пока проходила по рельсам дрезина с солдатами. Только бы ребенок не заплакал и этим не выдал, где они хоронятся. Она кормила девочку грудью, чтоб не капризничала. И ждала.

Послышался шум поезда. Все ближе и ближе. Сначала из-за поворота выскочила патрульная дрезина. Затем показались товарные платформы с балластом. Они катились впереди паровоза, чтоб в случае, если наскочат на мину, принять удар на себя и тем самым сберечь весь эшелон. Но, чтобы обмануть немцев, партизаны установили мину не нажимного действия, а управляемую на расстоянии.

Таня пропустила платформу с балластом, затем, когда паровоз, шипя паром, загремел колесами по тому рельсу, где лежала взрывчатка, с силой нажала рукоятку детонатора.

Взрыв был такой силы, что окутавшийся тучей пара из развороченного котла паровоз встал на дыбы и вагоны, выкатывавшиеся из-за поворота, налезали друг на друга, лопаясь посередине, как пустые орехи.

А вагоны эти были пассажирскими. И на их стенках нестерпимо резали глаз большие красные кресты.

Таня, сама того не ведая, пустила под откос санитарный поезд, везший с фронта изувеченных, забинтованных и загипсованных беспомощных людей.

Окаменев, не слыша плача ребенка, смотрела Таня, как

из расколотых вагонов, из пламени и дыма валились под откос спеленутые бинтами коконы с разинутыми в крике ртами. И опережая их, падали в кусты костыли.

Таня оглохла, онемела от ужаса. И до сих пор не может припомнить, как ушла оттуда, как приволокла ребенка в партизанский лагерь.

У нее началась горячка. Пропало молоко. Ребенку грозила голодная смерть. К счастью в отряде держали козу. Для поддержки молоком тяжело раненых. Учитывая танины заслуги и заслуги малышки, помогавшей матери проникать в расположение противника, партизаны постановили урезать нормы молока для раненых, чтобы не дать помереть ребенку.

Галочка уцелела. И дотянула до конца войны. Отряд расформировали. Таню наградили партизанской медалью и отпустили на все четыре стороны. Малышка, уже ковылявшая на собственных ножках, пошла с ней рядом, держа за руку. Пошла в мирную жизнь. В холодную и неласковую жизнь безотцовского ребенка, мать которого не может никому назвать, кто же был причиной появления его на свет.

Прошло несколько лет после войны. Германию победители разделили на две половины и в той, которая попала под советский контроль, образовали Германскую Демократическую республику — верного пса СССР. И министрами там посадили верных людей, из немцев, подготовленных в Москве.

Однажды Таня была в кино и увидела в хронике приезд немецкой правительственной делегации. В немецком министре Таня безошибочно узнала Вальтера, хоть он и изменился за это время, возмужал и был одет в дорогой штатский костюм.

А Таня в ту пору терпела большую нужду. От себя отрывала, чтобы Галочку прокормить. А тут оказалось, что отец у девочки жив, и он теперь важная персона. И жив он остался и достиг такого положения лишь потому, что его спасла, защитила простая русская девчонка, партизанс-

кая санитарка. Ему, спасенному ею, отдала Таня свою первую любовь, его ребенка носила под сердцем и сейчас растила, выбиваясь из последних сил. Неужели не откликнется он на ее зов?

Таня послала письма во все инстанции, где, по ее мнению, могли найти Вальтера, сообщить ему о дочери и устроить их встречу. Она писала в Берлин немецкому руководству.

Ответа не было. Письма как в воду канули. А потом ее вызвали в соответствующую организацию, и сам начальник в чине полковника государственной безопасности долго отчитывал ее и категорически запретил тревожить товарища Вальтера, который, во-первых, иностранец, а, во-вторых, у него есть своя, немецкая семья, и Танины домогательства могут только доставить ему неприятности. В заключение полковник сказал Тане, что Вальтер сам лично звонил ему из Берлина по телефону и просил замять это дело. И чтоб позолотить Тане пилюлю, полковник распорядился из угла, где она ютилась у чужих людей, переселить ее в большую комнату, а также помог устроиться секретаршей к городскому боссу, где платили побольше.

Таково было Танино прошлое. Так появилась на свет Галочка — мамина заступница и преданнейший друг.

Когда я иногда не являлся к ним ночевать, застряв у какой-нибудь девчонки, каких у меня в городе водилось немало, обе они встречали меня назавтра без упрека, но смотрели на меня такими жалкими, молящими о пощаде, глазами, что мне становилось невмоготу.

Таня делала вид, что ничего не произошло, а из глаз ее текли слезы. И такие же слезы бежали по Галочкиным щекам. Она, бедненькая, металась между мной и Таней, стараясь рассеять гнетущую атмосферу, показать, что ничего не случилось и все по-прежнему хорошо, как было, и улыбалась мне сквозь бегущие слезы.

От всего этого мне становилось совсем нехорошо, и я стал подумывать, как бы это помягче, без потрясений и скандалов унести отсюда ноги.

А тут еще хозяин Тани, как-то после одного совещания, остановил меня и, игриво грозя пальцем, назидательно сказал:

— Что ж это вы, молодой человек, мою секретаршу изводите? Плохо работать стала, плачет ни с того, ни с сего. Придется нам вмешаться. Вы — коммунист, учите людей морали, а мораль у самого хромает. Давайте наладьте ваши отношения законным путем.

Тут уж я взвыл. Куда податься? Чего доброго из партии полетишь. И — конец карьере.

Я с Таней поговорил начистоту. Когда Галочки дома не было. Она ни словом не возразила. Только смотрит на меня в упор. Не моргая. Я забрал свои вещи, унес в свое прежнее жилье, потребовал в редакции отпуск и укатил в Сочи, чтобы дать всему делу отстояться.

Когда вернулся через месяц, первое, что узнал — Таня пыталась покончить с собой, чего-то наглоталась, но ее спасла дочь, вызвав скорую помощь. Сейчас она уже дома, вернулась из больницы, но на работу не ходит, слишком слаба.

Как вы догадываетесь, хоть я и расстроился, ведь я был человеком не совсем бесчувственным, мне мучительно захотелось снова отправиться в отпуск, за свой счет, к черту на рога, лишь бы подальше отсюда. И я действительно стал хлопотать об отпуске, а пока старался за версту обходить улицу, на которой жила Таня. Но укрыться мне не удалось.

Однажды на центральной улице, у светофора я столкнулся с длинной вереницей детей, попарно пересекавших проспект с учительницами в голове и хвосте. Такое зрелище всегда умиляет и, как и другие пешеходы, я залюбовался детишками, одетыми вполне прилично и со вкусом, что несомненно свидетельствовало о том, что страна понемногу выползает из послевоенной нужды и бедности.

Вдруг я услышал свое имя. Меня окликнул звонкий детский голосок, и не успел я опомниться, как увидел Галочку, бежавшую ко мне из парной колонны школьников, с растрепавшимися на ветру кудрями и совсем задохнув-

шуюся от радости. Она чуть не упала на меня, обхватила руками мои ноги, прижалась всем телом, и я бедром чувствовал биение ее сердечка. Головку она запрокинула и смотрела мне в лицо сияющими и просящими глазами.

— Пойдемте, пойдемте к нам... Мама будет так рада... Ей очень плохо... А вас увидит, сразу поправится, — задышалась она. — Ну, миленький, ну, хороший... пойдемте... на час... хоть на пять минуточек... Вы же добрый... самый лучший... Не надо ночевать... только зайдите...

Я сам чуть не заплакал. Поднял Галочку на руки, поцеловал ее и горячо зашептал:

— Хорошо, маленькая... я приду... обязательно приду... попозже... а ты беги... тебя ждут.

— Я знала, я знала, — ликовала Галочка, лаская ладошками мои щеки, — что вы вернетесь... у нас в шкафу ваши тапочки остались.

Она чмокнула меня в обе щеки, я бережно опустил ее на тротуар, и она посмотрела снизу в мои глаза с неожиданной строгостью:

— Не обманете?

И тут же спохватившись, рассмеялась счастливым смехом:

— Я пошутила... До вечера... Я маме не скажу... пусть ей будет сюрприз.

Она побежала догонять завернувшую за угол многоцветную гусеницу, все время оборачиваясь и помахивая мне ручкой.

К ним я не пришел ни в этот вечер, ни в следующий. В тот же день я обратился к начальству с заявлением об увольнении, немало удивив своих коллег. Я настаивал с таким упорством, что мою просьбу, хоть и нехотя, но удовлетворили, и назавтра скорый поезд мчал меня подальше от этого города. Навсегда.

Больше я Таню не видел и как сложилась ее жизнь, не знаю. Галочка давно уже выросла и возможно замужем.

Моя карьера сложилась по-иному. Я ушел из журналистики и двинул по партийной линии. Как видите — не без успеха.

Много лет спустя, а если поточнее, совсем недавно, я снова столкнулся с Таней и Галочкой. Не прямо, а косвенно. Жизнь свела меня с незнакомым мне до той поры четвертым участником этой истории. Я встретил Вальтера. И сразу узнал, кто это, когда он, представившись, назвался.

Это было в Чехословакии, на курорте Карловы Вары, куда и я, и он, два уставших от трудов праведных труженика на партийной ниве, приехали лечить зашалившую печень. Он был не министром, а очень высокой шишкой в партийном аппарате в Берлине. У него сохранился серый цвет глаз и ресницы были по-прежнему длинными, как у девицы.

Он представил мне свою жену — рослую упитанную немку и трех детей, тоже упитанных и аккуратно одетых. Младшая девочка, как сестра, смахивала на Галочку светлыми кудрями и серыми большими глазами.

Человек словоохотливый, он сам рассказал мне о своих приключениях во время войны, о чудесном спасении в партизанском плену, ни словом не обмолвившись о Тане. Говорил, что относится к русскому народу, как к братьям, и каждый раз, когда по долгу службы приезжает в Россию, у него бывает ощущение, что он на своей подлинной родине.

Я спросил, не бывал ли он случайно в городе и назвал город, где я работал в газете и где жила Таня, и он ответил, задумавшись на миг, что нет, не бывал, и спросил, почему я упомянул этот город.

— Да так, — промямлил я. — Там живет один... партизан бывший... он мне вашу историю рассказывал.

— Кто? — насторожился Вальтер, заморгав длинными девичьими ресницами. — Мужчина? Женщина?

— Мужчина, — сделав долгую паузу, сказал я, не отводя взгляда от его серых глаз.

— Фамилии не помните? — облегченно рассмеявшись, спросил Вальтер.

— Не помню.

— Там было много прекрасных сердечных людей, —

сказал Вальтер, — таких ни в какой другой стране не найти.

Мне мучительно хотелось смазать ему наотмашь по румяной холеной роже и сказать, что он — негодяй и подонок, и большую ошибку допустил командир партизанского отряда, не расстреляв его, как он делал с другими пленными, среди которых, возможно, были и честные люди.

Но подумав, промолчал. Потому что сам-то я не намного лучше его поступил с Таней. Были мы с ним одного поля ягоды. Благо, состояли в одной коммунистической партии.

Вечером мы с ним пили... не карлсбадскую соль, а русскую водку в ресторане, поднимали тосты за нерушимую дружбу немецкого и советского народов и упились до чертиков.

Два чешских официанта вывели нас под белые рученьки на улицу, позвали такси и один сказал в сердцах по-чешски, а я разобрал до единого слова:

— Вот свиньи... что немец, что русский... чтоб их обоих черти взяли.

Лунин по ошибке плеснул на раскаленные камни не пиво, а коньяк. Полковша армянского коньяка. Клубы пара извергли острый спиртной дух. Баня быстро пропиталась им, и Астахов с Зуевым, хлеставшие друг друга вениками на самом верху, задохнулись и скатились кубарем вниз. Вслед за ними выскочил в гостиную Лунин. Багровые, распаренные стояли они посреди ковра, тяжело дыша, как загнанные лошади, и когда немного отошли, Зуев укоризненно сказал Лунину:

— Готов, парень! Тебе больше пить нельзя.

— А сколько мы выпили? — спросил Астахов, все еще не в состоянии дышать ровно.

Лунин открыл холодильник.

— Так. Коньяк весь. И пиво все. Бутылку шампанского. И три бутылки вина.

— То-то я гляжу, цепляюсь языком за зубы, — удивился Астахов. — Это со мной бывает, когда я крепко переберу.

— Ты и перебрал, — подтвердил Зуев. — И он. И я. Все мы, братцы, незаметно перепилились. Аж подташнивает. Вздуют нас жены. И будут правы. Пошли, понимаешь, в баньку попариться, а вернулись на четвереньках. Истинно русские люди. Как тут не вспомнить наш русский анекдот.

Пошли два чудака, вроде нас, в магазин за поллитровочкой, по пути наткнулись на мужика, в дымину пьяного. Лежит в луже, как боров, и пузыри пускает.

— Вот, видишь, — говорит один другому, показывая на пьяного в луже. — Люди уже гуляют, а мы только собираемся.

— Да, действительно, голова кружится, — тяжело рухнул в кресло Астахов. — А за окном уже темно. Жена, небось, беспокоится. Как бы облегчить голову, а?

— И тебе худо? — спросил Зуев Лунина.

— Муторно, — скривился Лунин.

— Есть средство, — сказал Зуев, отдуваясь и присаживаясь рядом с Луниным на диван. — Народное средство. Мне дед мой, конокрад, демонстрировал. В Сибири это очень распространено. Будешь трезв, как стеклышко.

— Какое средство? — слабым голосом спросил Астахов, прикрыв веками глаза.

— Из тепла в холод и наоборот, — оживился Зуев. — Значит, пьян мужик в стельку. Берет веник и — в баню. Распарится, как мы с вами, двери настезь, и — прыг в снег. С головой! А оттуда назад в парилку. Как рукой снимает. Трезв и прозрачен, как стеклышко.

— Так чего же мы ждем? — пробормотал совсем раскисший Лунин. — Айда, ребята, в снег! Я хочу быть как стеклышко.

— А не струсите? — поддел их Зуев. — Да вы раскисли как бабы.

— Кто? Мы? — попытался подняться с кресла Аста-

хов, но, покачнувшись, рухнул назад. — У-у-у, совсем сдал. Безобразие! Пошли в снег! Протрезвимся.

Зуев протянул ему руку, помог встать. К ним присоединился Лунин, и они обнялись, поддерживая один другого.

— Слабы, братцы, — качал головой Лунин. — Сдаем.

Из позолоченной рамы на них глядели со своих могучих коней три русских богатыря в кольчугах и шлемах и тоже удивлялись, до чего слабы в коленках их потомки.

— А вы не шурьтесь, — погрозил пальцем богатырям Астахов. — Мы еще докажем, что не перевелись богатыри на Руси. Виктор! Двери настезь! Все вместе! Бегом! В сугроб! Марш!

Из распахнутых дверей хлынули по низу клубы морозного пара, окутав их молочной пеленой до пояса, а над туманом багровели распаренные плечи и лица. Астахов первым, за ним Лунин и замыкающим Зуев побежали через прихожую, прыгнули через заиндевелый порог, и с визгом и гиканьем бултыхнулись в искрящийся сугроб.

Над всей огороженной проволокой территорией санатория горели фонари и в желтых кругах света плясали снежинки, сверкая и лучась. Начался снегопад. По расчищенным аллеям и дорожкам, словно прорытым в глубоком снегу, потянулись к главному входу темные фигурки, стекаясь к опущенному шлагбауму. Вахтер в тулупе до пят и с поднятым овчинным воротом вышел из своей теплой будки.

Санаторная служба кончила рабочий день и возвращалась домой, в деревню. На головах у официанток и уборщиц уже не красовались шитые бисером кокошники, не было на них изящных меховых душегреек и черных чесаных валенок. Казенное обмундирование в псевдорусском стиле, как маскарадные костюмы, было сдано, и участники маскарада снова облачились в свою одежду и стали простыми деревенскими бабами. В платках, ватных телогрейках и старых плюшевых жакетах. Каждая несла в руке тяжелое ведро с дымящимися на холоде помоями.

Там было намешано все, что оставалось на столах, когда отдыхающие кончали есть: остатки каши и супа, ломти хлеба, необглоданные до конца куриные кости, рыбы головы с голыми колючими хребтами, арбузные корки с уголками розовой мякоти. Это все они уносят, как свою законную добычу, чтобы скормить на ночь своим свинкам, изголодавшимся без хозяек в холодных хлевах. А за пазухой припрятан гостинец детишкам: ломоть сладкой булки, долька копченной рыбки, кусок пирога с капустой и кончик сухой колбасы «сервелат» — что удалось незаметно унести из столовой.

Вахтер не торопится поднять шлагбаум, и бабы привычно ныряют под него, согнувшись в три погибели. И они не сердятся. Чего сердиться? День прошел и слава богу. Скоро будут дома. Затопят печь, накормят поросят, а потом и детишек, и лягут спать в теплой избе. Одни. Мужиков нет. Не сладко. Но зато тепло и сухо. У других и того нет.

— Чего там, бабоньки, шум был? — интересуется вахтер.

Бабы оскалили зубы в улыбках, глаза утонули в румяных щеках.

— Дык три мужика свои причиндалы поморозили.

— Да будет тебе! Все при них осталось!

— Каких три мужика?

— Из отдыхающих. Говорят, большие шишки. Вот и застудили свои шишечки.

Все это стонет в хохоте.

— День целый парились в бане, запершись, а к ночи, одурев, надумали в снегу поваляться, чтоб остыть маленько. Прыгнули распаренные в сугроб, а дверь-то бани за ними захлопнулась. Вот и остались куковать на морозе.

— А шум-то отчего?

— Как отчего? Все врачи побегались. А жены голосят. Как не голосить? Все мужское хозяйство морозом прихватило.

— Ври, да меру знай!

— Все! Отгулялись!

— Да там, говорят, и морозить-то нечего было. Старые больно.

— Старый конь борозды не портит.

— Мне бы хоть обмороженного — не откажусь.

— Хватит, бабы, болтать! Ничего такого не было!

Смеются бабы. Горстью угольков рассыпались темные ватники и платки в снежном ущелье, прорытом бульдозером. А с боков стоят, не шелохнувшись, темные ели со снежными подушками на опущенных лапах. Фонари на железных столбах принимают баб из одного круга света в другой.

Впереди них — две фигуры. И умолкает смех. Это — Ерофей и Клава. Клава всхлипывает. Они идут, взявшись за руки, в своей домашней одежке. У Клавы в руках нет ведра. Верный признак, что сюда им больше не вернуться.

Темные ватники и платки, покачивая полными помоев ведрами, обтекают эту пару молча, как чумных, и уско-ряют шаг.

Впереди — еще шлагбаум и вахтер в тулупе. Тут кончатся расчищенная дорога и светит последний фонарь над аркой, увитой хвоей с красным транспарантом во всю ширину:

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К КОММУНИЗМУ

Дальше — кромешная тьма.

Бабы с ведрами снова ныряют под шлагбаум и черные ватники сливаются с ночной темнотой. Крепкий бабий голос затягивает песню.

Летят утки, летят утки
И два-а гу-у-уся.

И с разных концов, потому что бабы пошли каждая своей тропкой, без дороги, чтоб сократить путь домой, подхватывают пять или шесть голосов:

Эх, кого люблю, кого люблю,
Не до-о-жду-у-ся.

Ерофей и Клава последними сгибаются под шлагбау-

мом и, разогнувшись, обнимаются. Ерофей прижимает ее к себе, гладит по голове.

Эх, кого люблю, кого люблю,
Не до-о-жду-у-ся, —

замирает вдали, перекликаясь, как эхо.

— Ничего, Клава, — шепчет ей в зареванное лицо Ерофей. — Перезимуем.

